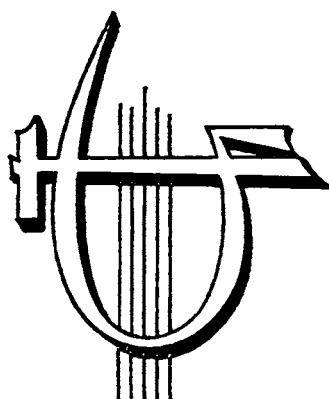


ДЕНЬ ПОЭЗИИ · 1977

# ДЕНЬ ПОЭЗИИ · 1977



# ДЕНЬ ПОЭЗИИ



1977

МОСКВА  
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ  
1977

**РЕДКОЛЛЕГИЯ:**

*Анатолий Жигулин — главный редактор;  
Виктор Боков, Евгений Евтушенко, Римма  
Казакова, Василий Казанцев, Василий Казин,  
Дмитрий Ковалев, Виктор Кочетков, Влади-  
мир Лазарев, Булат Окуджава, Владимир  
Осинин, Владимир Савельев, Николай Тряпкин,  
Андрей Турков;*

*Анатолий Преловский — составитель (раз-  
делы I—III), Анатолий Ланциков — состави-  
тель (раздел IV).*

*Художник Н. И. Крылов*

© Издательство «Советский писатель», 1977 г.

Дорогие читатели!

Сборник «День поэзии» давно уже стал своеобразным ежегодным творческим отчетом поэтов Москвы. И в новом, двадцать первом его выпуске участвуют представители всех поэтических поколений: это старейшие мастера стиха и поэты «фронтового призыва», это те, кто пришел в литературу в пятидесятые — шестидесятые годы, наконец, это участники последних совещаний молодых — поэты, чей творческий путь только начинается. Конечно, не всегда границы поколений могут быть очерчены резко, порой они несколько условны, однако нам хотелось, чтобы три основных раздела сборника дали известное представление о сегодняшнем развитии нашей поэзии, о преемственности живых ее традиций.

Нынешний, 1977 год — особенный. Это год шестидесятилетия советской власти. В нашем сборнике немало стихов, непосредственно связанных с темой Великого Октября, но тема эта неисчерпаема, ибо вся история Советской страны рождена и освещена этим грандиозным событием. Память о подвиге народа в Великой Отечественной войне, наш сегодняшний день, величие трудовых дел современников, богатство и многообразие их духовного мира, чувство Родины и родной природы, любовь и дружба — все это находит свое отражение в стихах, вошедших в сборник.

В разделах, завершающих «День поэзии 1977», печатаются критические статьи, не публиковавшиеся до сих пор произведения поэтов, ушедших от нас (среди них хочется особо выделить страницы из «Муравской тетради» А. Твардовского), воспоминания, архивные документы.

В сборнике помещена также большая серия фотографий — редких или публикуемых впервые.

Р е д к о л л е г и я



I





# Николай Тихонов

\* \* \*

Я много жил,  
И лет уж мне немало,  
Но радоваться, право,  
Есть чему —  
Я видел жизни  
Новое начало  
И всей душою  
Следовал ему.

По-новому  
Вся мира жизнь открылась,  
И в книге века  
Начат новый лист,  
И в языке планеты  
Утвердилось  
За словом Л е н и н  
С л о в о к о м м у н и с т.

Клич «За свободу»  
Все народы сблизил,  
И клич «За мир» —  
Заставил их прозреть,  
Прокляв фашизм,  
Который их унизил,  
Сломав его,  
Рабовладельца, плеть, —

Они морями крови  
Заплатили  
За право жить  
И вольностью дышать,

Они своих героев  
Породили,  
Бессмертных  
Как народная душа!

И человек  
В грядущее поверил,  
Стремящегося  
Видел я его,  
Как изгонял он  
Дух раба и зверя  
Из темных ям  
Сознания своего.

И, Партией великою  
Ведомый,  
Жил человек,  
И он живет не зря,  
В горах, в лесах, в полях —  
Он всюду дома,  
И города он строит  
И моря.

И в космосе  
Встречается с друзьями,  
Как и с друзьями  
На земле своей,  
Где я живу  
И молодею с вами  
И молодеть  
Хочу повеселей!

\* \* \*

Поет нам утро не трубой старинной,  
Оно звучит как пионерский горн,  
О гневе гор грохочут нам лавины,  
Есть у морей свои законы волн.

И мы закон Октябрьский утвердили,  
Одна шестая мира ожила,  
И стали уже сказочною былью  
Тех, первых дней герои и дела.

Мечты веков сбываются не скоро, —  
Настало время в нашей стороне:  
Наш человек — хозяин всех просторов,  
Наш луноход работал на Луне.

Наполнен силой солнечного света,  
Но на земле особой силы круг,  
От света новых наших пятилеток  
Светлее в мире делается вдруг.



## Василий Казин

Встречая праздник шестидесятилетия нашего государства, я, как и другие ветераны советской литературы, испытываю радостное волнение. Дух захватывает, когда вспоминаешь исторические события, участниками и свидетелями которых мы были. Нам выпала большая честь и святой долг — воспитывать художественным словом человека новой духовной красоты. Маяковский явил себя тогда ярчайшим поэтом-новатором. Свое восхищение его талантом я выразил такой надписью на подаренном ему в день рождения В. И. Ленина сборнике: «Талантливейшему и оригинальнейшему громобое современной поэзии Владимиру Маяковскому с лучшими чувствами». Кстати сказать, посчастливилось мне выступать с ним в Политехническом. После него, басистого трибуна, выступать с моим тихим голосом было страшновато, но он решительнейшим образом вывел меня за руку на сцену, громоздочно и похвально представил меня собравшимся, подсказал прочитать стихотворение «Дядя или солнце?» — и приняли меня хорошо.

И Маяковский, и Есенин, и особенно мы, поэты рабочего склада из объединения «Кузница», своим творческим становлением обязаны Октябрю. В свое время мы пели: «Владыкой мира будет труд». Это была песня нашей великой человеческой мечты. Октябрь открыл этот новый мир. Возвеличив человека труда, Октябрь определил содержание и направление лирики пролетарских поэтов. Может быть, слишком прямолинейно и по молодости наивно, но я в те времена считал, что поскольку вырос в среде мастеровых — каменщиков, плотников, слесарей, то и должен писать только о них, смотреть на мир рабочим глазом. Даже природа виделась мне в образе истинного работника:

А на дворе-то после стуж  
Такая же кипит починка.

### ГУДОК

*Рабочим завода  
Памяти Революции 1905 года*

Пусть хоть я сам и не дружинник  
Той революции, а лишь,  
А лишь в старинку поглядишь,  
И про завод ваш, как былинник,  
Почтительно заговоришь.

И как пройти, скажите, мимо  
И не поднять его на шит,  
Когда и в даль чужих орбит  
Им завоеванное имя  
Той революцией гремит.

Когда той пятою годиною  
И пятилетками велик,  
Видать, давно уж он привык

Ой, сколько, сколько майских луж —  
Обрезков голубого цинка.

...1919 год. Пора была суровая: гражданская война, разруха, холод, голод.

Не могу припомнить: то ли за комсомольскую работу — я был тогда секретарем Бауманского райкома комсомола, — то ли за стихи о рабочем Мае, но только послали меня на первомайскую демонстрацию, выдав особое удостоверение. Зная, что будет выступать В. И. Ленин, я устремился туда спозаранку — задолго до начала первомайского торжества. Этим, по-видимому, и объясняется, почему мне удалось очутиться среди людей неподалеку от Ленина. Я с восторгом смотрел на великого вождя. Владимир Ильич с живым вниманием наблюдал за демонстрацией. И какая была при этом естественность в выражении его лица! Глядя на Ленина, так было неловко за космическую риторику, в которую некоторые наши поэты облекали его образ. А меня Ленин удивил и растрогал еще, может быть, и тем, что на нем было обыкновенное пальто со скромными бархотками на воротнике, такое же, как у моего дяди, простого человека, портного по профессии. И как же я был счастлив, когда вскоре увидел себя на одном фотоснимке с Владимиром Ильичем! В стихотворении «Снимок» я так передал это свое чувство:

И вздрогну я с чувством священным,  
Как гляну в удачу свою,  
Что с ним, с дорогим, с незабвенным,  
Я рядом, мальчишка, стою.

Спустя много лет я написал лирическую поэму «Великий почин», посвященную героям первого коммунистического субботника. В этой поэме я в меру своих сил постарался рассказать и о Владимире Ильиче Ленине, участнике этого субботника.

Блистать как с выправкой орлиной  
Промышленности боевик.

Когда за ним, за боевитым,  
Все не стихает вихрь молвы  
О том, товарищи, как вы  
С подвижническим аппетитом  
Работаете в честь Москвы.

Когда на ваши огневые  
Почины, передовики,  
И я равняюсь и с руки,  
Ай, так и сыплю в лист живые  
Лирические светляки.

Но, глядь, и критиков ругни нет,  
И у начальства не в тени,

А лишь подчас творить начни —  
И вдруг, что ль, дьявол стих заклинит,  
И ни строки тебе, ни-ни.

Да ведь и вы все удивитесь:  
И нетяжел я на подъем,  
И в длительном пути своем  
Игривую мастеровитость  
Набил пером, как вы сверлом.

А и пустись-ка с ним трудиться  
Поистине и за троих —  
Не вспыхнет искоркою стих.  
И где ж на стих подзарядиться,  
Как не у вас, у заводских!

Тем паче, милые, что близок  
Писательством я и среди  
Всех пишущих, как ни суди,  
Не мира старого огрызок,  
А лирик с Лениным в груди.

Тем паче, что не просто житель,  
А что Москвы я истый сын.  
И марш побывать хоть миг один  
Как новых личностей строитель  
У вас, строителей машин.

И живо приняли, радиво.  
И, как бы взявшись дать урок,  
Порассказали, видно, впрок  
Про историческое диво,  
Про ваш активнейший гудок.

Поди, и принцев нет в помине,  
Какими век был знаменит,  
А он и ныне именит,  
А он нет-нет, гудок, и ныне  
Великой славой зашумит.

И вскинет в памяти те дни нам,  
Как, поднапыжившись сверх сил,  
Вдруг так он, Пресни старожил,  
Пронзительнейшим голосином  
Величественно забасил,

Что по-обыденному призван  
Лишь только выкликнуть своих  
Прижившихся мастеровых,  
А выкликнул на бой с царизмом  
И даже камни мостовых.

И не постиг ли он, счастливчик,  
Достойный всякой похвалы,  
Что двинутых им сил валы  
Повел сам Ленин, высший взрывщик  
Твердынь всемирной кабалы.

И так повел он энергичным  
Лихим величьем мастерски,  
Что и гудок ваш по-людски  
На бой всем выкликом отличным  
Пустился к вам, большевики.

И как тогда нас ни разбили,  
А им, товарищи, а им,  
А этим выкликом одним  
Он стал и после в дикой были  
Воинствующим позывным.

И он не им ли одержимо  
И через десять лет почти  
Позвал за Лениным пойти  
Войну постылого режима  
Убить, как хищницу в пути.

И, движимые страшным иском  
Всей тьмы polegших в ней костями,  
Пошли рассчитывать мы  
И злей со скипетром царистским  
Разделались-то, черт возьми.

И, видно, в пятом взрыв призывный  
Такой был силы, что держись,  
Что именно гудок, кажись,  
И выстрелом «Авроры» Зимний  
Всех кликнул взять — и не на жизнь,

А на смерть биться. И на приступ  
С великим Лениным пошли  
И лихо с матушки-земли  
Правительство капиталистов  
И их владычество смели.

И вон как пира верховые  
И коммунизма вестовые  
Летят салюты, за какие  
Ведь двинул биться он впервые.  
И как же мне тут, дорогие,  
Во всю лирическую прыть  
Рабочим рыцарем России  
Гудок ваш не провозгласить!

С мая 1917 года по март 1918-го я служил рядовым 54 запасного полка в г. Глазове. Был членом солдатского комитета. Там встретил и Великую Октябрьскую революцию. Город этот и сейчас видится мне переполненным солдатами, молодыми прапорщиками, которым надо было козырять. Ни одного дня не проходило без солдатских митингов. Всех волновал вопрос войны и мира. Железнодорожная платформа, мимо которой непрерывно проходили воинские эшелоны, тоже всегда была переполнена солдатами. Лица у многих были болезненно-испытаны. Это — глотнувшие на фронте газов.

Стихотворение, которое я привожу здесь первым, появилось спустя более полувека от тех событий. Срок немалый. Но он нисколько не отдалил меня от них, не приглушил в сердце тех впечатлений. Напротив, он как бы подготовил меня для более полного, более осмысленного их выражения. Так думается мне.

Второе стихотворение в этой маленькой подборке также полностью ложится на мою биографию. Все

лето 1919 года я находился в прифронтовом городке Пугачеве. В начале того года в нем полностью был уничтожен белоказаками красноармейский полк. Город оказался без защиты. Тогда из Самары (Куйбышева) туда срочно была переброшена рота красноармейцев, в которой находился и я. Там я участвовал в боях, вступил в партию. Когда получал партийный билет, на дворе стояла дождливая осень. Но она казалась мне весной. В кармане гимнастерки прощупывался нетерпеливой рукой партийный билет. Все это — и дождь осенний и моя радость — уложилось потом в мое восьмистишие.

Преломлялась тема Великого Октября в стихах моих и как тема великого праздника. Об этом — в третьем стихотворении.

Не скрою, я с радостью составил эту маленькую подборку. С радостью предварил ее и этим наброском. С подобными подборками из своих стихотворений, уверен я, могут выступить многие наши поэты. Ответы Великого Октября я вижу и на их лицах.

### ЗЕМЛЯ ПОВОРАЧИВАЛАСЬ...

Каких-то гор не найдут и следа,  
каких-то созвездий в туманной замети.  
Семнадцатый год и тогда  
в народной останется памяти.

Семнадцатый год...  
Сквозь метели и тьму  
с солдатскими думами,  
с тревожными снами  
Земля поворачивалась к нему  
под красное знамя.

Она поворачивалась к Октябрю,  
в оглохшей Вселенной молила о мире,  
зарю сменяла зарю,—  
но люди все так же стреляли не в тире,

все так же  
от крови, а не от росы  
сырела земля в канонадной дрожи,  
и острые кайзеровские усы  
торчали с луббчных обложек.

Но громкая песня «Интернационал»,  
ломающая преграды, уже сотрясала  
хрустальные люстры в распахнутых залах  
хотя и слова еще мало кто знал.

Земля поворачивалась,  
и с ней —  
судьба человечества  
вместе  
с судьбою моей и твоей.  
О том говорилось и в песне.

\* \* \*

Лил дождь осенний. Сад грустил о лете.  
За мной вода заравнивала след.  
Мне подсказала дата в партбилете:  
тогда мне было девятнадцать лет.

На город шел Колчак; у мыловарни  
чернел окоп; в грязи была сирень;  
а я сиял: я стал партийным парнем  
в осенний тот благословенный день.

## КАНУН

Мы встретим и нынче наш праздник  
в салютных громах батарей.  
Ах, сколько их, листиков красных,  
осыплется с календарей...

Гляжу на куранты. Отметил:  
минуты идут не спеша.  
В оркестрах, в ликующей меди  
еще не проснулась душа.

Но будут и марши, и песни,  
и, осени поздней под стать,  
снежинки из поднебесья  
над флагами пролетать.

Уж где-то поэмка — по насту.  
Но праздника нашего свет  
дойдет и до пальм голенастых,  
как добрый кому-то совет.

Я строфами не нормирован.  
Опять ощутила рука:  
гражданственностью сурова  
лирическая строка.

Мы встретим и нынче наш праздник  
в салютных громах батарей  
и в шелесте листиков красных  
с домашних календарей.

## *Зинаида Александрова*

### ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ГОД

Торфяные болота под Ленинградом.  
Торфяные болота. Их дым как ладан.  
Тут могилы бойцов, окопы и ямы,  
От последней войны глубокие шрамы.  
И любое дерево здесь калека,  
А ведь я их знаю с начала века.  
Помнят карлицы-сосны, сосны-старушки,  
Что когда-то работали здесь торфушки.  
Всю-то зиму ждут работы сезонной,  
Чтобы горе топить в бутылке казенной.  
Размочив сухари, берут себе в долю  
Дезертира клешника — общего дролю.  
В двадцать лет кончается их улыбка,  
А болото качается, будто зыбка,  
Комары выпивают всю кровь из тела.  
Двадцать лет —

и молодость пролетела.

Покривились их руки, как сучья сосен,  
Стали бревнами ноги,

а с кого спросим...

И кому ты нужна в двадцать лет старуха,  
Если всюду сыпняк, везде голодуха.  
Хоть торфушки прошли и огонь и воду,  
Но служили они своему народу.  
Остывали по всей стране печи,  
Все шкафы сожжены, и топить нечем,  
И тогда, получив свой паек торфом,  
Мы брикеты несли пирогом-тортом,  
Чтоб на дымной буржуйке напечь лепешек  
Из морковной ботвы и карманных крошек.  
...Девятнадцатый год. Петроград снежный.  
Пахнет гарью болот дым его нежный.

КОНТРАБАС

Контрабас, не жалуйся, не надо.  
Понимаешь? Время ни при чем...  
Без метаний, без пустой досады  
Плотно подопру тебя плечом.

Сядем на остывшие ступени.  
Если туго, отпущу колки...  
Знаю, что выводят из терпенья  
Грубых пальцев нежные щипки.

Очень знаю, по каким причинам  
Притворишься, будто страшно рад.  
Так уж нам положено, мужчинам,  
Деревянный друг ты мой и брат.

Тянешь шею из-за тонких скрипок:  
Слышат люди вздох твой или нет?  
Потому что, изливаясь в криках,  
Можно заглушить собой кларнет

Грустновато-музыкальным фоном,  
Ибо сзади — пыльная стена...  
Верно, скоро, брат, по всем законам  
Оборвется главная струна.

Вечереет память, вечереет,  
Только я не в грусть, я не в тоску...  
Ах, как стройно наша батарея  
Ударяла ножкой по песку!

«Запевай!»  
Веселый и курчавый,  
Шел комбат и вместе с нами пел...  
Слишком запоздалое начало  
Я давным-давно перетерпел.

Утоптали землю годы-кони,—  
Распаши родную с кондачка..  
Помнится,  
в густой мазутной вони  
Для земли ковал я лемеха.

И запел, чтоб не оглохнуть в громе,  
В пушечном усердии кувалд...  
Деревянный друг мой!  
Есть и кроме  
Нас с тобой до черта заевал —

Голосистых,  
радостных,  
умелых,—  
Так с какой же стати тосковать?  
Для того чтоб музыка гремела,  
Прежде надо трубы отковать.

Контрабас!  
Я за тебя спокоен:  
На басах — отважно не рванем...  
Зазвучит тобой глухой Бетховен —  
Звуков мир я обретаю в нем.

Только ль звуков?  
Вот — мороз по коже,  
И — похоже — слезы по щекам...  
Может, зря не рукоплещут ложи  
Плачущим от счастья мужикам?

А тебе вредна такая влага,  
Дай-ка сырость на груди сотру.  
Хочешь?  
Я достану нитролака —  
Он мгновенно сохнет на ветру.

Я ведь тоже обносился малость,  
А одежда — и сейчас важна...  
Жаль, конечно, что не начиналась  
В нас с тобой  
главная струна.

На подмостках ветреных, у стали,  
Да война — вдобавок ко всему...  
Не успели... Выстыли, устали,  
Так что огорчаться ни к чему.

А пока на струнах — на качелях  
Убаюкать память разреши,  
Иль тоскуешь по виолончели? —  
Знаю,  
что не чаешь в ней души.

Без любви в душе — темно и голо,  
Как в лесу осиновом зимой...  
Мягкое, задумчивое соло  
Посвятим ей,  
деревянный мой.

## Сергей Баруздин

\* \* \*

Город спит за окном больницы,  
Кружит снег над Садовым кольцом...

Вспоминаю родные лица,  
Рядом вижу — твое лицо...

Все родное соединило,  
Все минувшее вобрало...  
То, что не было,

\* \* \*

Июньская хнычет погода,  
Дождь с утра до темна.  
А было девочке три года,  
Когда началась война.

И солнце тогда палило,  
Землю сжигала жара...  
Все было, все это было  
Для нас как будто вчера.

От вражеской авиации  
Не виден в небе рассвет.  
Дороги эвакуации  
Не помнит девочка, нет.

\* \* \*

Не знал, не ведал никогда,  
Что встречу я тебя такую,  
Простую  
И не простую,  
Святую  
И не святую,  
И это теперь —  
Навсегда.

\* \* \*

Ты просишь вспомнить о войне...  
Что мне сказать, ответить мне?..

Пока я жив, пока дышу,  
Я ту войну в душе ношу.

И за себя, и за других,  
Что не пришли с передовых.

То, что было,  
Что прошло  
И что не прошло...

Я остался, как был, солдатом,  
Ты солдатской стала женой...

В довоенном тридцать девятом  
Светлый дождь прошел надо мной.

А я ее вижу в теплушке,  
Едущую на восток,  
Крохотную болтушку,  
Тоненькую, как росток...

Словно я рядом с нею  
На дальних дорогах был,  
Словно шинелью своею  
От немца ее прикрыл...

...Тыходишь, красивая, тонкая,  
И кажется, дождь перестал...  
Я помню тебя той девочкой,  
Которой тебя не знал.

Перед войною мы равны  
И перед завтрашним в ответе,  
Хлебнувшие  
Горький ветер,  
Дети  
И бывшие дети,  
Пришедшие  
С той войны.

За тех, что гибли под огнем,  
За тех, что умерли потом...

И мне рассказывать о ней,  
Поверь, с годами все трудней...

## Яков Белинский

### ЭРЬЗЯ

Мордовская посконная рубаха  
намокла потом,  
пот сбегал с лица,—  
работал Эрьзя в дереве квебрахо,  
тупя бессонно острие резца.

Над ним пылало небо Аргентины,  
у ног — чернильно лиловела тень,  
в его руках угрюмились мордвины,  
размашистые, в шапках набекрень.

Тугой квебрахо древесиной красен,  
пройди вокруг, всмотришь и лицезрей —

глядит сквозь время гневный Стенька  
Разин,  
топыря дыры вздувшихся ноздрей.

А рядом — аргентинки, боливийки,  
на древе жизни — ветви разных стран,  
стальным резцом разгаданные лики,  
он их привез через Париж в Саранск.

Бессмертные. Воскрешены из праха.  
И твердо веришь — этот мир един,  
когда из аргентинского квебрахо  
их вырубает яростный мордвин.

## Дмитрий Благой

### 1943-й ГОД

Путей людских, как звезд на небе, много,  
И каждый человек идет своим путем,  
У каждого своя и радость, и тревога,  
Свой быт, свой круг друзей, свой малый,  
милый дом.

Но в дни, когда от края и до края  
Пожар войны, сжигая все, гудет,  
Есть лишь одна дорога столбовая,  
Которой Родина грядет.

Пойдем и мы по тысячному следу  
За грозной призывающей трубой  
На подвиг и на труд, на бой и на победу,  
Страна моя, плечом к плечу с тобой.

### ЗАКОН ГОДА

*Памяти Бориса Соловьева*

Одинокая ветка на кленах,  
Что живут за моим окном,  
Меж сестер своих младших, зеленых  
Заиграла рубинным огнем.

Значит, скоро, победно ликуя,  
Вырываясь на вольный простор,

Во всю ширь, на весь мир запируя,  
Запыляет осенний костер.

Кубок года до дна будет выпит...  
Пир погаснет, надвинется тьма.  
Все, что ярко пылает, засыплет  
Белоснежным пеплом зима.

## МУЗА СТРАНСТВИЙ

Коль услышишь призыв: в путь! —  
Кинь очаг и оставь храм.  
Распахни, как окно, грудь  
Всем просторам и всем ветрам.

Всех утешней земных убранств,  
Слаще славы, усладней любви  
Необъятная ласка пространств,  
Ветер воли, поющей в крови.

*Виктор Боков*

### НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

Леса за Камой черным-черны,  
Не то, что было теплым летом.  
А город Набережные Челны  
Пронизан весь электросветом.

Он молодостью оснащён,  
Он как фрегат под парусами.  
Железом, техникой крещён,  
Неодолимой силой стали.

Разросся! Не остановить  
Его размаха с богатырством.  
Умеет он творить и жить  
Под стать заслуженным артистам.

Страна моя! Сибирь, Кавказ,  
Игарка с кругом заполярным,  
Ворвался к вам в ряды КамАЗ  
И стал, как песня, популярным!

\* \* \*

Я в рюкзак дорожный  
Вещи уложу.  
До свиданья, люди!  
Завтра ухожу.

Вы уж не тужите,  
Я не в монастырь.  
Есть одно местечко  
Около Москвы.

Там луга и рощи,  
Просека и гать,

Сельским людям буду  
Песни я слагать.

С Васей-трактористом  
Подымусь чуть свет,  
Соберутся в поле  
Пахарь и поэт.

Жаворонок с неба  
Кинет серебро.  
И толкнется сердце  
Песней под ребро!



ЭЛЕГИЯ

По обмелевшим траншеям тяжеловато и просто  
бродим гуськом в молодом подмосковном лесу.  
Тридцатилетняя роща давно корабельного роста  
снегом набитые крылья напруживает на весу.  
Это предзимье — снегов неустойчивых праздник.  
Пестрая лыжня нас настигает и дразнит.  
Непроизвольную тень заплетает в стремительный свет.  
Парный, настойчивый, и невесомый, и дерзкий,  
женственно полуокруглый и прямолинейный по-детски,  
вполоборота навывлет выносятся след,  
приостановленный на расстоянии близком  
от поворота с воздетым к звезде обелиском.  
Мы его помним еще не одетым в гранит.  
Это предзимье. Едва припорошено лето.  
Только что вырыта эта траншея и эта  
на повороте могила, и первый ровесник зарыт.  
Первая наша работа. Крутое, хромое движение —  
с полною выкладкой выбраться из окруженья,  
перемогаться, выкладываться до конца...  
Легкая лыжня полным витком прокружилась.  
Вышла навстречу. Приблизилась. И обнажилась  
незащищенность ее молодого лица.

РАННИЙ СНЕГ

Снег в октябре.  
Внезапное пространство.  
Несовершенство.  
Холод постоянства.  
Пустой уют.  
Покров до покрова.  
Витиевато, вкрадчиво,  
кудряво  
пал в ночь на крыши,  
деревя и травы  
и на недопиленные дрова.

Снег в октябре.  
Для осени позорный.  
Позер,  
проказник,  
половик узорный —  
снег на листе,  
и листья на снегу

Потешный двор,  
лоскут...

Но память вдовья...  
Снег в октябре завалит  
Подмосковье,  
как в сорок первом — поперек  
врагу.

Очнется память  
и глядится длинно  
с крыльца,  
где дом осел  
и сад ослеп,  
где с красных листьев  
черная рябина  
не сбрасывает тяжкий белый снег.

## Павел Боданов

### БАМ

БАМ — начало новых биографий,  
Продолжение юности моей,—  
Принимай отцов железный график,  
Продолжай его судьбой детей.

От Байкала до Амура ветка  
Впишется железно сквозь тайгу.  
А я помню первой пятилетки  
Первую железную строку.

Я ее писал своей рукою,  
Выводил в пустыне в лютый зной,

Сырдарью связав с Иртыш-рекою.  
От Турксиба к БАМу —  
Путь прямой!

Путь прямой! Открыты семафоры  
Для мечты, для счастья, для труда.  
В будущее отправляем скорые,  
График обгоняя, поезда.

...Рельсы новые легли на гравий,  
Путь вперед стал на звено длинней.  
БАМ — начало новых биографий,  
Продолжение юности моей...

## Константин Ваншенкин

### НА ВСТРЕЧЕ ФРОНТОВИКОВ

День прошел, и вечер длинен,  
Но, как прежде, мы сидим,  
Дорогой мой Серафим,  
Боевой мой друг Вихлинин.

Годы ветром отнесло,  
Словно лодку от причала.  
Можно б все начать сначала,  
Да обронено весло.

Меж домами гаснет зорька.  
Погоди ты, Серафим.

Получилось: помним столько,  
Что не верится самим.

Помним, помним, помним, помним,—  
Видно, в этом наша суть,—  
По лесам, болотам, поймам  
Простирающийся путь.

Сима, Сима, друг мой Сима,  
Посоветуй, как нам быть.  
Что-то стоит позабыть.  
Помнить все невыносимо.

\* \* \*

С облегчением вспомнил сквозь сон:  
Мелкой рябью наполнены лужи.  
Лист кленовый, что с ветки снесен,  
На стекле прилепился снаружи.  
Дождь шуршит то яснее, то глуше.  
Воскресенье — спешить не резон.

Наилучшие в жизни года:  
И родители наши здоровы,  
И к свершениям дети готовы,  
И мы сами еще хоть куда.  
Но — что делать! — близки холода  
И грядущие вьюги суровы.

## ЧТЕНИЕ СТИХОВ В ФОЙЕ КИНОТЕАТРА

*А. Межирову*

В фойе кинотеатра,  
Пока сеанса нет,  
Стихи читает автор —  
Лирический поэт.

Он был в тот вечер хворым,  
Но все-таки пришел.  
В кинотеатре «Форум»  
Толпой затоптан пол.

На полную железку  
Гремит кинопрокат.  
Висит, исполнен блеску,  
С Ладыниной плакат.

Девчонка в космах рыжих, —  
Обтянутая грудь, —

Мороженое лижет,  
Ни слушая ничуть.

Сдувая с пива пену,  
Воспринимают нас  
Как слабую замену  
Оркестру в поздний час.

Жаль, не осталось кадра  
Из тех забавных лет.  
В фойе кинотеатра  
Уже притушен свет.

Лежал на дне кювета,  
Прошел весь путь насквозь,  
Потом еще и это  
Изведать довелось.

\* \* \*

Петляя туда и сюда,  
Тропинка бежит за болото.  
Беспечности нет и следа.  
Сентябрьской поры позолота.

Одна из извилистых троп,  
Где пень посреди поворота.  
Здесь золото истинных проб,  
А вовсе и не позолота.

\* \* \*

С великой надеждой спасенья,  
В ожогах от солнечных жал,  
Ташкент после землетрясения  
Как в тяжком инфаркте лежал.

Потом его подняли снова.  
Но сразу — в тревожной пыли —  
Сперва от постели больного,  
Конечно, детей отвели.

Осинник под дождичком вымок.  
Грачи собирались в отлет.

Темнеющих сосен ряды.  
Чего пожелать еще мне бы?  
За ними — полоска воды.  
Сперва я подумал, что неба.

И лодка среди водной слюды,  
Быть может, Бориса и Глеба.  
По сердцу — полоска воды.  
Сперва я подумал, что неба.

Команда хоккейная «Химик»  
Готовилась выйти на лед.

Я видел, поднявшись оврагом:  
На гладкой дороге лесной  
Автобус, украшенный флагом,  
Шурша, поравнялся со мной.

Бетонки бегущая лепта.  
Огромные сосны в смоле.  
И эти глазенки Ташкепта  
Сквозь брызги на мутном стекле.

ПАМЯТЬ О ВОДЕ

Бывает: жизнь покажется нам вдруг  
догла сгоревшей в пепельнице спичкой.  
Ложь торжествует. Предал лучший друг.  
Душою овладело безразличье.  
Никто не мил. Все валится из рук.

Мы созерцаем, лежа на спине,  
свою постылой ставшую квартиру  
и небо равнодушное в окне...  
Лежим безмолвны, безучастны к миру,  
лежим, как камень в темной глубине.

И, робкая в нахлынувшей беде,  
неуловима, как стихотворенье  
забытое («Когда читал? И где?»),  
как первый свет над сонною деревней,  
в нас вдруг восходит память о воде.

Она полна подробностей: леса,  
туман, камыш, лодчонка у причала...  
Чуть дальше — каменистая коса...  
И всплески рыб... И снова все сначала:  
туман... камыш... и чаек голоса.

Сползает с сердца тяжкая плита:  
оно доступно вновь любви и вере  
и рвется в те заветные места,  
где плещется вода о низкий берег,  
как стеклышко промытое, чиста.

И пусть мороз лютует за стеной —  
лелеем мы в душе мечту простую:  
поймать,  
с родною свидясь стороной,  
уверенности рыбку золотую  
и приобщиться к радости земной.

И вот мы у воды. Дымит костер.  
Кипит уха над ним. А недалече  
чета березок тоненьких лепечет...  
И, взяв за плечи, нашу душу летит  
сверкающего озера простор.

И синь в глазах, и блики... О вода!  
О ты земли живительное чудо!  
Кто первым в старину пришел сюда,  
сил не нашел уже уйти отсюда —  
заворожен, остался навсегда!

Он здесь стоял. И час, и два подряд.  
Стоял один. Костер дымился рядом...  
Здесь жил и умер... Пусть века летят —  
но чувствуем мы нашим долгим взглядом  
над озером его прощальный взгляд.

Нам чудится прищур славянских глаз,  
а в них тоска... тоска от неумения  
поведать нам, потомкам, сколько раз  
вода ему давала исцеленье,  
как исцелила в это утро нас.

ПОЭТ

Поведай тайну мне, Природа:  
ты, в череде бегущих лет,  
зачем кого-то из народа  
венчаешь званием — П о э т?

И наделяешь даром скорби  
и ликования, любя?...—  
И мне ответил голос горний:  
— Затем, чтоб выразить себя.

Поэт — мой слух. Поэт — мой голос.  
Он говорит — я говорю.  
Поэт — мой самый спелый колос  
из тех, которые творю.

И самый хрупкий и ранимый,  
и самый твердый... Если ж — нет,  
ищи ему другое имя —  
любое! — это не Поэт.

\* \* \*

Меня с годами все сильнее мучает  
сознание, что прожитого дня  
и года — тоже, худшего ли, лучшего,—  
не будет больше в жизни у меня.

Добро, коль этот день прошел в горении,  
которое зовется н е п о к о й,  
и наградил меня стихотворением  
или хотя б единственной строкой,

хорошей книгой, радостным прозрением —  
прозрение ведь это тоже вещь! —  
бесстрашием  
и яростным стремлением

## ПЕРЕД НОВЫМ ДЕЛОМ

О, не казись раскаяньем напрасно  
и не таи на прошлое обид:  
что сделано — то нам уж не подвластно,  
подвластно то, что сделать предстоит.

Все — и позор, и стыд, и униженье,  
тобою пережитые в свой срок,  
прими как дар судьбы, как одолженье,  
сумей лишь из всего извлечь урок.

## *Ирина Волобуева*

\* \* \*

Я, первая любовь, тебя благодарю  
За то, что все светлее ты с годами.  
Благодарю за первую зарю,  
Воспетую хмельными соловьями.

Благодарю за тот счастливый смех,  
За взмах руки безгорестно прощальный,  
За нежных яблонь лепестковый снег,  
Стоящих словно в платьяцах венчальных

Благодарю за то, что по весне  
Не знала я о том, что неминуче

взять груз на плечи,  
а не сбросить с плеч.

Да мало ль чем?!  
И значит, не напрасно я  
в тот день поднялся, чуть забрезжил свет.  
И отлились мгновения прекрасные  
в дела —  
не только в дым от сигарет.

И значит, я живу, и я наследую  
жизнь, до меня звеневшую века...

Я начинаю день свой, как последнюю  
монету достаю из кошелька.

Забудь навек, забудь душой и телом  
и что и как с тобою было встарь.  
И, обновлен, предстань пред новым делом  
как бог и всемогущий государь.

Лишь от твоих зависит полномочий,  
какое будет выжжено тавро  
на нем: иль «зло» — чернее черной ночи,  
иль светлое, как божий день, «добро».

Она придет и засаднит во мне,  
Другой любви осенняя горючесть.

Что будут грустны зрелые лета,  
Как в небе клекот журавлиных клиньев,  
Как стынь — прощаний горьких немота,  
Часы бессонниц мутные, как ливни.

Сто раз благодарю за то, что, вновь  
Весенняя, ты светишь, светишь верно,  
Прощая мне, что позднюю любовь  
В беспомытстве я называла первой.



Как кедр ливанский из орешка  
и как пшеница из зерна,  
его рабочая усмешка  
во мне сейчас повторена.  
То он ведь из летеиской стужи,  
из мрака вечности донес  
ко мне сейчас и эти уши  
и этот хрящевитый нос.  
И, словно воду из колодца,  
что ведра черпают на дне,

семейное ночное сходство  
потомки зачерпнут во мне.  
Не знал он, что такое спешка,  
и редко раскрывал он рот.  
Ну так пускай его усмешка  
летит в века из рода в род.  
Хотя из одного колена,  
потонем мы-то с ним во мгле.  
Но вечно будет тайна гена  
непостижима на земле.

## НА КРАЮ СВЕТА

Страна одичалых норд-остов,  
где темная церковь пуста,  
где на берег выброшен остов  
убитого в бурю кита.  
За домом на склоне отлогом  
лишь отблеск полярного дня...

И в край тот, покинутый богом,  
судьба заманила меня!  
Все гуча темнее и строже...  
В окошке зажегся уют!..  
И здесь, как и в мире, все то же:  
живут, и живут, и живут!

## *Николай Глазков*

### ГОРОД ЗРЕЛОСТИ

Средь таежной глухой первозданности,  
Грибоягодной благосклонности  
Вырастал Комсомольск — город юности —  
И трудился, не ведая лености.

Комсомольск — город бурной веселости —  
Поработал в азарте и ярости,  
Набирал и осваивал скорости  
И, естественно, должен был вырасти.

А его старожилы прекрасные,  
Полюбившие дали таежные,  
Работяги, прилежные, честные,  
Перешли — что поделать! — на пенсии.

Но Амур даже в дни своей хмурости  
Протекает, не ведая хворости, —  
И пускай Комсомольск — город  
зрелости —  
Процветает, не ведая старости!

### ЮЖНО-САХАЛИНСК — ХОЛМСК

Не играю в подкидного:  
Не до карт, не до знакомств.  
Я смотрю в окно: все ново  
На дороге в город Холмск.  
Тут зимою не до смеха,  
А пурга, метели — жуть!  
Заграждения от снега  
Охраняют этот путь.

Слева пропасть, справа пропасть,  
Слева заросль, справа поросль —  
И, свою листая повесть,  
Мимо сопки едет поезд.

По мосту с названьем Чертов  
Поезд едет, а потом  
Он в туннель вступает гордо  
И проходит под мостом.

Дальше вниз идет дорога  
Без особенных хлопот:  
Возле серого отрога  
К морю синему идет.  
Слева море, справа горы,  
Прибывает поезд в Холмск —  
Чрезвычайно важный город  
Сахалиноглавноморск!

# Николай Грибачев

## ВСЕ ТАК

Прекрасная метель шумит по крыше,  
Швыряет снег и даль скрывает с глаз.  
Я столько раз напевы эти слышал  
И снова рад услышать всякий раз.

Мы по наследству, что ли, северяне,  
И нам в различиях равно милы  
Июньских дней бескрайнее сиянье  
И краткость зимних в маске полумглы.

Сложней нам жить, чем там, где вечно лето,  
Тяжеле каждодневные труды,  
Чтобы иметь в запас тепла и света,  
Чтоб вырастали зерна и плоды.

Все так. Но с тем в немерянном раздолье,  
Меж непогод, что сводят год с ума,  
Зрел наш характер, нарастала воля,  
Уменье рук и дерзость ума.

О нас не скажешь — баловни удачи,  
Не попрекнешь — жирели с грабежа,  
Нас тиф валил, заводы ела ржа,  
И голод зубы скалил по-собачьи.

О, скольких мы оплакали до срока,  
Со сколькими простились навсегда,  
Пока через ревущие года  
Шли к океану от первоистока!

Теперь, могущественны в новом мире,  
В неугасимой к творчеству любви  
Мы даже вечномерзлоту Сибири  
Отогреваем — здравствуем и живим!

И ничего, что, серые как мыши,  
Дни коротки и что далек апрель —  
Прекрасная метель шумит по крыше,  
Раздумий друг и спутница — метель.

## ПРЕДЕЛЫ

Душа, тебе ли тем смущаться,  
Что день как скисшее вино?  
В тебе созвездьям совмещаться  
С любовью к женщине дано,

Снегам, ручьям, былинке малой,  
Грозе и свистам соловья.  
Равно вмещает вздох усталый  
И крик восторга ширь твоя.

Ты можешь плакать и сражаться,  
В молчанье яд сомнений пить,  
В тугой комок от горя сжаться,  
Полнеба взрывом ослепить.

Миг или вечность окликаю,  
Еще из мертвых и живых  
Никто не смог дойти до края  
Владений дарственных твоих.

Но в час, как несусветье мелешь, —  
Собой живу, себя люблю! —  
Ты иссякаешь, ты мелеешь,  
Ты по колено воробью.

И меркнет свет, и стынет жар твой,  
И лик твой накрывает тень,  
И над тобой, пустой и жалкой,  
Смеются все кому не лень!

## ЗИМНИЙ ДЕНЬ

Метель да метель. Изначально-то  
Она и не очень мела,  
Как будто от вдоха случайного  
Разбега набрать не могла.

Теперь повалила отчаянно,  
Клубится, свистя и шурша,  
И щетка леска размочалена,  
Как чья-то в тревоге душа.

Лишь дуб, что по облику в лешего,  
С притертого к полю холма  
Глядит свысока и насмешливо  
На шутки, что шутит зима.

Ему, долгожителю, издавна  
Известно, что все тут на срок,  
Что будет сумятица изгнана  
И солнцем зажжется восток.



СЕРГЕЙ МУРАВЬЕВ-АПОСТОЛ

Дитя двенадцатого года:  
В шестнадцать лет — Бородино!  
Хмель заграничного похода,  
Освобождения вино.  
«За храбрость» — золотая шпага,  
Чин капитана, ордена.  
Была дворянская отвага  
В нем с юностью обручена.  
Прошел с боями до Парижа  
Еще безусый ветеран,  
Я победителем вас вижу,  
Мой капитан, мой капитан!  
О, как мечталось вам, как пелось,  
Как поклонялась вам страна!  
...Но есть еще другая смелость,  
Она не каждому дана,  
Не каждому, кто носит шпагу  
И кто имеет ордена,—

Была военная отвага  
С гражданской в нем обручена:  
С царями воевать не просто!  
(К тому же вряд ли будет толк...)  
Гвардеец Муравьев-Апостол  
На плац мятежный вывел полк!  
«Не для того мы шли под ядра  
И кровь несла Березина,  
Чтоб рабства и холопства ядом  
Была отравлена страна!  
Зачем дошли мы до Парижа,  
Зачем разбили вражий стан?..»  
Вновь победителем вас вижу,  
Мой капитан, мой капитан!  
Гремит полков российских поступь,  
И впереди гвардейских рот  
Восходит Муравьев-Апостол...  
На эшафот, на эшафот.

ЯЛУТОРОВСК

Эвакуации тоскливый ад —  
В Сибирь я вместо армии попала.  
Ялуторовский райвоенкомат —  
В тот городок я топала по шпалам.  
Брела пешком из доброго села,  
Что нас, детей и женщин, приютило.  
Метель осатанелая мела,  
И ветер хвастал ураганной силой.  
Шла двадцать верст туда  
И двадцать верст назад —  
Все эшелоны пролетали мимо.  
Брала я штурмом тот военкомат —  
Пусть неумело, но неумолимо.  
Я знала — буду на передовой,  
Хоть мне твердили:  
— Подрасти сначала! —  
И военком седею головой  
Покачивал:  
— Как банный лист пристала! —  
И ничего не знала я тогда  
О городишке этом неказистом.  
Ялуторовск — таежная звезда,  
Опальная столица декабристов!..

Я видела один военкомат —  
Свой «дот»,  
Что взять упорным штурмом надо,  
И не заметила фруктовый сад —  
Веселый сад с тайгою хмурой рядом.  
Как так? Мороз в Ялуторовске крут  
И лето долго держится едва ли,  
А все-таки здесь яблони цветут —  
Те яблони, что ссыльные сажали!..

Я снова тут, пройдя сквозь строй годов,  
И некуда от странной мысли деться:  
Должно быть, в сердцевинах тех стволов  
Стучат сердца, стучит России сердце.  
Оно, конечно, билось и тогда  
(Хотя его и слыхом не слыхала),  
Когда мои пылали города,  
А я считала валенками шпалы.  
Кто вел меня тогда в военкомат,  
Чья пела кровь и чьи зывали гены?

...Прапрадеды в земле Сибири спят,  
Пред ними преклоняю я колена.





## Александр Коренев

### ТРАВА ЗВЕРБОЙ

Принимают траву звербой  
От болезней любых и бессонницы,  
Золотисты ее лепестки, а настой  
пахнет солнцем.  
Я ходил собирать, я искал  
По опушкам, в борах, целый вечер.  
Золотую звезду цветка  
вдруг замечу?  
Как ты стройно цветешь, звербой,  
Лета русского искорка нежная!  
Наградила природа тобой  
земли здешние.  
Поле, поле, вдаль, параспах!  
Поле в лютиках, в зонтиках, в доннике.

Иван-чай у столбов да лиловый бодяг.  
Месяц тоненький...  
Насушу я травы, унесу —  
Лета смольного, с пчелами, с копнами,—  
И напарю ее, когда крыши в снегу,  
мрак за окнами...  
Дай мне счастья, лесной цветок,  
Не целебного зелья, не сенца,  
А от новых забот и тревог  
силы в сердце!  
Ведь не зря, моя невезучая,  
В июле зреющем, в самом накале,  
Огонечки эти, лучики,  
мы искали...

## Виктор Кочетков

### НАД СТРАНИЦАМИ ИСТОРИИ

Сколько в ней всего: беды и удали!  
Сколько раз лавиной шли враги!  
Но хранят и ныне камни Суздаля  
Легкий шаг владимирских княгинь.

И поныне плачет песня: «Выдюжи,  
Одолей проклятых половчан».  
Колокол невидимого Китежа,  
По кому звонишь ты по ночам?

Кружит коршун над остылой пригарью.  
Степь черна до самой до Сулы.  
И глазами горестными Игоря  
Смотрит Русь из порубежной мглы.

Словно кость, белеет в разнотравии  
Черен Чингисханова копия.  
Горькая, великая и славная  
Русская история моя!

Все в тебе и суд и милосердие,  
Беспристрастье и страстей игра,  
Псы Малюты и ягнята Сергия,  
Меч Осляби и верстак Петра.

Щедрость ломоносовского гения,  
Пушкина летящая строка,  
Непреклонная решимость Ленина  
Все переиначить на века.

Жизни не падали, если стоило.  
Шли сквозь ветер огненный и злой.  
Сколько раз ты, русская история,  
Яростно работала метлой...

Сколько незаметных ты заметила,  
Право на бессмертье им дала.  
Скольких претендентов на бессмертье  
Ты в своих архивах погребла.

Дни и годы вымеряла маршами,  
Воздавая мертвым и живым.  
Рядового возносила в маршалы,  
Маршала равняла с рядовым.

Источились плиты древней паперти.  
Мертвый прах осел на лопухи.  
Но и ныне на валдайской скатерти  
Молодо дерутся петухи.

Сквозь окно с плетеною решеткою,  
На губах лукавинку тая,  
Ты глядишь рязанскою молодкою,  
Русская история моя.

С нами дни и светлые и черные,  
С нами наши долгие века.  
Ни одна страница не зачеркнута,  
Ни одна не вырвана строка.



## Игорь Лашков

\* \* \*

Мой дед заснят в буденовке  
Лет шестьдесят назад.  
Вихрастые подсолнухи  
Вокруг него стоят.

В руках винтовка-крестница,  
Сверкающий затвор.  
В открытом взгляде светится  
Мальчишеский задор.

Он был в боях под Киевом,  
Сражался на Дону.  
Там пули стерегли его  
В гражданскую войну.

Там лазареты нянчили,  
И он остался жив.

Фотографу бродячему  
Попал под объектив.

Давно старик на пенсии,  
В полковниках сыны.  
С портретов смотрит весело  
На внуков со стены.

Покажет на геройского  
Себя во цвете лет:  
— Вот юность комсомольскую  
Как начинал ваш дед!

В глазах сверкают сполохи,  
По всем статьям солдат.  
И внуки, как подсолнухи,  
Вокруг него стоят.

## Марк Лисянский

### МОЙ ГОРОД

Ни стука, ни скрипа, ни лая,  
Утихла ночная листва.  
Дышу я тобой, Николаев,  
Мне даже не снится Москва.

Шагаю той ночью бессонной,—  
Еще мне шестнадцати нет,—  
На улице нашей зеленой  
Я признанный всеми поэт.

Иду Адмиральской  
От друга  
Сквозь город, который уснул.  
И тянет прохладой с Буга,  
И плещется рядом Ингул.

Сквозь сумрак акаций  
По Спасской  
Я путь продолжаю к Сенной.  
И город мне кажется сказкой,  
Недавно придуманной мной.

Теперь-то, конечно, я знаю,  
Не знал, оперившись едва:  
Признал бы меня Николаев,  
Признает тогда и Москва.

Ту ночь не вернуть.  
Только эхо.  
Но, веря былым чудесам,  
Я в мой Николаев приехал  
К моим уцелевшим друзьям.

Все было:  
Разлуки и встречи.  
Душа, не кричи — помолчи!..

...А город набросил на плечи  
Накидку из желтой парчи.

Пылают осенние краски,  
Я вижу весь город насквозь.  
На то и придуманы сказки,  
Чтоб легче на свете жилось.

# Михаил Львов

\* \* \*

А я еще живу,  
еще ликую,  
И одержимость  
жизнью  
не прошла,  
И дни свои стихами  
публикую,  
Пока не грохнусь  
где-нибудь  
плашмя.  
Не отступаю  
перед подлецами,  
И сам себя  
подтягиваю  
я,

Пока  
не «в небесах» —  
под небесами,  
Под яростные нормы  
бытия,  
Готовый к схватке,  
к рыцарскому бою,  
И жизни  
на оставшуюся  
треть  
Я оставляю право  
за собою  
В отваге жить,  
в отваге умереть.

\* \* \*

О эта Жизнь!  
Этот Век!  
Это Время!  
Знал бы — кому,  
от души поклонился.  
Кто «программировал»  
жизнь мне,  
как премию?  
Чья эта милость,  
что я — появился?  
Все, что положено людям, —  
изведал,  
Лучшим вещам на земле  
поучился,  
И не поддался  
беде и изменам;  
Как получилось,  
что я получился?  
Нервно ловил я  
удачи минуты,  
Яростно,  
радостно,  
враз — разрывая  
Всяческих «комплексов»  
подлые пути,  
И — вывозила  
стезя  
некривая.  
Не было «кранов»,  
меня поднимавших,

Не был отмечен я  
«знаком особым»,  
Но от восторгов,  
меня подмывавших,  
Я становился  
почти невесомым.  
Было дано мне  
взлетать не однажды  
На высочайшие  
счастья  
высоты,  
И умирать  
от любви  
и от жажды,  
И воскресать  
для любви  
и работы,  
Было дано мне —  
на десятилетия —  
Строчками  
в душах людских  
прописаться,  
Гениев видеть  
на этой планете,  
К ленинским мыслям  
душой  
прикастаться.  
О мое Время —  
с кипением страстным —

От Октября  
до космических высей!  
Перед лицом твоим  
добрым  
и властным  
Я не скрываю  
ни чувств  
и ни мыслей.

Песня души  
с этим веком  
спаялась,  
В страшных сражениях  
не разможилась.  
Будем считать,  
что судьба состоялась,  
Будем считать,  
что и песня сложилась.

## Алексей Марков

### НА РОДИНЕ

Здесь никому я не знаком,  
Забыли все давно меня!  
И даже наш старинный дом,  
Крыльцо, как шапку, накреня,  
Глядит холодным чужаком...

Не вижу тех, с кем до утра,  
Бывало, разойтись не мог,  
Пока не рушилась гора  
Вопросов  
об иных мирах  
И нашем — как всему итог...

Узнать ли в старушонке той  
Любовь далекую мою  
С походкой царственно-крутой,

С косою по пояс золотой...  
И я неузнанный стою!

И только Каспий в ноги мне  
Бросается, как верный пес.  
— В какой бродил ты стороне?  
По чьей состарился вине? —  
И — щеки, мокрые от слез,  
Дыханьем сушит, как во сне...

Доносит море голоса  
В заботах погребенных дней.  
Нет, есть на свете чудеса —  
И смех, и вздохи, и глаза  
Полузабывшихся друзей  
Звучат в реальности своей...

\* \* \*

Крутой февральский вечер,  
Метет, метет пурга,  
И кажется, что вечно  
Лежат снегов стога.

Но далеко и смутно  
Запахло вдруг весной,  
Парным молочным утром  
И прелестью лесной...

\* \* \*

Нет места на вершинах горных  
Для мутной пенистой воды.  
Она срывается упорно  
К подножью каменной гряды.

Недолог век обидам вздорным  
В душе высокой мудреца.  
Подобные потокам сорным,  
Уходят в небыль до конца!



ОКТАБРЬ

Дети  
Взрослеют, слушая  
Тех, кто остался храбр.  
Вспомни, моя хорошая,  
Свой буревой Октябрь!  
Чувствуя скорость возросшую,  
Звездным сияньем горя,  
Вспомни, моя хорошая,  
Вихрь своего Октября!  
Разве вспять повернешь его,  
Революционный корабль!  
Вспомни, моя хорошая,  
Свой снеговой Октябрь!  
Разве оковы не сброшены,  
Коль ты не раб и не дрябл!  
Вспомни, моя хорошая,  
Свой огневой Октябрь!  
Прошлого тяжкую ношу  
Вынес наш мир, не ослаб.  
Вспомни, моя хорошая,  
Свой снеговой Октябрь!

БОГИ МЕТАЛЛУРГИИ

И брожу я меж соленых луж,  
И как будто вижу я, блуждая,  
Что блуждаю как ученый муж, зароженье жизни наблюдая  
На тебе, планета молодая!

О, твоя еще взойдет звезда,  
Поостынет дикая вода,  
Кровь и мед появятся и млеко!  
Но когда еще? Еще когда!  
Высшая премудрость иногда преждевременна для человека,  
Как железная руда для питомца каменного века!

Но ее,  
Чтоб подковать коня,  
Цепь сковать и зубья для капкана,  
В недрах зарождают для меня  
Великаны дыма и огня,  
Боги металлургии,  
Вулканы!



**В. В. Маяковский. 1929 г.**

*Фото А. Темерина. Архив В. А. Родченко*

**Владимир Маяковский. Киев, 1913 г.**



**И. П. Уткин и В. В. Маяковский во дворе клуба ФОСП. Москва, 26 сентября 1929 г.**





Демьян Бедный в г. Весьегонске. 19 мая 1927 г.  
*Редкий снимок. ЦГАЛИ*

Портретов Сергея Есенина в графике и живописи, выполненных при жизни поэта, насчитывается немного. Среди их авторов — С. Городецкий, В. Юнгер, Д. Бурлюк, К. Аладжатов, Г. Якулов...

Репродуцируемый здесь портрет малоизвестен в нашей стране. Он был написан художником Борисом Григорьевым в Париже, в 1923 году, во время пребывания С. А. Есенина за границей.

*В. Вдовин*



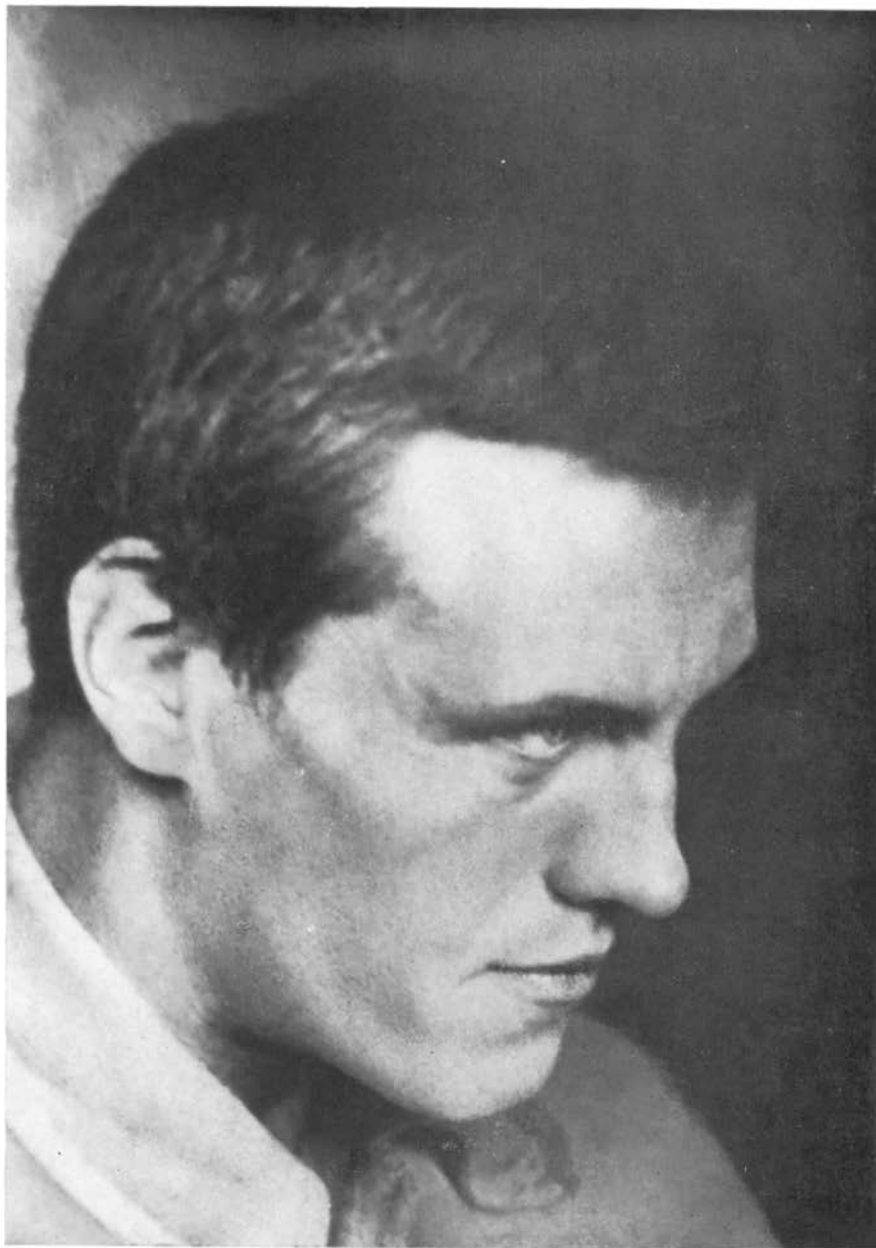


Н. И. Клюев, С. А. Есенин, В. В. Иванов. Начало 20-х гг.



Максимилан Волошин. Автопортрет. Козтебель, 1919 г. (К 100-летию со дня рождения).

*Публикуется впервые. ЦГАЛИ*



Н. С. Тихонов. Петроград. Начало 20-х гг.

*Редкий снимок. ЦГАЛИ*

**А. А. Сурков. 1918 г.**



**А. С. Серафимович, Р. П. Островская,  
Б. Л. Пастернак среди офицеров гвардейского  
соединения на фронте. 1943 г.**





А. И. Безыменский, А. А. Прокофьев, А. А. Сурков. 1940 г.



**Н. Н. Асеев. 1930 г.**

*Фото А. Родченко. Публикуется впервые*



**Слева направо: М. А. Светлов, А. Л. Барго, В. М. Гусев, И. П. Уткин, Н. Н. Асеев, С. И. Кирсанов. Москва, ВТО, 1938 г.**



ДВЕ НАДПИСИ НА ЗАБЫТОЙ КНИГЕ

1

...у меня нет таланта, у меня  
есть призвание...

(Из разговора)

Почти весь день в его прекрасном доме,  
Под сенью книг, знакомых лишь едва,  
Провел, проговорил, не экономя  
Чужие мысли и свои слова.

И мимоходом размышлял при этом,  
Что, даже наплевав на все дела,  
Усильем воли сделаться поэтом  
Нельзя, какой бы воля ни была.

Но можно рыть колодец свой постылый,  
Не покидая стылую подклеть,—  
И докопаться если не до жилы,  
То заповедным кладом овладеть.

Он сотни лет лежал в земных глубинах,  
На сто голов положен воробьиных,

Чтобы никто не разгадал зарока  
До срока заповедного... До срока.

2

Он счастлив был в кругу семьи  
Часов примерно до семи.

Ну а с восьми часов примерно  
(Спаси, помилуй и прости),  
Избранник Муз и травести,  
Уже не мог себя вести  
Благопристойно и примерно

(Прости, помилуй и спаси),  
Хватал на улице такси.  
Ложился рано (в смысле поздно),  
И так всю жизнь — сплошной недуг.  
Когда же выздоровел вдруг,  
То заболел — весьма серьезно.

Тоска по дому, по семье,  
По молодому по себе.

\* \* \*

Когда беда в твой дом войдет,  
Твой друг, вот этот или тот,  
Рубашку на груди рванет —  
И за тебя умрет.

Беда, она и есть беда...  
А если радость... Что тогда?..

\* \* \*

Кто мне она? Не друг и не жена.  
Так, на душе ничтожная царапина.  
А вот — нужна, а между тем — важна,  
Как партия трубы в поэме Скрябина.



## Александр Николаев

### ХЛЕБ МИРА

Чудо-хлеб растет в Шовгеновском ауле  
на кубанском оросительном канале.  
Вызревают зерна крупные, как пули,  
в элеваторе лежат, как в арсенале.

Слишком памятна войны прошедшей грозы,  
их не сгладят ни года, ни расстояния,  
и колхозники  
в правление колхоза  
подписать пришли Стокгольмское  
воззвание.

Люди выглядели празднично и ярко,  
привели они с собой детей и внуков.  
Подписались  
Меритукова — доярка,  
Меритуков — врач,  
комбайнер Меритуков...

Моя подпись рядом с ними в этом списке,  
в списке наших врачей-врачевателей, кормильцев.  
А у Вечного огня на обелиске  
насчитал я сорок шесть однофамильцев.

Где стоят, как на часах, хлеба и травы,  
в мире самых мирных запахов и звуков  
я читал на обелиске вечной славы:  
Меритуков,  
Меритуков,  
Меритуков...

Так напомнила невольню Адыгея  
мне, осколками пробитому комбату,  
что в моей артиллерийской батарее  
полагалось сорок шесть бойцов по штату.

Побывавший в переделках, в перестрелках,  
ночь не спал я от колесных перестуков.  
Все мне слышалось на стыках и на стрелках:  
Меритуков,  
Меритуков,  
Меритуков...

Будто кто-то все выстукивал морзянку  
и она открытым текстом шла в эфире,  
чтобы мир,  
когда проснется спозаранку,  
подписал их под воззванием о мире.

## Нина Новосельнова

### ПОДМОСКОВЬЕ

Здесь все и добротное, и крепкое:  
И трав августовский настой,  
И солнечная сурепка  
Над жухло-зеленой ботвой.

И колких травинки метелки,  
Растущие у дорог,  
И тихий на тихом проселке  
Березовый островок.

Бывало, растянешь пальтишко  
(От школы далеко домой!)  
И сядешь с любимой книжкой,  
К березе прижавшись спиной.

Упругие выхлопы ветра  
Сдугнули с ветвей воронье...  
На сердце спокойно: ведь это—  
Мое, безраздельно мое.

\* \* \*

Вас я видел еще молодыми,  
Барды первых лет Октября.  
Не для славы творили — во имя,  
Рифмовали «заря» и «не зря».

В революцию шли вы без лести,  
Без надежд на сытный паек.  
Хриплый диктор рабочих предместий,  
Поднимал вас утром — гудок.

Нет, еще не горели над вами  
Театрального бала огни.  
Шелестели над головами  
Ваших строф приводные ремни.

В ваших строчках была повседневность  
Необычная разлита,

В неуклюжести вашей — душевность,  
В простоте вашей — чистота.

Ни наград не ждали, ни премий,—  
На рабочих стояли местах,  
И гудело железное время  
В ваших строчках, как в проводах.

Эшелоны шли, эшелоны...  
Были так еще далеки  
Однотомники, магнитофоны,  
Многотысячные Лужники.

Не в архиве, а в арсенале  
Живы строки народной молвы.  
Вас поэтами не называли,  
Но поэтами были вы.

\* \* \*

Утро раннее, воздух и воля,  
Тишина, а понять не могу —  
То ли я у безбрежного поля,  
То ли я на морском берегу.

Что там скрыто за этим туманом?  
Незнакомые, видно, края.  
И блуждает свободно по странам  
Дорассветная память моя.

Но куда бы она ни попала,  
Что ей слух ни подсказывай мой,—  
Не уйти от родного причала, —  
Все равно возвратится домой.

Возвратится она восвояси  
И увидит над Волгой рассвет.  
Он все так же прозрачен и ясен,  
Как в начале младенческих лет.

Тучка плавает осторожно,  
По светающей Волге скользя...  
От земли оторваться — возможно,  
Не вернуться на землю — нельзя.

## Булат Окуджава

\* \* \*

Я вновь повстречался с надеждой. Приятная встреча!  
Она проживает все там же — то я был далече.  
Все то же на ней из поплина счастливое платье,  
все так же горящ ее взор, устремленный в века...  
Ты наша сестра, мы твои удивленные братья,  
и трудно поверить,  
что жизнь коротка.

А разве ты нам обещала чертоги златые?  
Мы сами себе их рисуем, пока молодые.  
Мы сами себе сочиняем и песни, и судьбы,  
и горе тому, кто одернет не вовремя нас...  
Ты наша сестра, мы твои торопливые судьи,  
нам выпало счастье,  
да скрылось из глаз.

Когда бы любовь и надежду связать воедино,  
какая бы, трудно представить, возникла картина!  
Какие бы нас миновали напрасные муки,  
и только б счастливые муки глядели с чела...  
Ты наша сестра. Что ж так долго мы были в разлуке?  
Нас юность сводила — да старость свела.

## Владимир Осинин

### РОДНАЯ ХАТА

Старушка хата,  
Чуть забора выше,  
Вросла по окна самые в траву...  
Я думал, под твоею крышей  
Ни в радости, ни в горе проживу.

Но не сбылось...  
Стою перед порогом,  
Уже не встретят ни отец, ни мать.  
Но я пришел. И хочется так много  
Тебе о белом свете рассказать.

Так повелось: седые ветераны,  
Пусть даже без чинов и без наград,  
О войнах и далеких странах  
На улице народу говорят.

Меня сегодня некому послушать —  
Ни тени ни единой у плетней.  
И можно лишь перед тобою душу  
Излить, как перед совестью своей.

Таких, как ты, родимая, немало,  
Во всех краях они тебе родня.  
Они меня как гостя принимали  
И слушали доверчиво меня.

В чужом краю на битве справедливой  
Я видел замки сумрачной страны.  
Но представлял, как осенью дождливой  
Ты спишь среди залесной тишины.

Пропахшая березою и щами  
И лампой керосиновой красна...  
Какие люстры там под потолками!  
А на полу — пылиночка видна.

В хрусталь там наливали не сивуху,  
А словно бы прозрачную капель.  
И не гармонь, усладою для слуха  
Служила старая виолончель.

Но понял я, меня спасло другое:  
Далекий, неотступный голос твой —

Как тонкий колокольчик под дугою,  
Как неприметный родничок живой.

Соломенная, с темными углами  
И с чертом-завывалой за трубой...  
Но бредила ты светлыми стихами,—  
Я через жизнь их нес к тебе домой.

### ЗЕМЛЯК

Он мальчуганом при лучине  
Букварь истрепанный постиг.  
Потом о станции Починок  
Сложил свой первый робкий стих.  
Упорно бился в одиночку —  
Всего себя отдал стихам,  
А деньги кровные — за строчки —  
Пред смертью выслал землякам.

Чтоб на задворке серо-буром,  
Где не росла и лебеда,  
Вознес колонны Дом культуры...  
Я не дыша вошел туда.

Забывая, душевная, родная,  
Ты слушаешь задумчиво, как мать,  
И, боль мою безмолвно понимая,  
Меня ни в чем не станешь упрекать...

Осот-пырей, крапива за стеною  
И у плетня седой чертополох...  
Прильну к тебе и окроплю слезою  
Веками отшлифованный порог.

Портреты, люстры, абажуры  
Вокруг сияли красотой.  
Вполне обжитый Дом культуры.  
Но все ж казалось: он пустой.

Я вышел к площади. Обломки  
Каких-то плит, песок сырой...  
Наверно, здесь ему потомки  
Поставят памятник — такой,  
Какие ставят лишь поэтам,—  
Согретый пламенем души...  
Смоленский край, начало лета.  
Садись в тени, стихи пиши.

## *Николай Панченко*

\* \* \*

Мы мало с тобою гуляем  
по улицам этим сырым,  
когда освещенным трамваем  
вращается мимо Москва,  
когда безразличные пары,  
вечерняя бронза воды,  
сады, переулки, бульвары,  
бульвары, проезды, сады.

Мы много гуляли с тобою,  
валяли, поди, дурака,  
когда под рукою судьбою  
моя проступала строка.  
Когда наступала Таруса,  
снимая снега донага,—  
и смысла хватало, и вкуса,  
и горьких этюдов Дега.

И только, случалось, ни строчки —  
не то чтобы спелой строки,  
случалось, как клейкие почки,  
сосочки на ветке горьки.  
Такие, что, право, ни слова,  
ни вдоха, лишь зыблется свет,  
и так это, господи, ново,  
что имени этому нет.

И это, наверно, важнее  
рабочего дня моего,  
ах, милый мой, то, что нежнее,  
то, верно, важнее всего —  
скитаться по черным дорогам,  
как прежде, важнее, видать.  
И к старым и к новым порогам  
горбатым лицом припадать.

\* \* \*

Город ночью прост и вечен.  
Светит трепетный неон.  
Где-то над Замоскворечьем  
Низкий месяц наклонен.

Где-то новые районы,  
Непечатые снега.

Там лишь месяц наклоненный  
И не видно ни следа,

Ни прохожих. Спит столица,  
В снег уткнувшись головой,  
Окольцована, как птица,  
Автострадой кольцевой.

\* \* \*

Ветры пятнадцатых этажей  
Не похожи на ветры,  
Плутающие по изворотам  
Двухэтажных улиц.  
В них нет ропота листьев,  
Посвиста заборных прогалов,  
Шепота слуховых окон,  
Гуда печных труб.  
Они дуют ровно и сильно  
И кажутся гулом вселенной,  
Особенно ночью.

## НА ОКРАИНЕ

Парк в предутреннем беспорядке  
Из волос вытрясает сор.  
Пахнет снег огуречной кадкой,  
Подтекает, словно рассол.

А весна идет ветровая,  
Сыrovатая, как белье,  
Под стеклянный бубен трамвая  
Продувающая жильё.

Да, видать, окончилась спячка,  
И орет себе в синеве  
Петушок горластый, как прачка.  
Есть еще петух на Москве!

Развеселый, лихой, горластый,  
Рябоперый и огневой,  
Будь что будет — живи и здравствуй!  
Пой, петух, покуда живой!

\* \* \*

В Пярну легкие снега.  
Как свободно и счастливо!  
Ни одна еще нога  
Не ступала вдоль залива.

Быстрый лыжник пробежит  
Синей вспышкой мгновенной.  
А у моря снег лежит  
Свежим берегом вселенной.





ЗВУКОВАЯ ИГРА

Я притворялся танковой колонной,  
стальной, морозом досиня каленной,  
непобедимой, грозной, боевой, —  
играл ее, рискуя головой.

Я изменял в округе обстановку,  
причем имея только установку  
звукотрансляционную на грузовике —  
мы действовали только налегке.

Страх и отчаянье врага постигнув,  
в кабиночку фанерную я лез  
и ставил им пластинку за пластинкой —  
проход колонны танков через лес.

Колонна шла, сгибая березняк,  
ивняк, дубняк и всякое такое,

подскакивая на больших корнях —  
лишая полк противника покоя.

С шофером и механиком втроем  
мы выполняли полностью объем  
ее работы — немцев отвлекали,  
огонь дивизиона навлекали.

Противник настоящими палил,  
боекомплекты боевые тратил,  
доподлинные деревца валил,  
а я смеялся — ну дурак, ну спятил!

Мне было только двадцать пять тогда,  
и я умел только пластинки ставить  
и понимать, что горе не беда,  
и голову свою на карту ставить.

ОТЦЫ И СЫНОВЬЯ

Сыновья стояли на земле,  
но земля стояла на отцах,  
на их углях, глеющих в золе,  
на их верных стареньких сердцах.

Унаследовали сыновья,  
между прочих  
в том числе  
и я,  
выработанные и семьей и школою  
руки хваткие  
и ноги скорые,  
быструю реакцию на жизнь  
и еще слова:  
«Даешь! Держись!»

Как держались мы  
и как давали,  
выдержали как в конце концов,  
выдержит сравнение едва ли  
кто-нибудь,  
кроме отцов,

тех, кто поднимал нас, отрывая  
все, что можно,  
от самих себя,  
тех, кто понимал нас,  
понимая  
вместе с нами  
и самих себя.

## ЖАЛЕЮ ВРЕМЯ, ЧТО ОНО ПРОШЛО

С утра мне было ясно и светло.  
Мой день был ясен и мой вечер светел.  
Жалею время, что оно прошло  
и не заметило того, что я заметил.

Оно дарило мне за днями дни,  
само же всякий отдых отвергало,  
в курантах всех вертело шестерни,  
колеса всех часов передвигало.

Мне — музыки стремительный зигзаг.  
Ему — часов томительный тик-так.  
Я — по прямой. Оно же — ходом белки  
по кругу вечному вращает стрелки.

А то, что я конечен, а оно  
дождется прекращения мирозданья —  
об этом договорено давно.  
Я это принимаю без страданья.

Угроза,  
в ходе слышная  
часов,  
пружин их ржавых  
хриплое скрипенье,  
не распугает  
птиц моих лесов  
и не прервет их радостное пенье.

## НЕОКОНЧЕННЫЕ СПОРЫ

Жил я не в глухую пору,  
проходил не стороной.  
Неоконченные споры  
не окончатся со мной.  
Шли на протяжении суток  
с шутками или без шуток,  
с воздеваньем к небу рук,  
с истиной, пришедшей вдруг.  
Долог или же недолог  
век мой, прав или неправ,  
дребезг зеркала, осколок  
вечность отразил стремглав.  
Скоро мне или не скоро  
в мир отправиться иной—

неоконченные споры  
не окончатся со мной.  
Начаты они задолго,  
за столетья до меня,  
и продлятся очень долго,  
много лет после меня.  
Не как повод,  
не как довод.  
Тихой нотой в общий хор  
в дпящийся извечно спор  
я введу свой малый опыт.  
В океанские просторы  
каплю вольюсь одной.  
Неоконченные споры  
не окончатся со мной.

## ЧЕРТА МЕЖ ДАТАМИ

Черта меж датами двумя —  
река, ревушая ревя,  
а миг рожденья — только миг,  
как и мгновенье смерти,  
и между ними целый мир.  
Попробуйте измерьте.

Как море меряет моряк,  
как поле меряет солдат,  
сквозь счастье меряем и мрак  
черту  
меж двух враждебных дат.

Черта меж датами —  
черта меж дотами,  
с ее закатами,  
с ее высотами,  
с косоприцельным  
ее огнем  
и в ночь переходящим днем.

1 МАЯ 1919 ГОДА

Еще фронты кругом, разруха всюду,  
И новосел кремлевский — Совнарком  
Ютится в тесных комнатах, покуда  
Ремонт в Кремле,  
И звон, и стук кругом.  
Еще едва расчищены от хлама  
Кремлевские дороги там и тут,  
И суриком щербатины на храмах  
Под вешним солнцем яростно цветут.  
Зазеленеть бы травам  
И лучиться  
Зарю алой маковкам Кремля,  
Но вся еще не прибрана столица,  
Как, впрочем, вся российская земля...  
Тот Первомай пришелся на субботу,  
На будний день,  
И было решено:  
Пускай он будет Праздником Работы,  
Как на земле рабочих быть должно.  
И вот с утра  
Кремлевские курсанты,  
Нарком, шофер, строитель, часовой—  
Багряные горят в петлицах банты —  
На площадь вышли праздничной толпой.  
Никто в тот миг и не заметил даже,  
Как вдруг он появился на плацу,  
Лишь по-курсантски вздрогнул строй  
фуражек  
И по команде встал боец к бойцу.  
Но Ленин,  
Командира упреждая,  
Вдруг честь отдал, как будто рядовой:  
Мол, к вам в распоряженье поступаю.  
И встал на левый фланг,  
В солдатский строй.  
Сейчас развод недолгий,  
И начнется —  
Под звон лопат носилки заснуют,  
И вот уж кто-то весело смеется:  
Не мы ль твердили — миром правит  
труд!..

Потом  
На Красной площади  
Весенне  
Гремел парад и митингов прибой,  
И Ленин деревца сажал со всеми  
Перед Кремлевской красною стеной...

## Марк Соболев

### ОЛЕГУ КУВАЕВУ

Где леденеют и солнце и сердце,  
где человечий кончается мир, —  
чтобы не вымерзнуть, не озвереться,  
люди придумали жгучее средство —  
горькое варево, черный чифир.

Тундра и камень — такая природа,  
ветер — а в нем ни черта кислорода,  
снег, от которого слепнешь...

Но вот  
на костерке раскаленная кружка,  
в кружке заварена чая осьмушка,  
и хорошо человеку — живет!

Первый из первых — у века в разведке.  
Черных кострищей дорожные метки,  
дыры шурфов и осколки руды...  
Необходимо ему и победе  
золота, олова, нефти и меди,  
как табаку, сухарей и воды.

Было:

над Вяткой военная стужа,  
тюрю на завтрак и книга на ужин —  
та, над которой не спать до утра...  
Смока Беллью даусонская бражка  
где-то готовит собачьи упряжки...  
Что же ты медлишь, мальчишка? Пора!

Ах, как метнулись пути человека  
за географию Лондона Джека —  
к вышкам Ямала, шурфам Колымы!..  
Вот потому при знакомстве, вначале,  
мы хорошо за столом помолчали,  
переглянулись и выпили мы.

Кажется мне, что страной ледяною  
шел я когда-то твоею лыжнею,  
флягой твоей согривался в мороз,  
молча крутил на двоих самокрутку —  
ибо хлебнул на своем первопутке  
в некое время чифиру до слез.

Каждый рождается первопроходцем,  
только одним не под силу придется,  
кто-то споткнется, кому-то «не хоцца»,  
карта не выпадет, разум схитрит...  
Самый отважный в пути умирает —  
не потому, что быстрее сгорает,  
а потому, что светлее горит.

Севером вышколенный и ученный,  
спросишь, бывало, минутою черной,  
молча, одними глазами: о чем я?..  
Милый, о том, что осталось навек:  
улица светлая в щебете птичьем,  
гроб непонятный, пиджак непривычный,  
и — опрокинутый навзничь Олег.

## Николай Старшинов

### БОРОЗДА

I

И каждый да получит по заслугам!..  
Чтоб хлеб с картошкой были на столе,  
Мой дед Никита век ходил за плугом  
По нашенской владимирской земле.

И, понукая ласково кобылу,  
Он до колен проваливался в пласт  
И думал, что земля ему и силу,  
И бодрость духа, и достаток даст.

Силенку-то мой дед имел,  
И кроме

Он слыл весельчаком...

Да вот беда —  
В его большом и многодетном доме  
Достатка не случилось никогда.

От недородов и долгов измучась,  
Он сам не охладил к родным краям,  
Но разделить свою крутую участь  
Не пожелал подростим сыновьям.

Голодным псом глядеть из подворотни?  
Считаться самых низменных кровей?..  
Нет, в городе оно куда вольготней!  
И он в Москву отправил сыновей.

## II

Да, я родился в этом дивном граде  
Среди асфальта, стали и стекла.  
И жизнь моя не по лазурной глади —  
По каменному руслу протекла.

Гонял в трамваях.  
Восседал в конторах.  
Стоял в цеху гремящем у станка...  
И на родных  
Владимирских просторах  
Не вырастил вовек ни колоска.

Бывал в театрах. И купался в ванной.  
Достаточно прилично был одет...

### ПЕРВЫЙ УТРЕННИК

Здесь недавно еще,  
День за днем  
Удлиненные кисти качая,  
Розовато-лиловым огнем  
Полыхали кусты иван-чая.

А теперь, перегреты жарой  
И прихвачены стужей ночью,  
Разметались они под горой,  
Невеселой блестя сединою.

Первый утренник, как ты жесток!..  
Но, бесстрашно взобравшись на гору,  
Одинокий прекрасный цветок  
Полыхает, как в летнюю пору.

\* \* \*

Вдруг найдет — невесть откуда:  
Я свершу любое чудо,  
Если только захочу.  
Вот сейчас лихим галопом  
По весенним гулким тропам  
Синим ливнем пролечу.

Или брошусь в речку с ходу,  
Как голавль, разрежу воду —  
У меня такая прыть!  
А потом взмахну руками  
И орлом под облаками  
Буду царственно парить.

Конечно, это — край обетованный,  
О нем и не мечтал мой бедный дед.

И мне теперь уже не измениться —  
Как жизнь сложилась, так и доживу...  
Но иногда такое вдруг приснится,  
Чего и не представишь наяву.

Заря...  
Туман висит над ближним лугом.  
Еще дрожит озябшая звезда.  
Горит роса.  
А я иду за плугом.  
И гнется за мною борозда...

Только дыму не быть без огня  
И огню не заняться без дыму...  
Это осень, страшая меня,  
Переходит решительно в зиму:

Жестким инеем наземь легла,  
Проморозила намертво лужи...  
О душа, ты сгорела дотла  
И теперь не спасешься от стужи.

Чем-то небо меня одарит?..  
Но, бестрепетно зиму встречаю,  
На пригорке горит и горит  
Одинокий цветок иван-чая...

Или — что там небо, речка! —  
Просто выйду на крылечко,  
Молодой-премолодой.  
Крикну девке крутобедрой,  
На руке несущей ведра:  
— Не возьмешь ли за водой?!

...Мы хохочем у колодца,  
А по желобу все льется  
Развеселая вода...  
Вот такое-то забвенье  
На какое-то мгновенье,  
А находит иногда.

# Арсений Тарковский

## ГРИГОРИЙ СКОВОРОДА

Не искал ни жилища, ни пищи,  
В ссоре с кривдой и с миром не в мире,  
Самый косноязычный и нищий  
Изо всех государей Псалтири.

Жил в сродстве горделивый смиренник  
С древней книгою книг, ибо это  
Правдолюбия истинный ценник  
И душа сотворенного света.

Есть в природе притин своеволью:  
Степь течет оксамитом под ноги,

\* \* \*

Мир ловил меня, но не поймал.  
*Автоэпитафия Г. Сковороды*

Где целовали степь курганы  
Лицом в траву, как горбуны,  
Где дробно били в барабаны  
И пыль клубили табуны,

Где на рогах волы качали  
Степное солнце чумака,  
Где горькой патокой печали  
Чадил костер из кизяка,

Где спали каменные бабы  
В календаре былых времен  
И по ночам сходились жабы  
К ногам их плоским на поклон,—

Там пробирался я к Азову:  
Подставил грудь под суховей,  
Босой, пошел на юг по зову  
Судьбы скитальческой своей,

Топтал чабрец родного края  
И ночевал — не помню где;

\* \* \*

Ночью медленно время идет.  
Завершается год високосный.  
Чуют жилами старые сосны  
Смол своих коченеющий лед.

Хватит мне повседневных забот,  
А другого мне счастья не надо:

Присыпает сивашскою солью  
Черствый хлеб на чумацкой дороге,

Отворились небесные двери,  
Тихо светят речистые речки,  
Домовитые малые звери  
По-над норами встали, как свечи.

Но и сквозь оболъщения мира,  
Из-за литер его Алфавита<sup>1</sup>  
Брезжит небо синее сапфира,  
Крыльям разума настезь открыто.

<sup>1</sup> «Алфавит мира» — трактат Г. Сковороды.

Я жил, невольно подражая  
Григорию Сковороде.

Я грыз его благословенный,  
Священный, каменный сухарь,  
Но по лицу моей вселенной  
Он до меня прошел как царь.

Пред ним прельстительные сети  
Меняли тщетно цвет на цвет;  
А я любил ячейки эти,  
Мне и теперь свободы нет.

Не надивуюсь я величию  
Счастливых помыслов его.  
Но подари мне песню птичью  
И степь — не знаю, для чего.

Не для того ли, чтоб оттуда  
В свой час, при свете поздних звезд,  
Благословив земное чудо,  
Вернуться на родной погост?

Я-то знаю — и там, за оградой,  
Чей-нибудь завершается год,

Знаю — новая роща встает  
Там, где сосны кончаются наши.  
Тяжелы черно-белые чаши,  
Чуют жилами срок и черед.

## Людмила Татъяничева

\* \* \*

Как стремительно мчатся года!  
Будто с гор вихревые потоки.  
На припае чистейшего льда  
Обозначились строгие сроки.  
Я в предзимье своем вихревом  
Не ищу улетевшие стаи.  
И дела оставлять на потом  
Хоть с трудом,  
Но уже отвыкаю.  
И отнюдь не от скупости чувств  
Дорожу я любимым из мгновений.

А грядущее видеть учусь  
Свежим взглядом  
Других поколений.  
В этом мне и пример  
И указ  
Прозорливость Октябрьского  
Гимна...  
Что свершится при нас  
И без нас —  
Все едино  
И все неотрывно!

### ЗЕМЛИ ОЧАРОВАНИЕ

Бетон аэродрома  
Ушел из-под шасси.  
И я совсем как дома  
В подоблачной выси.  
Скрывается из виду  
Таежная река,  
Резьбой по малахиту  
Сверкнув издалека.  
И золотисто-буры  
В подпалинах с боков  
Висят медвежьи шкуры  
Тяжелых облаков.

Здесь ветры их полощут,  
Полдненный супит зной.  
Сквозь их слепую толщу  
Прошли стрелой стальной.  
И бирюзово-нежный,  
Переходящий в синь,  
Открылся мне безбрежный  
Сквозной простор пустынь...  
...Но синевы блистанье  
В той солнечной дали  
Слабей очарованья  
Родной моей земли.

\* \* \*

Электроток толкает грузы,  
Играет силой молодой.  
...Вода,  
Прошедшая сквозь шлюзы,  
Осталась прежнею водой.  
Стальным валам  
Себя вверяла,  
Бросалась с грозной  
Высоты,

И ничего не растеряла:  
Ни синевы,  
Ни чистоты.  
Все та же удаль в ней  
Таится, —  
Вода по-прежнему свежа...  
...Да, есть чему тебе  
Учиться,  
Моя ранимая душа!

\* \* \*

Опять причудливая память  
Влечет меня в далекий дом,  
Где я могу еще представить  
Себя с тобою не вдвоем.

Где я была совсем девчонкой  
В нелепых грубых башмаках.  
Линялых платьев ситчик тонкий  
Редел на острых локотках.



Там трудно разгорались в печке  
Сырые мерзлые дрова.  
И, словно медные колечки,  
Звенели, падая, слова.  
Я в песнях плакала о маме,—  
Сиротства горестен удел,—  
А старый бог в латунной раме  
Упрямо на меня глядел...  
...Из родины я вышла рано,

Чтоб Родину свою обрести.  
И знала,  
Знала, как ни странно,  
О том, что ты на свете есть.  
Был день просторен и морозен,  
Купались снегири в снегу.  
Я с той поры  
С тобою порознь  
Себя представить не могу.

## *Михаил Танич*

\* \* \*

Окно оттаивает к полдню,  
И день восходит голубой!  
Я эту комнату наполню  
Одной тобой, одной тобой.

И васильком тебя представлю,  
И незабудкой полевой,  
И как цветок тебя поставлю  
В стакан с водой ключевой.

И заблудившийся на воле  
Снегирь ударится в стекло,  
И станет в комнате, как в поле,  
Свежо, просторно и светло.

И вспыхнет слово,  
Нет, предсловье,  
Еще не ясное, точь-в-точь...  
Стихи приходят к нам с любовью  
И вместе с ней  
Уходят прочь.

## *Дина Терещенко*

\* \* \*

Садовая шумела как всегда;  
и дождь крапывал так тоненько и  
звонко,  
и в сердце отдавался  
бесхитростный мотив любви.  
Счастливые мы были, молодые...  
Минуты — девочки седые!  
Зови их, не зови...

# Николай Тряпкин

\* \* \*

Я помню детство у окошка,  
А по деревне — крестный ход.  
А тут, из рупора, — гармошка,  
И мы сидим, открывши рот.

А тут — Москва иль даже Вена.  
И люди гуртом у окна.  
А сверху солнечной антенной  
Играет легкая волна.

И с нами — песни комсомола,  
И я — с Буденным — весь в дыму...  
Мне девять лет. Пора бы в школу,  
Да мамка что-то... Не пойму...

А мы давно уже у старта:  
И солнце с пламенным крылом,  
И я, сидящий, как за партой,  
За первой книжкой — букварем.

Грохочет солнце и железо,  
Из тьмы времен идет рассвет.  
Над первой книжкой ликбеза  
Склонился мальчик в девять лет.

Ильич на простенькой обложке:  
В рабочей кепке, в полный рост...  
Земной поклон да в сами ножки  
Тебе, товарищ Наркомпрос.

## ВЛАДИМИР ДАЛЬ

Где-то там, в полуночном свеченье,  
Над землей, промерцавшей на миг,  
Поднимается древним виденьем  
Необъятный, как небо, старик.

И над грохотом рек многоводных  
Исполинская держит рука  
Фолианты понятий народных  
И державный кошель языка.

## ПЕСНЯ

Ах ты свет, друг сосед, старичок пригожий!  
Что ты знал? Что ты стал? Что за время прожил?

Прошумели деньки, пронеслись годочки.  
Вот сидишь у избы на своем пенечке.

Ах ты сад, ты мой сад... Эх ты, мать честная!  
Руки, ноги дрожат, голова седая.

Похитрил, помудрил, покрутился вволю.  
Ни зубов, ни долгов... Правду ли глаголю?

Ах ты дед Архимед, человечек божий!  
Мужичок-своячок, на меня похожий!

Погулял, поскакал... Эх ты, мать честная!  
Руки, ноги дрожат, голова седая.

Прошумели деньки, пронеслись годочки.  
Вот сидишь у избы на своем пенечке.

И солидно кряхтишь, и глядишь достойно...  
А в душе у меня что-то непокойно.

## Владимир Туркин

### МУЗЫКА

Я слушал Баха. И не где-нибудь—  
В концертном зале Домского собора...  
Да, да, в том самом зале, о котором  
Наслышан мир: хотя б глазом  
взглянуть...

Весь этот храм — величья торжество,  
Таинственность пугающего склепа.  
Они твое лицо возводят к небу  
И делают молитвенным его.

И тишина окутывает вас.  
Уже закрыты медленные двери.  
Две тысячи неверующих глаз  
Как будто жаждут приобщенья к вере.

Глубинный голос подает орган.  
И входит Бах.  
Как бог.  
Как дух былинный.  
И музыки бесформенную глину  
Обрушивает к собственным ногам.

### СУЕВЕРИЕ

«Волков бояться — в лес не ходить».

Что толку нынче в этой поговорке?!  
Вся жизнь вошла в другую полосу:  
Теперь уже людей боятся волки,  
Те, что пока живут еще в лесу.

В лес — не иду.  
Слоняюсь вдоль опушки.  
Не из-за страха перед волком, нет.

Ей до верхов наполнен весь собор...  
Могучие обвалы мощных звуков  
Напоминают: мир родился в муках,  
И стон его мы слышим до сих пор.

И вот уже я вижу, как сперва,  
Два-три удара на ладонях взвесив,  
Великий Бах всю эту массу месит,  
По локоть засучивши рукава.

Стоит он — чуждый всем людским недугам,  
Под каждым взмахом оголенных рук  
Не бог — а мастер над гончарным кругом,  
С земной орбиты снявший этот круг.

Господь не подвергал себя лишеньям.  
Но Бах — не бог.  
И может, потому  
Он лучше знает:  
Мир — несовершенен.  
О, как придать гармонию ему?!

Я не волков боюсь. Боюсь кукушки:  
Она мне накукует мало лет.

Ей недосуг со всеми разбираться.  
В свое «ку-ку» вложив и гнев и месть,  
Боюсь, не приняла бы за мерзавца,  
Который лиходействовал вот здесь.

## Федор Фоломин

### ОТДЫХ

Опять откос увижу окский,  
где разговоры о своем.  
Дохнут побаски, отголоски,  
в глазах качнется оком.

Здесь отдыхают без билета.  
Умелец плотный сормовской  
сидит свободно над Окой,

смеется:  
— А сегодня — лето!

К чему толкучка слов напрасных,—  
безмолвье мило...

Узнаем  
черты лесов и рек пристрастных,  
Заочья звонкий оком.

## Барлам Шаламов

### БЛОК

Позвякивая монистом,  
Целуя цыганок персты,  
Дорогой знакомой, тернистой  
Блок шел сквозь мираж суеты.  
Все зори его, все закаты,  
Они одноцветны — желты,  
«Двенадцати» резки плакаты,  
Матросы, как фрески, чисты.

Менялись на женщинах лица,  
И в вечность летящий рысак  
В глухих переулках столицы  
Замедлил свой бег и свой шаг.  
Рысак был конем Фальконета  
И Пушкина родствен перу...  
Достойно вмешаться поэту  
В такую большую игру.

\* \* \*

Измерены звездные леты  
И карты миграции птиц,  
Разгаданы неба секреты  
И лоции дальних границ.  
Известны пути возвращенья  
К родимому дому, гнезду,

Земля по закону вращения  
Приводит на ту же звезду.  
А мне не пришлось возвратиться,  
Родную пощупать траву,  
Я не перелетная птица.  
Я около дома живу.

## Екатерина Шевелева

### В ЛЕТНЕМ ПАРКЕ

Площадка эта посредине сада,  
Открытая внезапности дождей,—  
С названием Центральная эстрада,  
С особенною публикой своей:  
Один забрел сюда в пылу гулянья,  
Другой прервал к аттракциону путь;  
Кому-то здесь назначено свиданье,  
Кому-то здесь приятно отдохнуть.  
А рядом — немудреное веселье,  
Доступные роскошные миры:

Мустанги деревянной карусели,  
На привязи воздушные шары.  
Знакома мне Центральная эстрада —  
Порой случайной реплики мишень.  
Знакома мне наивная растрата  
Тех слов, что отчеканились в душе.  
Но если здесь я с непонятной властью  
Зажгу хоть пару равнодушных глаз,  
Пусть моему неслыханному счастью  
Высокий позавидует Парнас!

### КИНОВАРЬ

Листву багряную деревья сбросили.  
В лесу — прозрачные немые ниши.  
К вершинам гор идут дороги осени.  
Вершины кажутся намного ближе.

Пейзаж так ярко киноварью вычерчен,  
Как будто светится он раскаленно,

Как будто движутся к вершинам тысяч  
Людей, подняв плакаты и знамена.

Хоть непогодой наши дни прочесаны,  
Но краска алая — она нетленна.  
И в этом смысл моей и вашей осени,  
Который постигаю постепенно.

# Виктор Яковенко

\* \* \*

Боясь легко сказать и торопливо,  
В душе ты ищешь новые слова  
И ждешь ее высокого порыва,  
Как солнце ждет весенняя трава.

А долг растет, растет неудержимо —  
Тебе, колосьев спелая волна,

Тебе, полоска заводского дыма.  
Грядет пора за все платить сполна,

За счастье видеть день большой и  
краткий,  
За жажду пить струю твою, родник,  
И для души страшнее нет догадки:  
Вдруг я несостоятельный должник...

## ПОЛЮС ВЕКА

Среди заснеженных торосов  
Застывший крейсер одинок.  
Но, как над трубкою матроса,  
Над кораблем — живой дымок.

Живой дымок, голубоватый  
Струится тихо над Невой,  
Как вестник памяти крылатой,  
Влечет к себе поток людской.

Дыша в ладони (как ледышки!),  
Сквозь редкий падающий снег,  
Идут девчонки и мальчишки  
И те, кто доживает век...

Сюда их всех привел не случай,  
Им довелось лететь и плыть,  
Чтоб вот на этот трап скрипучий  
С благоговением ступить.

Пройтись по палубе студеной,  
Что повидала сто морей,  
Коснуться пушки зачехленной —  
Грозы бесправья и царей.

Потом по трапу вниз спуститься:  
Навек застывшая корма.  
Вглядеться в бронзовые лица  
Тех, кто — История сама.

Из грозной, огненной купели,  
Что революцией зовут,  
Они пришли к заветной цели,  
И песнь свою они допели:  
В л а д ы к о й м и р а б у д е т  
т р у д.

II





ДОРОГА НА САМОТЛОР

Рассвет оперился полярною белой совой.  
И приступом нефти томится гортань буровой.  
Струится дорога. И птица седая летит,  
Крылом затмевая зеленый таежный простор.  
И странное имя бескрайнюю даль озарит —  
Я слышу окрест: Самотлор, Самотлор, Самотлор.  
Я слышу, как в скважине голос клубится живой.  
Как зов изначальный. И как человеческий крик.  
И вздрогнет от тайны, не помня себя, буровик.  
Подземную мглу оттолкнет, загораясь, свеча.  
И птица заплачет, на факел взлетев сгоряча.  
Я слышу окрест: Самотлор, Самотлор, Самотлор.  
И привкусом нефти томится таежный простор,  
Тревогой томится... Не слышит меня буровик,  
Помазанник века, целующий черный родник.

*Евгений Антошкин*

БУМАЖНЫЙ ЗМЕЙ

Как он летел мечтой моей  
Над полем и над санным лугом,  
Хвостатый тот бумажный змей,  
В восторг приведший всю округу.

Себе гнездо вверху он свил.  
Повис, как чудо, над рекою.  
И нас к себе туда манил,  
Где и до звезд  
Подать рукою.

Еще не знавшим ничего,  
Нам грезились иные дали,  
Когда за ниточку его  
С душевным трепетом держали.

А он вверху парил, пылал,  
Как будто на земле и не был...  
И эта ниточка была  
Той первой,  
Что вела нас в небо.



## Белла Ахмадулина

\* \* \*

Теперь о тех, чьи детские портреты  
вперяют в нас неукротимый взгляд:  
как в рекруты забритые в поэты,  
те стриженные девочки сидят.

У, чудища, в которых все нечетко!  
Указка им — лишь наущенье звезд.  
Не верьте им, что кружева и челка.  
Под челкой — лоб. Под кружевами — хвост.

И не хотят, — а притворятся ловко.  
Простак любви влюбиться норовит.  
Грозна, как Дант, а смотрит, как плутовка.  
Тать мглы ночной, «мне страшно!» — говорит.

Муж несравненный! Удели ей ада.  
Терзай, покинь, всю жизнь себя кори.  
Ах, как ты глуп! Ей лишь того и надо:  
дай ей страдать — и хлебом не корми!

Твоя измена ей сподручней ласки.  
Не позабудь, прижав ее к груди:  
все, что ты есть, она предаст огласке  
на столько лет, сколь есть их впереди.

Кто жил на белом свете и мужского  
был пола, знает, как судьба прочна  
в нас по утрам: иссохло в горле слово,  
жить надо снова, ибо ночь прошла.

А та, что спит, смыкая пуще веки, —  
что ей твой ад, когда она в раю?

Летит, минуя там, в надзвездном верхе,  
твой труд, твой долг, твой грех, твою семью.

И все ж — пора. Стыдись, озябнув, мучась,  
надела прах вчерашнего пера  
и — прочь одна, в бесхитростную участь,  
жить, где жила, где жить опять пора.

Те, о которых речь, совсем иначе  
встречают день. В его начальной тьме,  
о, их глаза — как рысий фосфор, зрячи,  
и слышно: бьется сильный пульс в уме.

Отважно смотрит! Влюблена в сегодня!  
Вчерашний день ей не в науку. Ты —  
здесь ни при чем. Ее душа свободна.  
Ей весело, что листья так желты.

Ей важно, что тоскует звук о звуке.  
Что ты о ней — ей это все равно.  
О муке речь. Но в степень этой муки  
тебе вовек проникнуть не дано.

Ты мучил женщин, ты был смел и волен,  
вчера шутил — не помнишь нынче, с кем.  
Отныне будешь, славный муж и воин,  
там, где Лаура, Беатриче, Керн.

По октябрю, по болдинской аллее  
уходит вдаль, слезы на уронив, —  
нежнее женщин и мужчин вольнее,  
чтоб заплатить за тех и за других.

## Михаил Беляев

\* \* \*

За леса и за болота,  
Где дорога строится, —  
Все приносят вертолеты,  
Что душе захочется.

Но душе сибирских модниц  
Не хватает бабушек,  
И старинных их пословиц,  
Масленных оладушек.

В ясных соснах,  
В частых елях  
Станции заложены.  
Как и всюду, новосельям  
Бабушки положены.

Как приедут,  
Как заглянут, —  
И метели зычные  
Для внучат любимых станут  
Самыми привычными.

РУССКАЯ ПЕЧЬ

Она пол-избы занимала,  
Мешала как будто. А все ж  
Залезешь на печку, бывало,—  
И рад, что на свете живешь.

Случилось ли: мать отругала,  
Друзья ли побили — молчок...  
Залезешь на печку, бывало,  
И плачешь себе в кулачок.

Нам печка похлебку варила,  
Душистые хлебы пекла,

От разных болезней лечила,  
Старалась, как только могла.

Не жалко мне детства нисколько —  
Хорошего мало ушло.  
Тоскую о печке, и только,  
Как вспомню,  
Так станет тепло.

Она, как по щучью велению,  
Покинула наше жилье...  
Кто с печкой знаком от рожденья,  
Едва ли забудет ее!

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ПОЕЗДКИ

Зовется ли это любовью?  
Привычкой ли?  
Дело не в том:  
Спешу я в мое Подмосковье,  
Как прежде в родительский дом.

Вдоль линии и на опушке  
Причудливых дач терема,  
Избушки сидят, как старушки,  
Как молодцы, смотрят дома.

Сосняк, березняк, электричка,  
Речушки, пруды — благодать.  
Любовь или просто привычка?  
Живи!  
И чего тут гадать!

А впрочем, на месте не сидя,  
Используя техники прыть,  
Я мест некрасивых не видел,  
Мне всюду хотелось пожить.

У леса есть сказки лесные,  
У степи есть музыки звон,  
Доступный не всем.  
А в пустыне  
Есть что-то от древних времен.

\* \* \*

В годы войны  
выяснилось, как велика Россия.  
Между Тюменью и Омском  
вдоль железной дороги  
и даже далеко в стороне от нее  
через каждые 10—12 километров  
стояли деревни,  
в избах топились печи,  
люди пускали погреться,  
пожить.

### БАНЯ БЫСТРИЦКОГО

Под обрывом, вдоль берега Северной Сосьвы,  
лепились бревенчатые сибирские бани,  
крытые дерном,  
заросшие сверху бурьяном и мелкой березкой,  
изнутри освещаемые тоненькой свечкой,  
как у Меншикова в Березове,  
почти без окошек, как избушка бабы-яги.

Наверху, в поселке,  
возвышалась баня Быстрицкого —  
рай буровиков и геологов,  
возвращающихся на базу.

Начальник буровой конторы  
Быстрицкий в годы войны  
летал в истребительной авиации.  
После войны  
он обнаружил в себе жилку  
строителя.  
Баня Быстрицкого —  
памятник архитектуры  
времен покорения Сибири  
Тюменским геологоразведочным трестом.  
Я как летописец  
обязан ее увековечить.

Она освещалась снаружи  
гигантским аэродромным прожектором,  
который Быстрицкий выменял у начальника  
аэродрома  
за такие запчасти для катера, грузовика  
и трактора,  
какие, кроме Быстрицкого и его гениальных  
снабженцев,  
никому и не снились в бассейне Иртыша  
и Оби.

СКУЛЬПТОР СВЕЧЕЙ

Скульптор свечей, я тебя больше года  
вылепливал.  
Ты — моя лучшая в мире свеча.  
Спички потряхиваю, бренча.  
Как ты пылаешь великолепно  
волей создателя и палача!

Было ль, чтоб мать поджигала ребенка?  
Грех работенка, а не барыш.  
Разве сжигал своих детищ Коненков?  
Как ты горISHь!

На два часа в тебе красного воска.  
Где-то у коек чужих и афиш  
стройно вздохнут твои краткие сестры,  
как ты горISHь.

Как я лепил свое чудо и чадо!  
Весны кадили. Капало с крыш.  
Кружится разум. Это от чада.  
Это от счастья, как ты горISHь!

Круглые свечи. Красные сферы.  
Белый фитиль незажженных светил.  
Краткое время — вечная вера.  
Краткое тело — черный фитиль.

«Благодарю тебя и прощаю  
за кратковременность бытия,  
пламя, пронзающее без пощады  
по позвоночнику фитиля.

Благодарю, что на миг озаримо  
мною лицо твое и жильё,  
если ты верно назвал свое имя,  
значит, сгораю во имя Твое».

Скульптор свечей, я тебя позабуду,  
скутер найму, умотаю отсюда,  
свеч наштампую голый столбняк.  
Кашляет ворон ручной от простуды.  
Жизнь убывает, наверное, так,  
как сообщающиеся сосуды,  
вровень свече убывает в бутылке коньяк.

И у свечи, нелюбимой покуда,  
темный нагар на реснице набряк.

\* \* \*

Я год не виделся с тобою.  
Такое же все — и другое.

Волнение и все другое  
такое же — и все другое.

Расспросов голубое горе  
такое же — и все другое.

Лицо у зеркала умою  
такое же — и все другое.

Окно, покрашенное мною,  
такое же — и все другое.

Прогонят стадо к водопою  
такое же — и все другое.

Ночное небо как при Ное  
такое же — и все иное.

Ты — жизнь! Приблизись —  
окажешься  
ты неожиданно такая же.

## ГРЕХ

Я не стремлюсь лидировать,  
где тараканьи бега.  
Пытаюсь реабилитировать  
понятие греха.

Душевное отупение  
отъевшихся кукарек —  
это не преступление, —  
великий грех.

Когда осквернен колодец  
или Феофан Грек, —  
это не уголовный,  
а смертный грех.

Когда в твоей женщине пленной  
зарезан будущий смех —  
это не преступление,  
а смертный грех...

Но было б для Прометея  
великим грехом — не красть.  
И было б грехом смертельным  
для Керн не ответить на страсть...

А гениальный грешник  
пред будущим грешен был  
не тем, что любил черешни,  
был грешен, что — не убил.

## САГА

Ты меня на рассвете разбудишь,  
проводить необутая выйдешь.  
Ты меня никогда не забудешь.  
Ты меня никогда не увидишь.

Заслонивши тебя от простуды,  
я подумаю: «Боже всевышний!

Я тебя никогда не забуду.  
Я тебя никогда не увижу».

Эту воду в мурашках запруды,  
это Адмиралтейство и Биржу  
я уже никогда не забуду  
и уже никогда не увижу.

Не мигают, слезятся от ветра  
безнадежные карие вишни.  
Возвращаться — плохая примета.  
Я тебя никогда не увижу.

Даже если на землю вернемся  
мы вторично согласно Гафизу,  
мы, конечно, с тобой разминемся.  
Я тебя никогда не увижу.

И окажется так минимальным  
наше непониманье с тобою  
перед будущим непониманьем  
двух живых с пустотой неживою.

И качнется бессмысленной высью  
пара фраз, залетевших отсюда:  
«Я тебя никогда не забуду.  
Я тебя никогда не увижу».

## *Татьяна Глушкова*

\* \* \*

Промотав столько лет, столько зим,  
столько дымных, подтаявших весен,  
я увидела взором сухим:  
наступает зеленая осень.

И опять вислоухая тень,  
изломавшись, легла на пороге:  
это пылью кипела сирень  
у остывшей шоссейной дороги.

То ли облако, то ли снега  
понависли над садом и лесом?  
Плещет море иль сохнет река  
за резною овсяной завесой?

То ли хрип, то ли рык, то ли трель —  
все шумней меховое дыханье:  
в черном бархате, горбится шмель  
над цветком, потерявшим сознание.

И тогда средь потухших ветвей  
мне слышались робкие звуки:  
это пепельный пел соловей  
солнценоксную песню разлуки.

Это поздний шиповник зацвел,  
столь малинов — душа на излете! —  
чтоб последнее золото пчел  
отзвенело в янтарной заботе.

Это я погружалась во тьму  
леса, праха, крапивного сада.  
Там, в древесном моем терему,  
все, что только угодно уму,  
навевает ночная прохлада...

\* \* \*

И вечерняя свежесть кукушки —  
одиночный, круглящийся звук...  
А считалось: уже — ни полужушки  
за душой... Огляделась вокруг:

дождевая, кипучая брага  
пенной Ламы — меж низких ветвей,  
и бузинная влага оврага,  
где зацокал, в слезах, соловей...

Разве я разлучаюсь с тобою,  
белый свет, водоносная мгла,  
с этой узкою, щучьей рекою  
и с тобой, золотая ветла?

Разве я ускользаю навеки  
от разлук, от румяной земли,  
от рыдающей, песенной неги  
и от вас, подмастерья мой, —

на кустах, над водою и в поле?..  
Что ж колотят, свистят в небеса  
подмосковной, опасливой воли  
майской влаги и тьмы голоса?

Что ж ловлю — и как будто украдкой  
пробегаю по сердцу испуг —  
над лесною, мохнатою грядкой  
этот гулкий, дурманящий, краткий,  
одинокно-круглящийся звук?..

\* \* \*

Как на родине яркое рассвет!  
За Днепром зарумянилось солнце...  
Мне немного, мне несколько лет,  
я — в чердачном, разбитом оконце.

То, что город — в развалинах, я,  
может, вижу, но не понимаю.  
Мне б сейчас услышать соловья,  
говорят, прилетевшего к маю...

Мне наскучили эти птенцы,  
что в дворовой пыли копошатся.  
От салатной, лимонной пыльцы  
злые пальцы мои серебрятся.

Эта жадность к тому, что живет:  
обонять, услышать, наглядеться —  
сводит скулы, и стиснут мой рот  
прозорливую скрытность детства...





\* \* \*

Вот и сбылось — лицом к рассвету  
К родному дому налегке  
Я победителем приеду  
В привычном нам товарняке.

Перед глазами — всходы, всходы  
Полей, плывущих на закат,  
А за спиной четыре года —  
Штыки, окопы, медсанбат.

В напоре звона, ветра, света  
Обдаст вдруг душу холодком:  
Как мог ты вынести все это  
И уцелеть еще притом?!

Как удалось холмы и спуски,  
В полях таившуюся смерть  
Пешком, а то и по-пластунски  
За метром метр преодолеть?

*Игорь Грудев*

#### ВОЗВРАЩЕНИЕ

С войны вернулся  
Командир,  
К крыльцу ведет  
Тропинка торная...  
Снял шапку —  
Как война и мир,  
Две пряди —  
Белая и черная!..

*Андрей Дементьев*

#### ИРОНИЧЕСКОЕ ПРИЗНАНИЕ

Лесть незаметно разрушает нас,  
когда молчаньем мы ее встречаем.  
И, перед ней не опуская глаз,  
уже стыда в себе не ощущаем.

Нас незаметно разрушает лесть.  
Льстецы нам воздвигают пьедесталы.  
И нам туда не терпится залезть,  
как будто вправду мы иными стали.

А старый друг печалится внизу,  
что он друзьям не может докричаться.  
Не понимая, как мы на весу  
в пространстве умудряемся держаться.

\* \* \*

Твой старый дом снесли давно.  
А я не знал. Я шел сюда,  
чтоб посмотреть на то окно...  
Вернуться в давние года.

Но дома нет. Есть тишина.  
И кем-то выращенный сад.

И ты не глянешь из окна,  
как много лет тому назад.

И я растерянно стою  
на этом пяточке земли,  
где, словно дом, любовь мою  
вот так же некогда снесли.

Олег Дмитриев

### ФОТОГРАФИИ НА ВКЛАДКЕ

(«День поэзии 1975»)

Любуюсь я известными поэтами!  
Они на снимках запечатлены  
Еще в шинели серые одетыми  
В какой-нибудь из дней конца войны.

Они пробилась, победили, выжили!  
В разрушенной и праздничной стране  
Из первых уст сограждане услышали,  
Как молодость держалась на войне.

Я вглядываюсь в лица их открытые,  
В улыбки — просто детские порой.  
Глядят на нас солдаты неубитые,  
Они — таланты, в землю не зарытые...  
А сколько их таких —  
В земле сырой?

Да, скольких поглотили ямы черные,  
Коль столько возвратил военный вихрь?!  
Сейчас легко статистики-ученые  
Дадут ответ.  
Но мы не спросим их.

Зарытые таланты не поднимутся.  
Несозданная песня не слышна.  
Но те, кого на мирный бѣрег вынесла  
Победная, последняя волна,

В растерзанных рядах держа равнение,  
Сказали, не скрывая ничего,  
За все свое святое поколение,  
Где  
Павших —  
Большинство.

\* \* \*

Осень. Улочка пустая.  
Монастырская стена.  
Льется песенка простая  
Из подвального окна.

Там как будто мастерская...  
Там бесхитростный мотив  
Обитает, развлекает  
Малолюдный коллектив.

Стихла песня, отзвучала...  
Да над ней —  
Не наша власть:  
Скрип, шипенье,  
И с начала  
Звонкой стружкой полилась!

Чьей душе она созвучна  
В этой малой мастерской,  
Почему другим не скучно  
Слушать песню день-деньской?

Никакого нет ответа,  
Почему она одна

Нынче с позднего рассвета  
В тихой улочке слышна.

Но под пенье радиолы  
Слишком ранняя заря  
Зажигает окна школы  
Во дворе монастыря.

Завершился, как обычно,  
Труд людей мастеровых.  
Ненавязчивый мотивчик  
Окончательно затих.

Тишина. Листва слетает  
С монастырских тополей.  
Да чего-то не хватает  
Тихой улочке моей.

Словно это чья-то радость  
К нам случайно забрела.  
Побыла, да не осталась,  
И ушла — не позвала...

## КОНИ В КИНО

Почти уже и нет кинокартины,  
Где в подтверждение собственных идей  
Не гонит режиссер среди долины  
Табун великолепных лошадей!

Волшебница, замедленная съемка!  
Тела коней как голоса души —  
Кружатся листья, иль метет поземка,  
Иль летний дождик падает в тиши...

Мы были с кинофильмом не согласны,  
Недоуменно на экран смотря, —  
Но лошади воистину прекрасны,  
И время мы потратили не зря.

Мы смотрим замороженно, как дети,  
От длинных грив не отрывая взгляд:  
Быть может, нам забыть про все на  
свете

Простые наши пращуры велят?

Не шелохнемся, влажные ладони  
Прижав к своим пылающим щекам,  
Пока вдали не исчезают кони,  
Плывущие подобно облакам.

\* \* \*

Врать не хочу, а правда такова,  
что жить хотел и я как всякий прочий,  
в больницу нанялся колоть дрова  
корысти ради — карточки рабочей.

Геройства тут, понятно, ни на грош,  
лишь горькая нужда поры военной.  
Возьмешь колун, в ладони поплюешь,  
комель поставишь самый здоровенный,

чтобы колун в полене не увяз,  
прицелишься вот эдаким макаром —  
и в яблочко его, промежду глаз,  
то бишь сучков, сплеча, одним ударом.

Вперегонки, с приятелем вдвоем,  
отчаянные конники-рубаки,  
такого пылу-жару мы даем,  
что сами пропотеем до рубахи.

А на дворе морозец — будь здоров!  
К Москве напропалую рвались фрицы.  
Не только угля, не хватало дров,  
лишь прибывало раненых в больнице.

И горячее в жилах кровь текла,  
текла вода в палаты, в батареи,  
неся частицу нашего тепла,  
и раненые грелись и бодрели.

Бывало, и на кухне нам почет —  
отвалят щей по целой поварешке,  
шеф-повар сам оладьев напечет  
из сладкой, подмороженной картошки.

От сердца, видно, потчевали нас,  
недаром мой приятель делал стойку  
и выставлял тельняшку напоказ,  
знакомую завидя медсестренку...

Уходит время, будто бы в песок,  
согнет тебя годами ли, хворобой,  
но первый заработанный кусок —  
и вкус-то у него совсем особый!

Имей ты хоть машину, хоть дворец —  
на старости захочется иного,  
простого счастья: наколоть дровец  
и посидеть у огонька живого...

\* \* \*

Полдень.  
Речка и песок.  
Ивушка-вдовушка.  
Солнышко — туюсок,  
любяное донышко  
для грибного дождика.  
Не валяй дурака,  
дождик, дождик, пуще!  
Погадай мне, река,  
на кофейной гуще!  
Красно деревце, осинка,  
будь моею кумой!  
На плечах не то косынка,  
не то шаль с каймой.

Ты похожа на цыганку,  
погадаешь — заплачу,  
табаку дам на сигарку,  
ручку там позолочу...

Не везет ни в любви,  
ни в грибной охоте —  
сплошь одни валуи,  
и те на исходе.

Был удачлив я на диво,  
знать, прошли те времена,  
а теперь гляжу ревниво,  
как над речкой плачет ива,  
чьей-то памяти верна...

## Евгений Евтушенко

### УТРЕННИЕ ЛЮДИ

Дневной народ —  
                                он деловитый,  
  нагловатый.  
Народ вечерний —  
                                добродушный сумасброд.  
Ночной народ —  
                                уже помятый,  
  пьяноватый,  
но есть особенный —  
                                есть утренний народ.  
Он так чай себе заваривает круто,  
так любит свежий снег подошвами толочь,  
как будто дня  
                                не предусматривает утро  
и будет утро целый день  
  и даже ночь.  
Он в утро вывален  
                                из ранних электричек,  
он вброшен в утро  
                                из троллейбусов, метро,  
и он такой,  
                                как будто нет дневных привычек  
вдруг огрызнуться,  
                                если локоть — под ребро.  
В народе утреннем  
                                все утренне и чисто.  
Он смотрит с пристальностью,  
  чутьочку чудной,



## Игорь Жданов

\* \* \*

По бортам  
                    голубое кружево  
Вечерами плетет река,  
Погоня волной остуженной  
Перевертыши-облака.  
Трудно плавалось в эту осень.  
Я грустил,  
                    календарь листал.  
Штурман ныл,  
                    капитан — не очень,  
Но за лето и он устал.  
Ах, об этом бы лучше в прозе  
Или красками  
                    на холсте!..  
Пристань тихая — «Устье Сози»,  
Клены красные  
                    в темноте.  
Я далекие песни слушал

В той глуши на краю села,  
Что-то осенью входит в душу —  
Может, вечность,  
                    а может, мгла...  
В «Переборах»,  
                    да, в «Переборах»,  
Где шумит ресторан «Волна»,  
Разговоры — бездымный порох,  
Шнур запальный — стакан вина.  
Штурман врет...  
Капитан смеется...  
Им на связь выходить пора...  
Ведь Московское пароходство  
Будет маяться до утра...  
Надорвутся каналы связи:  
— Где вы капули? Караул! —  
Пристань тихая — «Устье Сози»,  
Блеск галактик,  
                    звезда Арктур.

## Анатолий Жулин

### ОТВЛЕКАЮЩИЙ ДЕСАНТ

Отвлекающий десант —  
Двадцать девять краснофлотцев.  
Отвлекающий десант...  
Скоро, скоро кровь прольется!

Отвлекающий десант  
С хрупкой маленькой подлодки.  
Наливает лейтенант  
По сто грамм казенной водки.

И ясна, понятна цель,  
Невозможное — возможно:  
Взять поселок Коктебель  
И держаться — сколько можно.

Налететь, напасть, отвлечь —  
Без подмоги, в непогоду.  
И навеки в землю лечь.  
В эту землю, в эту воду.

Отвлекающий десант.  
Есть такой в морском уставе.

Отвлекающий десант —  
Верный путь к посмертной славе.

...Болью полнится душа  
На краю волны и суши:  
Двадцать девять ППШ  
Против сотни вражьих пушек!..

После всех побед и бед  
Их припомнят и прославят.  
Через тридцать долгих лет  
Здесь им памятник поставят.

На воде растаял след...  
Двадцать девять краснофлотцев!..  
Через тридцать долгих лет  
Лишь один сюда вернется.

Лишь один остался жив.  
Плакал горькими слезами,  
Две гвоздики положив  
На холодный серый камень.

## МЕДАЛИ

Медалью за Победу  
Играет оголец.  
С войны награду эту  
Привез его отец.

А впрочем, та победа  
Девятого числа —  
Не от отца, от деда  
Ко внуку перешла...

Мы много испытали.  
Но остаются в силе  
И медные медали,  
И слезы на могиле.

Смешались годы, даты  
С бурьяном и травой.

Спокойно спят солдаты  
Пяти последних войн.

Уснули, отстрадали,  
Цветами проросли.  
Лишь медные медали  
Кочуют по Руси.

И в близком, и в далеком  
Геральдика проста:  
Всевидающее око,  
Лучистая звезда.

Как будто их единый  
Художник рисовал —  
За взятие Берлина,  
За Шипский перевал...

\* \* \*

Жизнь! Нечаянная радость!  
Счастье, выпавшее мне.  
Зорь вечерняя прохладность,  
Белый иней на стерне.

И война, и лютый голод.  
И тайга — сибирский бор.  
И колючий, жгучий холод  
Ледяных гранитных гор.

Всяко было, трудно было  
На земле твоих дорог.

Было так, что уходила  
И сама ты из-под ног.

Как бы ни было тревожно,  
Говорил себе: держись!  
Ведь иначе — невозможно,  
Потому что это — жизнь.

Все приму, что мчится мимо  
По дорогам бытия...  
Жаль, что ты неповторима,  
Жизнь прекрасная моя.

## СТИХИ ИРИНЕ

Жизнь прекрасна и коротка,  
И тепла, как твоя рука...

О, видения детских лет,  
Где казалось, что смерти нет!..

Нынче сосны гудят в бору —  
Все о том, что и я умру.

Сколько лет нам дано судьбой?  
Что оставим мы здесь с тобой?

Сын останется — кровь моя.  
Стих останется — боль моя.

Будет ветер у трех дорог  
Разметать золотистый стог.

И тростиночка камыша  
Будет петь, как моя душа.

И на ветке блеснет роса,  
Как живая твоя слеза.



# Тамара Жирмунская

## ПРАВ

Как в Текстильщиках у нас  
по субботам перепляс.

Активистки из фабкома,  
из теплиц овощеводки  
мужиков бросают дома,  
пригрозив травой водке.

Сыты под завязку  
вашими чекушками!  
На асфальте вязком  
будет пляс.  
С частушками:

Платформы мои,  
Я на вас, как на мели.  
Я надела б лодочки,  
Поплыла б к залеточке.

Ты глазами-то не хлопай.  
Я с работой справилась,

А с тобою, недотепой,  
В первый раз упарилась.

Тучи небо обложили.  
После ливня радуга.  
Хороши мужья чужие,  
Да и те ненадолго.

Человек с умом непрытким  
как-то мне сказал: — Так вот,  
все дано тебе с избытком,  
права лишь недостает.

Позаимствую же нрав  
у совхозниц, у текстильщиц  
и, тоской тоску поправ,  
сделаюсь одной из тысяч.

Шторы новые раздвину.  
Слез никто не выдавит.  
Чем жалеть меня, разиню,  
Лучше пусть завидуют.

\* \* \*

В октябре запотели веранды,  
пожелтел изнутри березняк.  
У меня еще есть варианты,  
значит, дело мое — не табак.

И за мною последнее слово.  
Подожду, погляжу и решусь...  
Что ж свободой выбора, словно  
принудиловкой, я тягочусь?

Почему в эту райскую осень  
глас мерещится мне в тишине:  
«А с тебя мы, голубушка, спросим,  
как с немногих, вдвойне и втройне?»

Пощадите! Я мигом довольна,  
а по вечным счетам заплачу.  
Принудите! Бескрайняя воля  
мне, невольнице, не по плечу.

У меня еще есть варианты.  
Жизнь и смерть под рукою держу.  
Примеряю я их, как наряды:  
полюбуюсь — и прочь отложу.

## А ЛЯ ФУРШЕТ

Задуман был а л я ф у р ш е т,  
и, европейской моды ради,  
стояли все как на параде —  
и те, кто юн, и те, кто сед.

Дочь утомленной юбилярши  
взирала искоса на мать:  
не так положено стоять,  
ты кажешься грузней и старше.

А та... Кусок не шел ей в рот:  
беда нам с их а ля фуршетом!  
В ногах нет правды — так об этом  
давным-давно сказал народ.

Что дочке все мои печали!  
У юных ветер в голове,  
а мы на подступах к Москве,  
а мы в очередях стояли...

И вот, откуда ни возьмись,  
стул появился первый... пятый...  
И разговор витиеватый  
вмиг приобрел и строй, и смысл.

Мы не в Париже, в самом деле,  
а в среднерусской полосе.  
И наконец расселись все  
и «Волгу-реченьку» запели.

*Леонид Завальнюк*

### ФЕВРАЛЬ 1943 ГОДА

Когда ползет поземка тихо,  
Как в некой каменной воде,  
Я вспоминаю голос тифа,  
Летящий к утренней звезде.  
Больная девочка спала  
В теплушке шаткой и промерзшей  
И слабым голосом звала  
Отца, убитого под Оршей.  
Луна кривила бледный лик,  
Роняя ночь слезою черной.  
И был тот зов ее велик  
И страшен грустью обреченной.  
Больная девочка спала  
Перед последнею дорогой  
И слабым голосом звала  
Того, кто был всеильней бога.  
И тихий, хилый паренек  
Вдруг застонал и к ней нагнулся:  
— Смотри! Смотри, вот...  
я вернулся! —  
И там, где он слезой коснулся  
Груди ее, вдруг встрепенулся  
Нетленной жизни огонек.  
И осиял он всю страну.  
И сотряслась земли утроба.  
И встали мертвые из гроба.  
Где он сейчас? Найти его бы.  
Тот мальчик выиграл войну.  
Я помню, грянули фронты.  
Один, другой.  
И месяц Лютый  
Переломился на салюты,  
На май, на жизнь и на мечты!

## ВЫСОКИЙ КОНЬ

Переполняет молодость меня,  
И я у жизни требую коня.  
И жизнь его приводит в поводу.  
Во лбу звезда горит, и статью он могуч.  
Но так высок,  
Что ту его звезду  
Я где-то в небе вижу среди туч.  
Он выше дня и дома моего.  
Еще взлететь мне надо до него.  
А я, счастливый, уж кричу во сне:  
— Любимая, я снова на коне! —  
И оттого, что верит мне она,  
Два собственных крыла вручает мне весна.

— Берите,— говорит.— Летите,— говорит.—  
У вас такой растерянный  
и удрученный вид!..—  
Вот так история! Бывало, друг иль брат  
Не даст велосипед, боится, что сломаю.  
А тут — крыла! Нет, я не понимаю...  
А впрочем, что ж не понимать?  
Вот, вот они лежат!  
И я, как в детские года проснувшийся  
от счастья,  
Смеюсь и плача, говорю весне:  
— Столь окрылен я мерой вашего участия,  
Что крылья не понадобятся мне!

## Анатолий Заяц

\* \* \*

О, свет поры  
Моей послевоенной!  
Колдует бабка над пустым борщом.  
Отец идет с брезентовым плащом,—  
Идет в глазах моих, не убиенный.

И нету слез у мамы на лице.  
И где-то утка в верболозах кричет.  
И мама, нет, она уже не плачет,  
Она — уже  
Поет нам об отце.

\* \* \*

Взрасти на родине цветок  
Подобьем свежести и жара —  
И пчелы сделают виток  
К нему  
Вокруг земного шара.

Взрасти пирамидальный тополь  
На милой родине своей —  
Средь зеленеющих полей  
Он будет вечным, как Акрополь.

...Из дерева трещала борона,  
Пустое поле пылью утепляла,  
И нас, сирот, страна усыновляла,  
И низко маме  
Кланялась страна.  
Я вижу —  
Мы крапиву в мае жнем,  
Чтоб принести ее в приварок бабке.  
А похоронки  
Мы храним не в папке,  
Бумаги те  
У сердца бережем.

Взрасти склоненную к реке  
Ракиту, где земля родная,—  
И будет там листва сквозная  
Шуметь, как знамя на древке.

Запомнит Родина лицо,  
Твое лицо, что там осталось.  
Взрасти простое деревцо,—  
Подумать лишь, такая малость.

## Анатолий Землянский

\* \* \*

Дорог военных километры,  
Во имя жизни — бой и смерть,  
И веют бронзовые ветры —  
Им никогда не ослабеть.

Стоит ли зной, зима ли злится,  
В ночи и в добром свете дня  
Мы видим всех погибших лица  
В пыланье Вечного огня.

Усилий зрительных не надо:  
В суровой памяти видны  
Улыбки грустные и взгляды  
Не возвратившихся с войны.

Горит, горит огонь их светлый,  
Святого подвига итог...  
И веют бронзовые ветры  
Жизнь утверждающих тревог.

## Натан Злотников

\* \* \*

Старинный ветхий дом в Рязани  
С погасшим взглядом из окна,  
С объятьями, и со слезами,  
И с разговором дотемна.

Над крышей старого сарая  
Звенели звезды серебром,  
И небеса родного края  
Прохладным веяли крылом.

Столетний тополь в три обхвата  
Шумел, что речка, у ворот,  
А ветви вверх текли куда-то,  
Как будто там водоворот.

Зачем сюда мы приезжали  
И выходили в темный сад,  
По памяти, как по скрижали,  
Судьбу читали наугад?

Зачем вся эта нам затея?  
Луна с беспечной высоты  
Скользит и меркнет, не умея  
Нас отрешить от суеты.

Все то, что неизменно любишь,  
Люби и знай о том один.  
Зачем глядеть в поля за Трубеж? —  
В глаза друг другу поглядим.

ПАРОДИИ

ПОСЛЕ СЛАДКОГО СНА

Непрерывно,  
С детства,  
Изначально  
Душу непутевую мою  
Я с утра кладу на наковальню,  
Молотом ожесточенно бью.

*Анисим Кронгауз*

Многие  
(Писать о том противно;  
Знаю я немало слабых душ!)  
День свой начинают примитивно —  
Чистят зубы,  
Принимают душ.

Я же, встав с постели,  
Изначально  
Сам с собою начинаю бой.

Голову кладу на наковальню,  
Молот  
Поднимаю над собой.

Опускаю...  
Так проходят годы.  
Результаты, в общем, неплохи:  
Промахнусь — берусь за переводы,  
Попаду —  
Сажусь писать стихи...

ПОСВЯЩЕНИЕ  
ЛАРИСЕ  
ВАСИЛЬЕВОЙ

...я оставляю это дело,  
верней, безделицу — стихи...  
Но он утешится, неверный,  
с другим, а может быть, с другой...

*Лариса Васильева. «Посвяще-  
ние Александру Иванову»*

Увы, сатиры нет без риска,  
с годами множатся грехи...  
Ужель Васильева Лариса  
перестает писать стихи?!

Прощай, создание дорогое,  
мы были вместе столько лет!  
С другим, тем более с другою  
вовек я не утешусь. Нет,

я жить могу и дальше смело,  
мне не пристала роль скупца:  
того, что ты создать успела,  
с лихвой мне хватит до конца!

\* \* \*

Это выдумка — избыток,  
запасные ходы — ложь!  
Жизнь — не спорт,  
и не с попыток —  
сразу набело живешь.

Коль химичил, да портачил,  
да швырял на пробу дни,  
тем и жил и то и значил  
и попробуй зачеркни!

Душу поделом помучай  
за погибший день пустой  
с поцелуями на случай,  
с показушной добротой.

И себя в свой воз впряги ты,  
не в случайный тарантас...  
Не отпущено прикидок.

Набело!  
И — только раз.

\* \* \*

Пока вы живы, старшие мои,  
чьи речи и намеренья не лживы,—  
душе не оказаться на мели.  
Не допустили б вы, пока вы живы!

Пытали вас забвенье и чины,  
тоска и славы золотые жилы,  
но и добро и зло обречены  
с достоинством сносить, пока вы живы.

Сродни вам скомороший вольный дух  
и таинство танцующего Шивы...  
И если чей огонь в ночи потух,  
он все-таки горит, пока вы живы.

Пока вы живы, не корю себя  
за то, что ни успеха, ни наживы  
бесплатно не отмерила судьба.  
А как иначе жить, пока мы живы?

Не обманула никого в любви  
и не врала ни с целью, ни без цели.

Пока вы живы, старшие мои,  
вы кое-что нам все ж внушить успели.

Пока вы живы, старшие мои,  
пусть корвалол вместо водки пьете,—  
хотя и нам седины намели  
года,— нам молодыми быть даете.

Почтительнее дочери родной,  
здороваяюсь, как робкий отрок, стоя.  
Как дорог мне ваш нрав, вполне земной,  
и ваши несравненные застолья!

В морщинах, погрузневшие уже,—  
особой красотой хороши вы...  
Есть на кого равнение душе  
с отрадою держать, пока вы живы.

Так проживу все, что — один лишь раз,  
как зернышко с живучей вашей нивы.  
Пусть кто-нибудь когда-нибудь и нас  
вознаградит таким: «Пока вы живы!..»

\* \* \*

Я знаю, что дарю.  
Я помню, что беречь.  
Я детям говорю:  
— Не засоряйте речи!

Отбудет во вчера,  
в бесплотность прошлых  
снов  
потешная пора  
словечек, а не слов.

Смешные петушки!  
Задору — на века,  
и так невелики  
все эти «на фига!».

И там, где юный сквер,  
и в собственном дому —  
средоточенье скверн,  
патлатое «му-му».

Не вечен произвол  
твой, скверный ученик!  
Уже в тебе глагол  
карающий возник.

Он медленно слетит  
с высот, где даль чиста,  
язык отяготит  
и освятит уста...

Наивный монолог!  
Беседует со мной

мой собственный сынок —  
как будто бы большой.

Как будто бы чужак,  
презрев не свой закон,  
поранил о наждак  
наш общий лексикон.

Ругайся или плачь,  
не опровергнут страх,  
не укрошен палач  
в коротеньких штанах.

Он к нежным просьбам  
глух,  
и все же там, внутри,  
в нем тоже — строгий дух  
рождения зари.

И не один лишь тот  
императивный глас,  
которым день зовет  
к благоразумью нас,—

внушает каждый штрих  
родной земли и лиц,  
поля с простором их,  
леса с народом птиц,—

все, чем не пренебречь,  
каким ни окажись:  
— Не засоряйте речи!  
Не засоряйте жизнь!..

\* \* \*

Я четко поняла теперь,  
учась у света и у тени:  
приобретение потерь  
важней иных приобретений.

Рассохлась изгородь тирад,  
и больше не подменит слово  
безмолвной храбрости: терять  
и начинать от печки, снова.

Как в старой сказке, наперед  
печалит искренность ответа:

пойдешь направо — конь падет,  
налево — сам загинешь где-то...

Но ты идешь под этот нож,  
идешь с душою на пределе,  
смиряешь дрожь и душишь ложь,—  
безмерно рад такой потере.

Иди, пожертвуй, допотей!  
Вот снова, быть собой желая,  
выпрастываясь из потерь,  
жизнь улыбается живая.

\* \* \*

По весне охлаждающей и влажной  
В глубине посветлевших лощин  
Все я слушаю шорох протяжный  
Опушившихся, мягких вершин.

Ухожу под летучую крышу,  
В сыроватый зеленый дымок...  
Все мне кажется — голос расслышу,  
Что когда-то расслышать не смогу.

\* \* \*

Звенит оса, а сердцу снится —  
Огнисто-белый пережат.  
Горят обветренные лица.  
И грабли конные гремят.

Пласта приподнятого туча,  
Шурша, касается плеча.  
Она колюча и пахуча.  
И, словно солнце, — горяча.

Как бы игольчатые льдинки,  
Все горячее и горячее,

За ворот сыплются сенички —  
Кострица солнечных лучей...

С затравеневшего обрыва  
В затрепетавшую струю  
Метну себя — волной бурливой  
С себя язвящий зной собью!

Во тьму приветливую кану —  
В полдневный мир из темноты  
Взойду. На мир полдневный — гляну!  
Полдневный мир! Как ярок ты!

\* \* \*

Где вдаль бежит дорогой старой  
Река, где гложет тракт в пыли, —  
Лежат тяжелые гектары  
Моей единственной земли.

Их ряд застывший некороток.  
Необозрима ширина...

Они составлены из соток  
Гороха, ржи, пшеницы, льна.

Курятся — в лето грозное  
Волной отлогой уходя.  
Они составлены из зноя  
И крупно-резкого дождя.

\* \* \*

И гремит, и протяжно взывает  
Этот поезд в железной пыли.  
Этот поезд меня отрывает  
От руки, от тропы, от земли.

И томит, оглушительно воя.  
И уносит — вперед и вперед.

Что он видит вдали, пред собою,  
Что так громко, так твердо идет?

Там, за окнами, темное поле.  
Там, во мраке, осин острова.  
И затерянный ветер на воле.  
И сухая под ветром трава.



\* \* \*

Шел я вдоль почерневшего тракта.  
Пробуждалась земля ото сна.  
Пробивалась зеленая травка.  
Где-то в даях — гремела война.

И белел березняк на угоре —  
В ясном свете огня своего.  
Было счастье огромно, как горе.  
И быть может, огромней его.

\* \* \*

Дохнет земля просторным маем.  
И я, в прохладе, в синеве,  
Как будто ветром обнимаем,  
Пойду по вспыхнувшей траве.

Зашевелятся влажно блики.  
Взойдет навстречу ясный взгляд.

И губы вкусом земляники  
Мне губы мягко охладят.  
Немыслимого счастья мера,  
Блаженно-дальняя пора...  
— Когда-нибудь! — прошепчет вера.  
А лес откликнется: — Вчера.

\* \* \*

Не внемля строгому запрету,  
Боясь в пути нарушить срок,  
Во тьме, в земле, на ощупь — к свету  
Идет, идет, идет росток.

Дорогой тесной, незнакомой.  
Сквозь сеть истлевшего листа.

Чрез слой запаханной соломы.  
Из-под тяжелого пласта

Пробьет заслон последний — выйдет  
Туда, где путь ветрам открыт.  
И в стылой, ранней мгле увидит,  
Что свет — внутри его горит.

\* \* \*

Над озерной ряской,  
Над травой кугой  
По дороге тряской  
Еду я — домой.

Легкую солому  
Ветер в поле вьет.  
В дальний край — из дому  
Путь меня ведет?

По полю сырому,  
Теменью лесной  
Еду ль я из дому,  
Еду ль я домой —

Радость ожиданья,  
Встречный свет огня  
И — печаль прощанья  
В сердце у меня...

## Аркадий Канькин

\* \* \*

Люблю смотреть,  
как движется река.  
Медлительней, к ночи загустевая,  
проходит за волной волна немая,  
ритмично сотрясая берега.

Почувствую через какой-то срок,  
что в том же ритме  
тихими словами  
течет сквозь сердце  
мерными толчками  
спокойных мыслей  
животворный ток.

Не сразу, но овладевает мной  
то ощущение общности с рекою,  
когда всем сердцем,  
всей своей судьбою  
ее судьбе причастен вековой.

И в темных толщах  
загустевших вод  
и жизнь моя  
незримо растворится,  
как тень беспшумной  
полуночной птицы,  
и в будущее тайно поплывет.

## Алексей Кафанов

### КИНОХРОНИКА

Ах, какие мы были ребята!  
Под машинку сбриты чубы.  
Вон, стоим возле военкомата,  
Знать не знаем своей судьбы.

Вон, бежим по изрытому полю.  
Но не фронт еще это — тыл.  
Выпад делает — и на уколе  
Паренек с винтовкой застыл.

Улыбается он — волноваться  
И причин пока вроде нет.  
А ему, как и мне, восемнадцать,  
Молод он, обут и одет.

В сапогах, в гимнастерке, в пилотке.  
Все-то складочки — за ремешок,  
Крупный план — на его подбородке  
Проступает светлый пушок.

Плачу я, даже не замечаю,  
Вытираю слезы со щек.

Вон как бьет по переднему краю  
Дальнобойным... еще... еще!

Он не знает того, что случится.  
Приставляет к плечу приклад.  
И при выстреле садит в ключицу  
Тот приклад, отходя назад.

Вместе видим мы перед собою  
Черный дым среди белого дня.  
Танк с нацеленной смертной трубой  
На него ползет, на меня...

Все заснял оператор толково.  
Вот он кадр, до предела сжат:  
Допризывники сорок второго,  
К бою призванные, лежат...

Аппарат еле слышно стрекочет,  
В зале зыбкая полутьма.  
Чьей-то матери горькие очи  
На экране как скорбь сама.

\* \* \*

В доброте кабардинца,  
в его простоте  
так легко убедиться,  
оказавшись в беде.

Все отдаст, что имеет,  
и проскачет всю ночь,  
если только сумеет  
хоть кому-то помочь.

Гостю — первое место  
в кабардинском дому.  
Может быть, неизвестно  
об этом ему?

Пусть приходит. Сейчас же  
будет принят, как брат.

Дом наш — полная чаша,  
даже пусть не богат.

Для случайного гостя,  
для того, кого ждут,  
в доме каждого горца  
угощенье найдут.

Принесет ли гостинец  
иль пустую суму —  
все равно кабардинец  
гостю рад своему.

И стаканы сойдутся  
у большого стола,  
и, конечно, найдутся  
те, что надо, слова.

Ну, а если случится  
очутиться в беде —  
повод есть убедиться  
в доброте кабардинца,  
в его простоте.

Ты его лишь окликни,  
он тотчас же придет  
и поможет. Адыги —  
бескорыстный народ.

И не станет гордиться  
добрым делом своим.  
Это — долг кабардинца.  
На том и стоим!

*Александр Коваль-Волков*

МОИ БЕРЕЗЫ

Я с детства в празднике берез  
В моем краю заречном.  
Спасибо вам, что я возрос  
В свеченье вашем вечном.

Вы, землю кровную любя,  
Из всех времен далеких  
Вобрали доброе в себя  
На пройденных дорогах.

Ваш добрый свет не загасить,  
Не расплескать веками,  
Я счастлив, что живая нить  
Меня связала с вами.

Высокий полдень мой храня  
В движении планеты,  
Вы наполняете меня  
Своим надежным светом.

## Игорь Кобзев

### РАЗГОВОР С ЛЕСНИКОМ

Брожу по лесу в запахе сосенок,  
Где каждый куст знаком и незнаком...  
В былье ползет — как будто бы спросонок —  
Ленивая повозка с лесником.

— Мое почтенье! Я насчет дровишек... —  
Конь смирно встал, ушами шевеля.  
— Дров подвезем. Не торопите лишек,  
Покуда устоится колея...

— Ведь сколь ни купишь — смотришь:  
ошибешься.

— Случается... Без топлива — беда.  
— В такие зимы разве напасешься?  
— Что говорить! Лютые холода!..

Весь разговор пустяшный, право слово...  
Но рядом — сосны, сладкий конский дух...  
И я про зиму все толкую снова,  
Как бы Некрасова читаю вслух.

Вовек бы никуда не уходить бы,  
Забуть бы все заботы навсегда,  
И слушать крик ворон, и говорить бы  
Про колею, про лес, про холода!..

## Кирилл Ковальджи

\* \* \*

Белое снежное поле.

Говорят, что под снегом — озеро,  
и живые плавают рыбы  
подо льдом в зеленой воде...

Ветер и черное небо.

Говорят, что где-то над теменью  
золотые и алые звезды  
перемигиваются в высоте...

Белое снежное поле,  
ветер и черное небо,  
один я — и белый, и черный...

Что говорят о душе?..

## Алексей Кондратьев

### МИР ЗА ОКНОМ

Мир за окном — неумная птица,  
Голубь драчливый, изруганный вдрызг!  
Мне невозможно в тебе воплотиться  
Даже в трамвайный заржавленный визг.

Что там режут у тебя перекрестки?  
Что тротуары городят впотьмах?  
Запахи снега, травы и известки  
Все ли хранятся в знакомых домах?

Живы ли прежние ели и липы  
Там, в Александровском давнем саду?  
Песни и флаги, обиды и всхлипы —  
Все это было со мною в ладу.

Я относился к деревьям неплохо —  
Где-то меж ними и детства лыжня...

Ты — был моим, от начального вдоха.  
И остаешься моим без меня.

## Нина Королева

### ЗАПАХ СЕНА

Чудо света — запах сена,—  
Чище память,  
Зорче зреньё.  
Вспоминаю все бывшее,  
Припадаю на колени  
Перед Родиной  
И детством.  
Запах сена,  
У тебя есть  
Чудо-средство —  
Поскорее дверь открой мне  
В мои сени,  
В мои сени,

В мою детскую страну.  
Озари мне подоконник,  
Где цвела герань, пылая  
Бело-розовым сияньём,  
Приоткрой в печи заслонку,  
Где в золе томились угли,  
Словно звездочки за тучей.  
С молоком подай мне кринку...  
Пусть лета мои —  
На убыль,  
Окна настезь отвори,  
Подари охапку света,  
Детство в поле замани.  
Чудо света — запах сена...

## Владимир Костров

\* \* \*

Мост, речка, сопка и туннель.  
Сечет сибирский мелкий дождик.  
Да это осень, как художник,  
Свою разводит акварель.

Чуть-чуть размыт ее мазок,  
И ей не жалко желтой краски,  
Когда на трудной дальней трассе  
Она рисует городок.

А городок тот невелик  
И неожидан, как гостинец,  
И добр уют его гостиниц,  
И светл его прозрачный лик.

Пусть тучи низкие туги,  
Прищурив солнечное веко,  
Рисует осень человека  
На фоне камня и тайги.

И оживает весь пейзаж,  
Видна вся Родина большая.

Я вас, ребята, приглашаю  
На транссибирский вернисаж.

Картины чуть отстранены,  
Но понимаешь безотчетно,  
Что эти парни и девчонки —  
Надежда и судьба страны,

И тот пейзаж не удержать  
В какой угодно крупной раме  
И дальней, европейской маме  
В письме его не передать.

И шар земной еще покат,  
И, ошибиться не рискуя,  
Нам осень Азию рисует —  
Не натюрморт и не плакат.

И рассылет по стране  
Приветы от Земли Сибирской.  
И твой ровесник из Симбирска  
Глядит с портрета на стене.

\* \* \*

От последней любви  
Шатаюсь, как будто от хвори,  
Похудевший  
И выбритый до синевы,  
Я к старухе приду,  
Из земли извлекающей корни  
И хранящей в чулане  
Сушеные «листья травы».

За сто лет та бабуля  
Людей повидала немало.  
На лице моем правду  
Она непременно прочтет,  
И цветок,  
Что цветет только в ночь на Ивана  
Купала,  
В старой ступе пестом,  
Заклинанья шепча, истолчет.

Глубоко проникает  
Вовнутрь обращенное зренье,  
И развяжет она узелок в уголке,  
На ста травах она настоит  
Приворотное зелье,  
Перекрестит его  
И в аптечном подает пузырьке.

Только чашку со мной  
Ты вечернего чая пригубишь,  
Ты отставишь ее  
И сама ничего не поймешь,  
Засмеешься, как прежде,  
И снова меня ты полюбишь.  
И на шее моей  
Свои белые руки сомкнешь.

...Нет.  
Ты выпьешь спокойно  
Свою неволшебную кружку,  
И рукой не коснешься усталой моей  
головой.

И гремит телевизор,  
И спит под землю старушка,  
Извлекавшая корни  
И знавшая тайны травы.

Но опять зацветет  
В Костромской нашей области  
вереск,  
Распушится пырей  
И вздохнет луговой зверобой.  
И пока я дышу,  
Я пишу и надеюсь.  
А пока я надеюсь,  
Не кончены счёты с судьбой.

*Сергей Красиков*

\* \* \*

Над нечесаным туманом  
С наступлением утра  
Поднимает крылья плавно  
Птица алого пера.  
И плывет по редколесью  
Провозвестницей добра,  
То в мечте, то в тихой песне,—  
Птица алого пера.  
Говорят, за лесом черным  
Кто-то видел лишь вчера,  
Что клевала в поле зерна  
Птица алого пера.  
И пропала.  
Ну а кто же  
Поджигает вечера?  
Месяц? Солнце?  
Или все же  
Птица алого пера?

## Вадим Кузнецов

### ЦВЕТЫ

Были, были у Антиповны мечты,  
да за временем  
позабывались напрочь:  
развести под окнами цветы —  
голубые,  
чтоб зажмуривались на ночь.

Чтоб выстреливали  
стрелками весной,  
чтоб звенели, как бубенчики, при ветре,  
чтоб такие,  
как перед войной  
видела на площади в райцентре.

Не одною думкой  
был загад богат —  
как подушку,  
взбила в палисаднике грядку.

Но пришел черед,  
и ее солдат  
под гармонь у клуба  
заходил вприсядку.

«Вы прощайте, тополя,  
Прощай, тополиночка!  
Вы прощайте, мать, отец,  
Прощай, моя милочка!»  
Не простилась —  
обломилась от него  
и упала, словно ветка, на дорожку.  
Горевала,

\* \* \*

Вот опять болит душа,  
только я не плачу.  
Спозаранок, не спеша,  
лодку конопачу.

Не спеша латаю борт  
полосой железной,  
хоть и знаю наперед —  
это бесполезно.

Ну еще один сезон  
или два от силы,  
и нырнет она в затон,  
в мутный зев могилы...

а немного отлегло —  
посадила в палисаднике картошку.

Годы, годы...  
Чем измерить их? Тоской?  
Вдовьей каторгой, латающей разруху?  
Одиночеством?  
Обидами?  
Судьбой,  
превратившей  
раньше времени  
в старуху?

Виноватых нету.  
Некому простить  
горькое сиротство, медленную старость.  
Только и осталось  
думать и грустить,  
горевать о давнем  
только и осталось.

По ночам  
в ней всходят  
милые черты,  
что за годами  
позабывались напрочь,  
да цветут во снах ее  
цветы —  
голубые,  
что зажмуриваются  
на ночь.

Входит в дерево металл —  
это мне не ново.  
Я и жизнь свою латал  
И латаю снова.

Правлю ночи напролет  
мелью гнутой стержень.  
Верно: может, поплывет,  
вырулит на стрежень.

За околицей дергач  
дергает все резче.  
Кто-то скажет:  
— Ты поплачь!  
Может, будет легче.

## Валентин Кузнецов

### ВОЗДУХ РОССИИ

I

Слава богу, я родился в России,  
Я в России родился,  
Не затерялся. Не провалился.  
Не упал в долговое болото.  
Слава богу, молюсь: есть родина,  
Есть работа.  
Хлебом честным могу поделиться  
С человеком,  
Со зверем  
И птицей,  
На рябину облокотиться,  
Замечаться, на девушку глядя,  
А она тебе: «Что же вы, дядя,  
На меня так упрямо глядите?  
Коль глядите, так замуж берите!  
Напеку вам детей: пацанов и девчонок...»  
И област меня жаром,  
Проймет до печенок.  
Ах я лапотник старый,  
Худая галоша!  
Грубовато сказала, но правильно все же.  
Это только в России такое быть может:  
С юморком, говорком и с морозцем по коже.

II

А бывает такое:  
Чуть заря, просыпаюсь.  
В сени — шашь! Холодина.  
Сентябрем окатило.  
На крыльцо, на подмерзший порежек,  
На цветы и на скопище мошек,  
На траву, что белеса-белеса,  
Я гляжу в застекленные лужи  
И не слышу, как мать:  
«Да куда босиком понесло тебя, беса?»  
А сосед мой, Петрович, уже громыкает  
ведерком  
И спускается вниз за водой с пригорка.  
Вот он скрылся, ушел в серебристую иву:  
Ах, какой я счастливый! Какой я  
счастливый!  
В дом бегу. Клубы пара за мной, как телята.  
Я — в кровать. Досыпать. Обождите, ребята.  
Сны свои догляжу, а потом расскажу  
Всем, кого называют народом.  
Я в России рожден...  
Вы откуда родом?

## Юрий Кузнецов

### ДВОЙНИК

Только солнце с востока взойдет,  
Тут же с запада всходит другое.  
Мы выходим из разных ворот,  
Каждый тень за собою ведет:  
И моя и твоя — за спиною.

Мы сошлись, как обрыв со стеной,  
Как лицо со своим отраженьем,  
Как рожденье со смертью самой,

Как два лезвия бритвы одной,  
Как великая слава с забвеньем.

Тучи с небом на запад летят,  
На восток покачнулись деревья.  
Наши тени за нами стоят,  
Не сливаясь,  
и бездны таят,  
А меж нами не движется время.



## Светлана Кузнецова

### БРАТУ

Детства надкушенный пряник,  
Старых страданий страна,  
Голубоватый торфяник,  
И над горою луна.

В этой стране, где навеки  
Голубоваты снега,  
Голубоватые реки  
Горестно бьют в берега.

В голубоватом рассвете  
Прошелестели шаги,  
Встали мы, странные дети,  
Посередине тайги.

Мы ничего не умели,  
Мы ничего не могли,

\* \* \*

А воля сегодня зазря  
С неволей моей говорит,  
Ведь там, где горела заря,  
Уже ничего не горит.  
Ведь там, где лежали снега,  
Клубится лишь мокрый туман,  
И мне дорогого врага  
Не взять на подобный обман.  
И мне нежеланного друга  
Сегодня никак не прогнать.

\* \* \*

Завтра ждет меня стезя иная.  
Ждет, так подождет.  
А пока разгульная, хмельная  
Ярмарка идет.  
Выдумкой и явью богатея,  
Гулевань, гульба!  
Золотись, осенняя затея,  
Краткая судьба!  
Гордый голубь, вышитый шелками,  
На моем платке.  
Пряничное сердце под руками  
Прямо на лотке.  
Пряничное сердце расписное  
В позолоте сплошь,  
Пряничное сердце вырезное,  
Лакомая ложь.

Но голубые таймени  
В сети нехитрые шли.

Наше ружье-самоделка  
Било без промаха в глаз,  
Голубоватая белка  
Падала с ветки не раз.

Нет и не будет возврата  
Странникам в эти миры.  
Вот и приходит расплата  
За голубые пиры.

Вот и приходит расплата  
За голубые пиры  
Горем веселого брата,  
Болью беспечной сестры.

Сбирай же, сестра моя, Вьюга,  
Свою белоснежную рать.  
Сбирай над великим простором,  
Сбирай над вселенской тоской,  
Сбирай над весельем, в котором  
Я больше не буду такой.  
Не буду простой и понятной  
В неверной вечерней поре,  
Такой сероглазой и статной,  
Какой я была на заре.

\* \* \*

Что мне снится в дому? Снится дом,  
Не лишенный тепла и уюта,  
Дом, обжитый с огромным трудом,  
Но не давший в печали приюта.

Что мне снится в печали? Печаль,  
Сотворенная мною самою,

Да любовь моя, мамина шаль  
С незатейливою бахромою.

Что мне снится в любви? Любовь,  
Незначительность слов ее нежных,  
Да волчицы расстрелянной кровь  
На сибирских снегах белоснежных.

## *Татьяна Кузовлева*

\* \* \*

Я вбираю в себя этот день,  
Весь — от еле заметной поземки  
До пурги, до шальной амазонки,  
С ног сбивающей пеших людей.

Я иду, принимая в плечо  
Весь напор ветрового замаха.  
У меня от бесстрашья и страха  
Воздух рвется у рта горячо.

Опаленная скоростью крыл,  
Оглушенная вещей трубою,  
В этот день я вхожу за тобою —  
Это ты мне его подарил!

Это ты, это ты, это ты  
Обронил мне под ноги поземку  
И, вглядевшись в лицо мое зорко,  
Дал ему волевые черты.

Сообщил эту складку у рта,  
Затаенную сдержанность речи,  
Благодарность за позднюю встречу,  
Над которой царит высота.

Я тобою была создана.  
Ты вложил в меня радость и муку.  
Жизнь нужна моя — вытяни руку:  
У тебя на ладони она.

\* \* \*

Прости, что краду у тебя одиночество,  
Что, взгляд от стола поднимая слепой,  
Когда никого уже видеть не хочется,  
Ты все-таки видишь меня пред собой.

Прости, что, когда, тяготясь перегрузками,  
Бросаешь шутивную реплику в тишь,  
Смотрю я глазами внимательно-грустными  
И вовсе не слышу, что ты говоришь.

Прости мне, что все эти дни, эти полночи,  
Не веря по-прежнему в силы свои,

Ищу у тебя я и ласки, и помощи,  
И даже — увы! — безраздельной любви.

Когда ты уходишь куда-нибудь вечером,  
Прости, что с трудом я скрываю в груди  
Такое глухое, такое извечное,  
Такое надрывное: «Не уходи!»

Прости, что живу я предчувствием выдоха,  
Едва лишь глаза наши встретятся вновь.  
Прости, что не вижу из этого выхода.  
Прости,  
Если можно простить за любовь.

## Станислав Куняев

\* \* \*

Увядают ягоды черники,  
Север дышит в крылья журавлю.  
Вот в такие горестные миги  
я тебя по-прежнему люблю.

Ветхий лист срывается с березы,  
индевет мертвая трава,  
и летят на желтые откосы  
самые несвязные слова.

Хлопья снега медленно роятся,  
укрывают темную хвою...

\* \* \*

По северным звездам угадывать путь,  
брести от вари до ночлега,  
свалиться без сил и ладонью черпнуть  
воды из лосиного следа.

По тропам звериным сквозь бурую гать  
стремиться к прозрачным истокам,  
выслеживать птицу и спирт разбавлять  
холодным березовым соком.

\* \* \*

Не вчера ль я глядел в синеву,  
захмелев от земного покоя,  
слушал, как шелестит о траву  
лиственничная мягкая хвоя?

А сегодня спустился к реке  
и увидел: вода загустела,  
иней выпал на желтом песке —  
словно соль под ногой захрустела.

### ОЗЕРО БЕЗЫМЯННОЕ

Тишина. Ни собак, ни людей  
здесь не видно со дня сотворенья.  
Только свадебный стон лебедей,  
только царственный блеск оперенья.

Милая, не мне с тобой равняться  
в чистых чувствах к травам и зверью!

Чувство цели и земные страсти  
глубоко засели в эту грудь!  
Но сейчас в моей последней власти  
взор поднять и в небеса взглянуть.

Воздух тишины и очищенья,  
шум огня и холод сентября,  
вздых прозренья, выдох облеженья  
долетят, быть может, до тебя.

Лежать в полусне и глядеть у костра,  
как уголь становится пеплом,  
подумать о жизни: еще не прошла,  
коль пламя целуется с ветром!

А белые ночи стоят в сосняке,  
ползут на болота и взгорья,  
и красная рыба по черной реке  
крадется из Белого моря.

Ночью глянул: построились в ряд  
островерхие черные ели...  
Над вершинами звезды горят —  
никогда еще так не горели!

Ночь прошла — и блистающим льдом  
затянуло под утро озера...  
Где ты, пес мой? Прошу тебя в дом,  
ты мне надобен для разговора!

Только ягель, да зубчатый лес,  
да в безмолвные белые ночи  
тусклый пламень полярных небес  
отражают озера, как очи...

Если есть в человеке душа —  
да придет она после разлуки  
под струящийся шум камыша  
на озерные эти излуки.

Пусть останется с миром вдвоем  
без меня на закате багряном

и лепечет о чем-то своем,  
безымянная над Безымянным.

Пусть витает, в пустынном краю  
о прошедшей судьбе забывая,  
и да примет ее, как свою,  
лебединая белая стая.

## Леонард Лавлинский

### ТОВАРИЦУ

Накатит грусть, и где-то в стороне  
Всплакнет провинциально мандолина.  
И тень подростка вытянется длинно,  
Амурский вальс неся навстречу мне.

Со школьной парты други-кореша,  
А сколько лет на счетчик намотало?  
Нет, брат ты мой, совсем не из металла  
Седеющего автора душа.

Но сверстник позабыл меня давно,  
В заботах стройки утонув прорабом,—  
Хотя б одно посланье накорябал,  
Не стыдно ли, корявое бревно?

Ведь оба, добровольцы-бурлаки,  
Кряхтя, Россию в будущее тянем,  
Впряженные совместным испытаньем,  
Бесменные до гробовой доски.

А ты забыл... Но что за бредомуть?  
На друга в рифму заполняю листик  
Не самой лестной из характеристик —  
Иное догадался бы черкнуть!

Лишь тенью просквозила в стороне  
Знакомая со школьных дней сутулость,  
И давняя мелодия очнулась  
На глубоко запрятанной струне.

### СТАРЫЙ БАЗАР

Толпа гудит стоусто,  
Укропом надышали,  
Где шевелит капуста  
Зелеными ушами.

Богатство привозное  
Гнетет машинный кузов,  
И ходят волны зноя  
Над лежбищем арбузов.

И треугольной раной  
Гордится на прилавке,  
Светясь душой багряной,  
Винючник нашей давки.

Над буйными рядами  
Лет сорок безглагольна,  
Крестом в иные дали  
Маячит колокольня.

И хвалит свой товарец  
(Табак и горький перец),  
В косматой бурке парясь,  
Носатый иноверец.

Сквозь брань домохозяек  
Барышница не слышит,  
Как лезвием срезают  
Ее хлопот излишек,

Покуда лбом приникло  
Возмездие в погонах  
К рогульке мотоцикла,  
Умаявшись от гонок.

Под стягами акаций  
Ростов гудит базаром,  
Где весело толкаться  
Славянам и хазарам.

## ОБЪЯСНЕНИЕ

Не спешите, девица,  
Скрыться за околицу!  
Можно ли надеяться  
С вами познакомиться?

Знаю сам, что светится  
Шевелюра в инее,  
Но желают встретиться  
Наших судеб линии.

Умница и скромница,  
Где мы раньше виделись?

Вы за что-то, помнится,  
На меня обиделись.

Ваших глаз рассерженных  
Собираю искорки.  
Ваших слов несдержанных  
Принимаю высверки.

Прочее — безделица,  
Домысел на вымысле.  
Оглянитесь, девица:  
Наши дети выросли.

## ВИХРИ

И убеждают шепоты берез,  
Что жизнь огромна, если жить всерьез.

И подтверждают шелесты осин,  
Что суеты сквозняк невыносим.

И тихо соглашается трава,  
Что золотые падают слова.

А вихри носят пыльную труху,  
Чиня разбой внизу и наверху.

## АПРЕЛЬ

Малеевский апрель —  
Сосулек мастерская.  
Капельная артель  
Гвоздит не умолкая.

А в доме, наверху,  
Машинной дробью строчек,  
В минуту по стиху —  
Знакомый переводчик.

На ритмы чудака  
Воздействовать желая,  
Слетела с чердака  
Ворона пожилая.

И лезет на рожон  
Из-под метели прошлой  
Подснежник. И прожжен  
Сугроб весенней прошвой.

И капли на весу  
Дрожат с веселой целью —  
На каждую красу  
Спустить по ожерелью.

В природе заодно  
Сапожник и художник.  
Ей только не дано  
Словес пустопорожних.

РАЗДУМЬЯ У МОГИЛЫ  
КЮХЕЛЬБЕКЕРА В ТОБОЛЬСКЕ

Над белым камнем сумрак.  
Не потухли  
Лишь огненные капельки рябин.  
Кто их тебе принес сегодня, Кюхля,  
Нескладный немец, русский гражданин...

Ах, эти страсти русские сгубили  
Твою судьбу. Недуг тебя свалил.  
И над тобою ветры всей Сибири  
Склонили буйны головы свои.

Им петь и плакать и свистать по-птичьи.  
А ты российской нежностью храним.  
Нам памятно твое косноязычье,  
Но мы не улыбаемся над ним.

Какая тайна здесь живет от веку?  
Чем обернется эта ширь и даль?  
И вспыхнут страсти Феофана Грека  
И Левитана светлая печаль.

Вы стали Русью,  
Где беду осият,  
Где горек хлеб, где бабы голосили,  
Где блажь, бунтарство, песен забытье,—  
Вы, сердцем полюбившие Россию,  
На вечный век вошедшие в нее.

КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ

К сельскому учителю  
Еду на три дня.  
Вот в лесной обители  
Коренные жители  
Встретили меня.

Встретили-приветили,  
Вот, мол, наша даль!  
Про себя отметили  
Каждую деталь.  
Все продумать нужно им  
В свете этих мест —  
Каждый жест наружный мой,  
Внутренний мой жест.  
Смотрят, не устал ли я  
В тяжком ходе лет?..  
И пирушка малая  
Зажигает свет.

Укрываться не к чему:  
Близкие друзья —  
Ближе уж нельзя.  
Повесть вьется вечная.  
Часто в нашей повести  
Слышится: «Доколь?..»  
В радости и в горести  
Выветрилась совесть ли,  
Зажила ли боль?

Столько-то увидели,  
Столько в них любви,  
Школьные учителя,  
Коренные жители,  
Строгие ревнители  
Родины-земли.

Слово незахватанно.  
Служат не за страх.  
Жизнь глубоко спрятана,  
Жизнь вся на глазах.  
Школа, лес да пастбище,  
На пригорке кладбище,  
Избы и стога,  
Речка, берега,  
Ивушка плакучая —

Мир просторный наш,  
Это ли пейзаж? —  
Жизнь их вся текучая...

Думал, уезжая я  
Из того села:  
Совість — уж не знаю я...  
Боль не зажила...

\* \* \*

Березы не только в отечестве нашем,  
У наших озер и среди наших холмов.  
Вдали украшает иные пейзажи  
Их легкая белая нежность стволов.

Но эти проселки, но эти покосы,  
Но эти березы в туманной тиши...  
Особое чувство в России к березам  
Их делает сестрами нашей души.

\* \* \*

И все сначала. Шум идет.  
Зеленый, влажный, розовый, тягучий.  
Играет лучик. Яблоня поет.  
Лес облетает. Снег пылит сквозь сучья.

Бег времени — и в этом мой изъясн! —  
Я уловить не в силах на природе.  
Лишь отмечаю время по друзьям,  
Которые безвременно уходят.

## *Майя Луговская*

\* \* \*

Синь рассвета, синь земная,  
Синь решетчато-резная  
Куполов и влажных крыш  
В час, когда над миром тишь.  
Утра синь —

из сини ночи.

Тьма сквозная все короче.  
Синь шоссевого разбега.  
Ни души.

И только Вега  
В синеве дразняще дальней,  
Чуть мигающе, хрустально —  
Светофором на шоссе...

КОМАРИНЫЙ ЗВОН ТОПОРИКА

Он сучок сбивал топориком —  
будто слизывал сучок.  
— Мне, отец, к Еловым  
Дворикам... —  
Затруднился старичок.

Комариный звон топорика  
с лезвия сошел на нет.  
— Ишь ты, до Елова Дворика... —  
Поглядел на сучья дед,

вытянул из груди  
скрюченный,

мертвый, севером измученный  
коленчатый сучок.

— Вот он путь какой, милок:

вот тропиночка и вот она,  
по колену поверни —  
по чернолеси наметана  
тьнь глухая. По тени

вышел на свет — по болотине.  
Так оно и будет весть...

По еловой моей родине,  
самой-самой что ни есть.

\* \* \*

Живет огонь в печи,  
живет герань в горшке,  
мышонок за обоями  
и дождик в потолке.

И дышит щель в стене,  
и тень стоит в углу,  
и я сажусь к столу —  
а жизни нет во мне.

Я знаю, где она, —  
я слов не подберу,  
когда в мою светелку  
она приходит поутру.

А щеки холодны,  
зарей озарены:  
как пла —  
так свет на ней

и ветер от полей,  
а слышу, как тепла.  
— Вот молоко, ты пей...  
Вы пейте, я пошла.

И этим я живу  
до завтра, до нее,  
и длится жизнь моя,  
дыхание мое.

\* \* \*

Сквозь дождь и дерево нагое  
свет фонаря едва прошел —  
как ломкой золотой дугою  
широкий вспыхнул ореол.

И поэтическое зренье  
подобную имеет власть:  
вся жизнь вокруг стихотворенья  
сомкнулась и переплелась.

Я вижу свет перед собою  
и жизнь кругом — и вся она  
и каждая черта — любовью  
осмыслена, озарена.



\* \* \*

Я знаю без искусства,  
что жизнь моя сбылась  
и от избытка чувства  
с печалью обнялась.

Не рано и не поздно —  
посередине лет —  
и солнечно, и звездно,  
и просто: свет и свет.

## *Иван Лыцков*

### ...И ВЫЗВОЛИМ КРАСАВИЦУ ИЗ ПЛЕНА!

Над Западной Сибирью — холода.  
Над Западной Сибирью — непогода.  
А летом здесь — вода, вода, вода,  
А над водою — рокот вертолета.

Но мы с тобою молоды еще  
И принимаем звонкую тревогу.  
И нефть планеты дышит горячо  
И просится к таежному порогу.

Бывает, оглянуться недосуг  
И гнет к земле усталость, как измена.  
Но в недра все же мы пробьемся, друг,  
И вызволим красавицу из плена!

И мы с тобой идем плечо в плечо —  
И нет для нас любимее занятия.  
И нефть Сибири дышит горячо  
И просится в надежные объятия.

## *Новелла Матвеева*

\* \* \*

Ночь. Отовсюду раскрылись душистые темные веера...  
Грустное небо над ними — серебряный нежащий океан:  
В нем отразились огромные, дальние, древние воды земли,—  
Чаша небес опрокинута в озере, чаша озер — в небесах.

Вскрикнула птица — протяжно жалобой свод огласила лесной;  
Сон ли приснился ей, страшный по-птичьему? Или боится змей?  
Ты не разнежь меня! Не усыпи меня! Не подведи меня. Ночь!  
Или... иначе, тогда подведи меня, чем подводила других.

Ведь у других это небо озерное блещет иным серебром!  
(Только свое серебро я и золото в жертву богам приношу.)  
Тени свои у меня. Для вторжения — замкнуто небо мое.  
(Зря так общительно, так понимающе вы улыбаетесь мне!)

Даже у мыши свое мироздание, даже у мошки — свое:  
Так отчего бы и мне, напевателю песен,— свое не иметь?  
Исстари кажется людям, что спетая песня — открытая дверь!  
Что у того, кто заветное выскажет,— нет уже тайны от них!

Много на небе сокрыто, Горацио. Много прячет земля.  
Только певец — у любого и каждого — как на ладошке сидит.

## БЕГСТВО ДЕРЕВЬЕВ

Стемнело.

В траве не усмотришь тропинку вертучую...  
И вот, чтобы глаз мой на чем-то его не поймал,  
Куст  
Выпускает тень, —  
Как чернильную тучу  
Под страхом погони выбрасывает кальмар.

Глядят исподлобья кусты в недоверье зловредном,  
Как если бы кто-то на их покушался покой...  
А дуб — в облака унесен вдохновением бледным  
И звездами полон, хотя его ствол — под рукой.

Береза — в рисунке полос, полотенец, подковок —  
Как голос серебряный, сорванный несколько раз;  
Не будь этих черных — на белой коре — остановок,  
Совсем бы она улетела, пропала из глаз!

Не видит, не слышит поселок, окуренный снами,  
Что вырвались рощи, ушли из земной западни:  
Деревья не здесь, лишь подножья шершавые — с нами,  
Как письма о том, что к рассвету — вернутся они.

...И наземь сойдут по ковру укороченной тени:  
Улику — воздушную лестницу — спрячут. А жаль;  
Их утро подменит. Они возвратятся не теми,  
Какими их видела ночью  
Небесная даль...

## Юнна Мориц

\* \* \*

Черемуха, дай надышаться  
На осень, на зиму вперед —  
Ведь надо на что-то решаться  
Все время, всю жизнь напролет!

Загульная! В пьяной раскачке,  
Щекой прижимаясь к щеке,  
Станцуем свой вальс, как босячки —  
Средь барышень на пяточке!

Уже приударили скрипочки,  
И дух упирается в плоть,  
И цыпочки встали на цыпочки  
И взяли батисты в щепоть!

Скорей свои кудри-каракули  
Роняй же ко мне на плечо,  
Чтоб мы танцевали и плакали,  
Друг друга обняв горячо.

Нам есть отчего переплакаться  
И переплясаться с тобой!  
Мы выросли обе из платица  
В простор наготы голубой.

А всюду намеки туманные,  
Что будем... ах, страшно сказать!  
Я, черная, буду я черной землицей,  
Ты — белая, будешь черемухой виться,  
И черную землю сосать,  
И пьяные, белые, пряные  
Цветы на дорожку бросать...

Черемуха, дай надышаться  
На осень, на зиму вперед —  
Ведь надо на что-то решаться  
Все время, всю жизнь напролет!

БЕРЕЗОВЫЙ ОГОНЬ

Снега зимы иль шелестенье лета —  
береза вправду из тепла и света,  
и в душах свет ее, едва затронь  
струну, что, неподвластная эпохам,  
откликнется и песнею, и вздохом...  
Мне дорог дров березовых огонь.

Уж кажется, с поэзией в расчете:  
так словно бы, за здорово живете  
спилили, раскололи — есть дрова.

А все-таки и то понять не худо,  
что есть еще одно в березе чудо —  
созвучность красоты и естества.

Оно и тут прилежно повторилось.  
Слежу огня березы легкокрылость —  
ликует он, а в сердце тает снег:  
тот жар любви, что душу освящает,  
береза благодарно возвращает  
так, словно человеку человек.

\* \* \*

Запах отволглой стерни  
так облучительно тонок,  
будто в щемящие дни,  
там, где я малый ребенок.

Там — и вдали, и кругом —  
мир, утопая в убранстве,  
омолодился в другом  
времени и пространстве.

Быстро продрогли снега.  
Быстро бугры зачернели.

Быстро иссякли бега  
самой блескучей капли.

Солнцу почти не до сна  
в кажущейся круговерти.  
И разбитная весна  
не вспоминает о смерти.

Долго смеюсь над водой.  
Долго люблюсь на блики.  
Долго висят надо мной  
птиц пролетающих крики.

\* \* \*

На исходе неяркого дня,  
на скончанье дождливого лета  
неуютно глядится земля  
в переливах осеннего света.

Те же виды вблизи и вокруг,  
те же думы приходят, волнуя...  
На мгновение почудится вдруг —  
облака подступили вплотную.

Не хватает простора в глазах,  
и стремленья — замкнулись на быте.  
Как вслепую, земля в небесах  
сиротливо скользит по орбите.

Как мала она — жаль, что мала, —  
и не жить на ней юно и вечно.  
Бесконечны труды и дела.  
Жизнь, она коротка, скоротечна.

Бесконечны труды и дела...

ПРИГЛАШЕНИЕ

Встали радуги невесомо,  
Словно кровли родного дома.  
Чистота поет, приглашает,  
Землю травами выстилает.  
— Приходи, погости немного,—  
Станет легче тебе дорога.

\* \* \*

Как бы за руки держась,  
Заплетают елки вязь,  
Будто встали в хоровод —  
Свистнет ветер и пойдет  
Серебром из рукава,  
По снегам, как по коврам.  
Жду-пожду — они молчок,  
Только блещет башмачок.

Елена Николаевская

НОВГОРОД

Заря покровы сбросила,  
Зажглась на небеси,  
Окрасив Ильмень-озеро —  
Исход всея Руси.

У озера у Ильменя  
Стою на берегу,  
Зову тебя по имени —  
Дозваться не могу...

По Волхову до Ладоги  
Пути — рукой подать!  
Ах, если б знал, как надобно  
Тебя мне увидеть...

Куда там!.. Звоны славные  
Плывут здесь сотни лет.

А твоего державного  
Еще в помине нет —

На невских топях города:  
Лишь сумь, да чудь, да водь...  
От мора да от холода  
Оборони, господь!

А в Новгороде — вольница  
Решает все дела.  
А в Новгороде — звонница  
Стоит белым-бела

И — чудо рукотворное —  
Сквозь смуту стольких лет  
Во все четыре стороны  
Свой посылает свет.

## *Лиля Наптельбаум*

\* \* \*

Да, пахари дают полям заданья  
И щедрые собирают урожай.  
Но, словно на любовное свиданье,  
Выходит на природу горожанин.

Он, покидает каменную клетку,  
Однообразье неподвижных комнат.  
То на цветок посмотрит, то на ветку,  
Чтобы черты любимые запомнить.

И, в город возвращаясь неизменно,  
Он оттого становится счастливым,  
Что на земле живет одновременно  
С возвышенной сосной и грустной ивой.

## *Ирина Озерова*

\* \* \*

Как примириться с мыслью странной,  
Что и во сне — не полетишь.  
Жизнь стала широкоэкранный,  
В ней мелочей не разглядишь!

Кленовый лист упал в ладони —  
Но то не лист, а листопад.  
Минуты понесли, как кони,  
Но нет уже пути назад.

Законы логики, законы,  
Изобретенные навек,  
В законы физики закован  
Закоченевший человек.

И все миры давно открыты,  
И не тоскуешь ни о ком,  
И радиус земной орбиты  
Натянут жестким поводком...

А я всё домики рисую,  
Трубу и над трубою дым,  
И дождь в линейечку косую,  
И солнце круглое над ним!

\* \* \*

Ну, март! Уснуть бы — не по силам:  
кровь свищет, хлещет ток по жилам,  
грудь давит... Так всегда весной  
дух Азии владеет мной.  
Моя вторая пуговина,  
души вторая половина,  
печать на скулах — и на лбу!  
Твоя двукрылая равнина,  
злой ельник, пыльная осина  
меня возвысили как сына,  
творя мой дух, мою судьбу.

Зачем без спросу, как домой,  
в мой дом являешься ночами —  
скуластый, с рысьими очами,  
жидкобородый прадед мой?  
Сел рядом, слов не говоря:

## СМЕРТЬ ПОЛЕЖАЕВА

Сарафанчик-раздуванчик.  
Сарафанчик...

*А. Полежаев*

По Пушкине рыдали две столицы,  
волна тоски катилась за Урал.  
А Полежаев умирал в больнице,  
осмеянный врагами, умирал.  
Судьба его без передышки была,  
и жить уже не оставалось сил.  
Ему бы надо повиниться было  
перед царем. Но он поэтом был.

Мир сделал все в презрении глубоком,  
дабы добро употребить во зло.  
Поэт писал — поэмы вышли боком.  
Стал помирать — и тут не повезло.  
Он написал поэму в двадцать пятом  
и был царем к ответу привлечен:  
сдан по указу в армию солдатом,  
из университета исключен.

Его бранил какой-то критик мелкий  
за всяческие смертные грехи:  
вот, мол, стихам недостает отделки...

дрожит широкая ноздря,  
в чуть скошенных глазах — коварство.  
Вассал российского царя  
времен Касимовского царства,  
да, ты державе отдал дань —  
шел с Грозным штурмовать Казань...

Папаха. За спиной — ружье.  
Плечища — дар сибирской шири.  
Мне узкий город — не жилье.  
Я знаю свое место в мире.  
Я соль пустынь, хребты Сибири  
как тело чувствую свое!  
То напоешь мотив унылый,  
то простыню откинешь с силой,  
то вдруг заставишь думать вслух...  
— Ну, — шутит друг, — очнулся, милый!  
Проснулся басурманский дух!

В казарме как отделаешь стихи?  
Когда чахотка легкие изъела,  
до красоты ли?.. Маршируй с утра!  
А тут и розга искромсала тело,  
и душу изувечила муштра...

И вот поэт ушел в поля ночные,  
и незаметной смерть его была:  
задолго ли до этого Россия  
потерю Пушкина пережила?

Но разве время властно над поэтом,  
который был всю жизнь самим собой?  
И он возвысился над грешным светом  
необщей и трагической судьбой.  
Где те цари, рабы своей гордыни?  
Тот критик — где? Растаял зримый след!  
А Полежаев Александр и ныне —  
прекрасный, божьей милостью поэт.

## Юрий Панкратов

### СОН

Это случилось со мною на свете  
где-то в чужой стороне —  
то ли в Австралии, то ль на Тибете,  
то ль вообще на Луне.

В мертвую даль, между острых камней,  
где не растет ничего,  
я убежал от забот и сомнений  
и от себя самого.

Тихо я шел по равнине холодной.  
...Вдруг,  
на янтарном коне,  
сгорбленный всадник в накидке походной  
выехал прямо ко мне.

Встал на пути, непреклонный и строгий,  
с тяжестью в темных глазах,  
с туго закрученным свитком дороги,  
с зоркой луной в волосах.

— Что ты здесь ищешь? — воззвал он  
сурово,  
вздыбив косматую тень.  
— Слова, — ответил я, — вещего слова —  
дара предчувствовать будущий день.

В черных зрачках его встало страданье,  
и, осаждая коня:  
— А для чего тебе это познание? —  
он спросил у меня.

— Вечное это дело поэта —  
в путь, не страшась ничего,

вслед за движеньем грядущего света,  
вслед за звездой его.

— Ты пошел по пустынной дороге,  
ты забыл своих старых друзей,  
чтобы жить без невзгод, без тревоги,  
вдалеке от страданий людей?..

Посмотрел он в глаза мне глубоко,  
долг взор был его ледяной.  
В тот же миг — то ли беркута клекот,  
то ли гром прогремел надо мной.

— Так внимай! Я дарю тебе средство —  
только знай, что в обмен на него  
я возьму навсегда твое сердце... —  
Больше он не сказал ничего.

И, исполненный грозного света,  
он к моей прикоснулся груди,  
трогнул жезлом тревожное сердце  
и устало промолвил: — Иди!

Стало тихо вокруг.  
Я услышал,  
как гуляет по гулким векам  
ветер времени...  
К морю я вышел  
и увидел потухший вулкан.

Долго шел я по склону все выше  
и добрал до вершины его.  
...С этих пор все, что будет, — я знаю,  
я вижу.  
Все, что было, — совсем ничего.

## Джемс Паттерсон

\* \* \*

*Поэту Борису Корнилову,  
автору поэмы «Моя Африка»*

Среди холмов и русских перелесков,  
среди задумчивых степей и скал,  
седую стужу бедствий перенесших,  
я словно бы подснежник подрастал.  
Мне эти ветры поверяли думы  
овеянных легендами веков,  
и тихо пели песни Каракумы  
на языке тропических песков.  
Живя в условиях добрососедства,  
людского пониманья и тепла,

всем существом я ощущал, что с детства  
она меня, Россия, берегла.  
Народы мира голос обретали.  
Я, существуя с веком наравне,  
не замечал того, что прорастали  
ростки грядущей Африки во мне.  
И я за честь России постою.  
Мне это будет высшая награда.  
Но, несомненно, если будет надо,  
и я умру за Африку мою!

СИБИРСКИЙ ГОРОД

1

Дорога века? — вот она, Д о р о г а.  
Стою на ней, как некогда стоял  
не первый, не последний из потока  
землепроходцев, — одолев Урал,  
за год пути он вышел к Лене. Было  
безлюдно в стороне, едва родной,  
сталь топора оплечье холодила,  
и веял в душу ветер смоляной.  
И так же дико, и прекрасно,  
и первозданно, как сейчас,  
безмерное сибирское пространство  
томило сердце, радовало глаз:  
от дальних гор до ближних перевалов,  
от темных недр до светлых вод —  
в с е городами бредило. Взывало  
к тому, кто дали эти обживет.

Я испытал такое на Пурсее<sup>1</sup>,  
когда еще на месте Братской ГЭС  
порог водовороты вил и сеял  
шумы и брызги, а предвечный лес  
стоял-гудел, никем не тронут, —  
с той, не прославленной еще, скалы  
открылись мне, маня к себе, как омут,  
медвежьи тропы и углы.  
Открылся мир, что обживали предки,  
открылся путь, что продолжать живым.

Внизу, на затопляемой отметке,  
темнел Падун — от мшистых кровель дым  
над Ангарою плыл и таял. Бревна  
староказацких прясел зацвели  
седою чернью. Враскосяк, неровно,  
под грузом лет сгибаясь до земли,  
дома торчали и подслеповато  
следили, как Зеленый Городок  
строителей — в палаточную вату  
врезал барак. Его смолистый бок  
желтел задорно. Одинокий  
стук топора был дерзок в тишине.

Век не забуду этот миг далекий,  
когда впервые плаху на спине  
внес в полый сруб и, ободренный взглядом  
трех плотников, стал пригонять ее —  
и дом подвел под крышу. С ними рядом.

<sup>1</sup> П у р с е й — скалистый мыс, куда врезано плечо  
плотины.

Т а м понял я: дорога и жилье  
в России неразрывны, все истоки  
столиц — в землянках путевых.  
Нет города в отчизне без дороги,  
как нет дорог без городов на них.

Но, возводя свой первый дом, я не дал  
тогда себе труда осмыслить власть  
призванья предков — и не ведал,  
что жизнь моя уже сбылась,  
что навсегда в судьбе моей сомкнулись  
дом и дорога, стройка и поход,  
что пращуров мечты во мне очнулись,  
чтоб стать делами в свой черед.

Ну, здравствуй, ветерок водораздела  
Байкала с Леной! Вей мне в душу, вей!  
И снежной пылью, по-тунгусски белой,  
кроши мой путь, шаманя средь ветвей  
священных кедров...

Тщетно! — от Давана<sup>1</sup>  
сквозь северобайкальские хребты  
пойдут тоннели. Котлованы  
на месте шахт полным-полны воды...  
Как будто Баянай, хранитель чащи,  
не в силах Магистраль остановить,  
снег растопил — и влагою парящей  
взялся проходчиков давить.  
Но что он может, дряхлый призрак леса?  
Кого страшит весенний водоток?  
И прирученное железо,  
нацеленное точно на Восток,  
взрезая гору, воеет от накала,  
чтоб, с ближней сопкой связывая даль,  
стрелой из лука, на берег Байкала  
взлетала б из тоннеля Магистраль —  
и город прошивала бы навывлет...

А города еще в помине нет! —  
он лишь отметки метит нулевые,  
вагончиками явленный на свет.

2

Все города страны — послы Москвы,  
ее гонцы в приближенные дали.  
Еще в плену у камня и травы  
наиглавнейший город Магистралаи,

<sup>1</sup> Д а в а н — горный перевал на трассе БАМа.



что тридцать лет назад открылся мне  
рядочком изб вдоль насыпи забытой.  
А нынче он известен всей стране!  
Но, облеченный властью, знаменитый,  
он строить сам себя не устает —  
сам по себе, от края и до края,  
бетонной поступью идет,  
временки щитовые попирая  
многоквартирной мощью новизны.

Милы душе, поистине прекрасны  
в холмистой Тынде дни весны,  
покамест лиственничные пространства  
еще нежны, покамест летний зной  
еще не выжег травы на полянах.

Я помню, прошлой тындинской весной  
весь город состоял из деревянных  
построек. Нынче ж, боже мой,  
как изменился он! Столичный почерк  
кварталы красною чертой  
свел к улицам — и в мир не одиночек,  
но сдвоенной шеренгою пустил  
д о м а, и те отважно  
растут, как им генплан определил:  
то вдоль земли, то вверх многоэтажно.

Одна лишь насыпь к Тынде подошла,  
как три других немедля потянулись

на север, запад и восток. Была  
в тех насыпях повадка юных улиц —  
они, не раздражая мерзлоту,  
тайгу плечом железным раздвигая,  
шли вдаль и вширь, мужая на ходу,  
вперед самих себя же забегая.

Столичная не то чтоб хватка — стать  
просматривалась в Тынде: магистральность  
четыре дали помогла связать;  
многоэтажность и многоквартильность  
пересоздали город — вознесли  
его, как узел управленья  
всей М а г и с т р а л ь ю, через полземли  
протянутой и ждущей завершения.

И в праве сметь, и в жажде создавать,  
а не комфортом вовсе и не лоском,  
дается Тынде посоревновать  
с другой столицей края — с Комсомоль-  
ском:

чтоб новые дороги проторить  
для угольщика и для металлурга,  
чтоб здесь в какой-то мере повторить  
явление Москве Санкт-Петербурга...

*Строительство Байкало-Амурской  
магистрали, 1976*

## Валентин Проталин

### СЛАВЯНСКИЕ КЛЮЧИ

Я стоял у Славянских ключей  
Под Изборском, и древнее чудо,  
словно в косу, сплеталось в ручей.  
Эхо звоном струилось повсюду.

Голосисты, прозрачны, чисты,  
с влагой, в меру прохладной и сладкой...  
А земля новгородскою кладкой  
обнажила на срезе пласты.

Я напился, лицо освежил.  
И в пронизанных солнцем деревьях  
мне почудился предок мой древний,  
что когда-то здесь был или жил.

Ратник вольный ли, властный ли князь,  
вот на щит он поставил колено,  
воду звонкую пьет, наклонясь,  
борода перепуталась с пеной.

А чего ж не стоять нам вдвоем,  
на земле этой выросшим людям,  
здесь живем, тех же женщин мы любим,  
все из тех же ключей воду пьем.

Потрепал он за холку коня  
и привычно попробовал сбрую...  
Бьют ключи — от него до меня  
протянулись прозрачные струи.

## Борис Примеров

\* \* \*

За совесть, за первооснову,  
За сказку с хорошим концом  
Бью слову. бью честному слову,  
Как в старые годы, челом.

Бью травам, бью росам, бью полю,  
Раскатному бью соловью,  
Прошу его, чтобы на волю  
Он выпустил душу мою, —

Где тетерев с милой тетеркой  
Разносят весенний азарт

Бедовую скороговоркой,  
Которую выудил март.

И ты, начинающий повесть,  
Читающий длинные дни,  
Случайным, придуманным словом  
Нечаянно их не спугни,

Чтоб не убывала с восхода,  
Как совесть чиста и свежа,  
Российской породы природа  
И той же породы душа.

\* \* \*

Снег за окном стоит, как дом,  
Откуда я сегодня вышел,  
Что приготовили на слом.  
И он меня уже не слышит.

Снег фантастически тяжел,  
Как мед, как золотые соты.  
Но из-под ног уходит пол, —  
Ах, время, так ты сводишь счесть?!

Ах, время, ты уносишь все,  
Все на иной теперь орбите.  
День падает под колесо  
Опережающих событий.

За что такая кутерьма?  
За что снега мои в опале?  
За что идут на слом дома  
И что-то близкое к печали?..

## Алексей Пьянов

### КУКУШКА

Кукушка врет — недорого берет.  
Не веришь — и не спрашивай кукушку.  
Но я иду упрямо на опушку  
И думаю: сегодня не соврет.

Неисправима серая гадалка:  
Со счета сбился, а она поет!  
Я понимаю, ей-то ведь не жалко,  
Она легко бессмертье раздает.

Кого-то ранит раннею кончиной,  
Что ей одной известна наперед.  
И все же огорчаться нет причины:  
Кукушка врет — недорого берет...

Я покидаю звонкую опушку,  
Я ухожу и слышу, как вослед  
На удивленье щедрая кукушка  
Пророчит мне вторую сотню лет.  
...А почему бы нет?

\* \* \*

Явление весны, ее приметы  
На тысячи ладов давно воспеты.  
А в сущности, весна совсем проста:  
Чернеют свежевскопаные грядки,

Прикосновенье клейкого листа  
В людских сердцах рождает беспорядки,  
На небе — ярко-синие заплатки  
Добротного апрельского холста.

## Юрий Ряшенцев

\* \* \*

Подъемемся наверх,  
Где небо — в двух шагах,  
Не сетовать на век,  
Не спорить о врагах,

А растворить окно,  
Сырых небес вдохнуть  
И ощутить одно:  
И наш измерен путь.

Но в разнорядье лет,  
Которых тьмы и тьмы,  
Не чудо ль, что на свет  
Явились вместе мы,

И вот глядим вдвоем,  
Столкнувшись раз в века,  
На тусклый водоем —  
Не Лета ли река?

Она — как тайный знак  
Пред совестью самой,  
Что ты — не друг, не враг,  
Ты — современник мой.

Не кровная родня,  
И все-таки родня,  
Не покидай меня,  
Переживи меня!..

## Валентин Сидоров

\* \* \*

Столь знакомая сердцу аллея.  
Сколько мы уж не виделись дней!  
Ты — мне кажется — стала светлее,  
Ты — мне кажется — стала длинней.

Как всегда, синева небосвода  
Окаймляет верхушки раки́т.

В золотой колокольчик природа  
Надо мною протяжно звенит.

Возникает далекое эхо,  
Обозначив незримый предел.  
Я, быть может, затем и приехал,  
Чтоб услышать, как он зазвенел.

\* \* \*

Решенье это самое простое —  
Не потому ль  
В далекий тянет край? —  
Как можно чаще  
Приникай к Простору  
И замкнутые стены размыкай!

Под небосводом,  
Звонким и гудящим,  
С твоим дыханьем  
Слившимся почти,  
Не рассуждай  
О солнце восходящем,  
А впитывай  
Идущие лучи!

БАЛЛАДА О ВРЕМЕНИ

Итак. Итак. Итак. Покуда яро  
вокруг венецианского футляра  
срываются и сипнут голоса,  
в самом футляре маятник спокойно  
и в мор, и в смуты, и в любые войны  
эпически раска-чива-ется.

Итак. Итак. Как будто чье-то сердце  
работает за остекленной дверцей.  
Итак. Итак. Сквозь немоту и мрак,  
сквозь спаренное их сопротивление  
в бурлящий мир врывается мгновенье,  
пока еще безмолвное. Итак.

Итак, за толпами, что осаждали  
мосты в завесах ощутимой мглы,  
не спал дворец, обстрелянный дождями,  
не помнящий недавние балы.

Повзводно грудясь под лепною аркой  
и вслушиваясь в отдаленный гул,  
садил в рукав сигарку за сигаркой  
удвоенный премьером караул.

По плитам волочилась чья-то сабля,  
в сторонке кони грызли удила.  
А в Зимнем, в этом каменном ансамбле,  
табачный дым куржавил зеркала.

Ожесточась от стычек в переулках,  
утратив лоск и выправку с утра,  
в дворцовых залах, сумрачных и гулких,  
угрюмо дулись в карты юнкера.

Юнцы, аристократы, меломаны...  
Они, кичась сноровкою вояк,  
могли навскидку срезать из нагана  
в семи шагах подброшенный пятак.

Могли, шеренги развернув красиво,  
свинцу не бить поклонов до земли.  
Могли любить по-своему Россию —  
и лишь понять Россию не могли.

(Лю-бить, лю-бить)  
в лицо самой эпохе  
(по-нять, по-нять)  
простор дышал огнем,  
и горбились железные дороги,  
как ленты пулеметные, на нем.

И немо примыкали к новым силам  
титаны и оскаленные львы.  
И хлопал о гранит под ветром стылым  
матросский клеш медлительной Невы.

Итак. Итак. Но, очередность руша,  
за нынешним мгновением сквозь душу  
мгновения минувшего летят.  
И маятник, размеренно неистов,  
раска-чива-ется от декабристов  
до пресненских кровавых баррикад.

Итак. Итак. В дрожащем полумраке,  
в котором ночь не в ночь и сон не в сон,  
я вижу развернувшийся к атаке  
интернациональный эскадрон.

И как ни разноси повозки в щепки,  
куда свинцовым ливнем ни кропи,  
рубаки, точно месяц на ущербе,  
в мерцанье пашек мчатся по степи.

Ах, каждому из пестрой этой лавы  
дано по праву, рухнув на скаку,  
остаться навсегда в полынных травах  
на левом на простреленном боку.

И я слежу за тем, как, гикнув резко  
и круто повернув на пулемет,  
отец, сменив убитого комэска,  
под пули вырывается вперед.

Кубанку сбило — и клинок тяжелый,  
раскрученный для стычки лобовой,  
божественным сияет ореолом  
над бритой комиссарской головой.

Мы знаем по себе, какие силы  
из нищих изб или барачных нор  
вдруг вырывают сыновей России  
на обгаренный зорями простор.

Отец в эпоху врос без всяких «если»:  
понадобилось ей — и пал в бою,  
понадобилось ей — и ожил в песне,  
чтоб рассказать про молодость свою.

Про молодость и, значит, про дерзанья,  
когда под гул пальбы, копыт, колес  
он якобы не знал ни состраданья,  
ни колебаний, ни тоски, ни слез.

Итак, отсчет годов на поколения  
слепающий свет уравнивает с тенью,  
вжимает судьбы в скоротечный миг.  
Итак. Но зря ли время оставляло  
в моем отце и вокруг него немало  
штрихов, примет и знамений своих?

...Итак. Итак. Как верба над рекою,  
как та уединенная скамья,  
нашептывать мне стало о покое  
мое второе маленькое «я».

Я оградился от дорожной пыли,  
стал опасаться ливней и пурги  
так, словно дух мой в чем-то потеснили  
в боях с отцом полегшие враги.

Я повернулся к этому спиною,  
а оттого попятился назад  
так, словно никогда передо мною  
не возникало стоящих преград.

Как будто не меня брала охота,  
одним броском выигрывая бой,  
весь этот мир от амбразуры дзота  
без размышлений заслонить собой.

Итак. Итак. Но зримостью ответа  
возник в моем душевном тупике  
балтиец на часах у кабинета,  
застывший с пропусками на штыке.

Потом открытым продолженьем споров  
возникли степи в ранние часы,  
где, как стволы таящихся дозоров,  
поблескивали травы от росы.

А им уже иное шло на смену:  
ступени лестниц, где в кипящий год  
откатывались раненые к стенам,  
чтоб дать дорогу рвущимся вперед.

Итак. Итак. Сквозь стужу, голод, жажду  
на мне замкнулись в тишине ночной  
все те, кто мной потерян был однажды,  
и те, кто до сих пор еще со мной.

А маятник мерцает между ними  
во имя жизни — вечности во имя  
той, где гранит, мелодия, строка  
раскроют человеку человека.  
Итак. Итак. Я слышу в пульсе века  
биенье тонкой жилки у виска.

Я вижу сеть путей в одном маршруте.  
Не так-то уж удалено по сути  
начало века от его конца:  
мгновений племя и людское племя,  
перемешавшись, составляют время —  
равно твое и твоего отца.

И — так. И — так. И — так.

## *Вадим Сикорский*

### ХУДОЖНИК

Я не мыслитель? Полно горевать!  
Творец в меня иной талант не вложит,  
а что могу я? Только рисовать  
все то, что объяснить никто не может.

И кистью я старательно машу,  
ловя себя и мира совмещенье.  
И только тот я холст не допишу,  
когда навек погаснет освещенье.

Зачем мне это все? Не знаю сам.  
Мне объяснения точно так же нету,  
как вечности, земле и небесам,  
как в вечном мраке вспыхнувшему свету.

РАЗГОВОР С ОТЦОМ

1

Отец, ты истый ветеран,  
совсем старейшина, похоже:  
страна рабочих и крестьян  
тебя на много лет моложе.

Ее ты пестовал, как мог,  
и у нее — уже внучата...  
Ну что же, выпьем за итог  
тобой свершенного когда-то!

Юнцы, чей возраст на усу,  
вы были молодость России,  
ни дать ни взять — кряжье в лесу  
во всей плечистости и силе.

И сам задумщик Октября,  
он уповал не на кого-то:  
на вас — и, значит, на тебя —  
и не ошибся ни на йоту.

2

И мало ль там,  
и мало ль там  
кто и каких не строил козней,

когда за вами по пятам  
ползли угрозы все нервозней,  
суля на первом же году  
погибель вместо комиссарства  
и уготованный в аду  
котел смолы.

Но государство  
с великой верою в очах,  
уж как бы тяжело ни дышалось,  
на ваших сомкнутых плечах  
до нас  
да и при нас  
держалось.

Оно сбивало вражью спесь  
и кто ни сунься — гнало взашей.  
Оно — как наша с вами песнь,  
оно как воля —  
ваша с нашей.

И он, с морщинками у глаз,  
он уповал не на кого-то:  
на вас —  
и, стало быть, на нас —  
и не ошибся ни на йоту.

ЛЕШЕВА ДУДКА

Погодите, вроде свечерело —  
и вот-вот зальются соловьи.  
Так и есть: настроились несмело —  
и коленца вывели свои.

Приворотной, сладкою погудкой  
огласился росный уголок.  
То коленце лешевой дудкой  
неспроста прапрадед мой нарек.

Ах, коленце!  
Где оно, такое,  
звон такой копило целый год?!  
Неспроста, застыв на частоколе,  
воронье воды набрало в рот.

А и впрямь — не лешева ли дудка  
дадена лихому дударю?!

Плачет ива, млеет незабудка,  
о себе уж я не говорю.

Сатаня в сумеречной чаще,  
около приречных купырей,  
дудка заливается все слаще —  
в горлышке все круче и круглей  
катышок...

И чуточку обидно  
за певца: поет, а между тем  
самого нигде его не видно,—  
может быть, и нет его совсем.

Может быть, с того и цепенею,  
что неясно, кто это поет —  
не трава ли дольняя  
и с нею —  
уж не звезд ли горний хоровод?..

\* \* \*

Августовская сушь.  
Костяника..  
И пока не пришли холода,  
потрудись, паучок,  
растяни-ка  
в перелеске свои невода!

Не пускай уходящее лето,  
все дороги его перейми,  
чтобы радость погожая эта  
как проснись, так ждала за дверьми!

Чтоб, ничем не похожий на осень,  
день дудел в золотую дуду.  
Никакой бы мне осени вовсе,  
а подряд бы два лета в году!

Чтоб до самой зимы не ронилась  
напоенная солнцем листва  
и от горестных дум не клонилась  
по-сентябрьски моя голова...

## Юрий Смирнов

\* \* \*

Над Святою горою курится туман.  
Море камни на берег выносит.  
Пробный вылет свершил журавлей караван,  
Скоро милую родину бросит.

Ну, чего он найдет там — средь выжженных скал

И палящего мертвого зноя?  
В тростниках крокодил затаился.

Шакал

Тихо плачет порою ночью.

На могильнике древнем, на белых костях

Гриф застыл в ожиданье добычи.  
Но ровнее построился птичий косяк  
И курлычет, курлычет, курлычет.

Птицам надо лететь. Приближенье зимы  
Гонит их. Велики расстоянья..  
Что пернатые нам? Только чувствуем мы  
В сердце нашем печаль расставанья.

Караван улетает. Прощай, караван!  
Розовеет в лучах оперенье.  
Коли надо лететь — то совсем не обман  
Та свободная воля паренья.

\* \* \*

Вулкана зубчаты края,  
Как крепостные стены.  
Едва ль не сверстник бытия  
Он солнечной системы.

Его слепая сила недр  
Однажды пробудила,  
И лава толщей в километр  
Окрестности покрывала.

Ландшафт менялся на глазах,  
Как складки мятой ткани,  
А в задымленных небесах,  
Светясь, висели камни.

И судорогой сведены  
Граниты и базальты.

Гул исходил из глубины —  
Глубокое контральто.

В громах и содроганье тел  
Природа пребывала.  
Ей прежний облик надоед,  
Она его меняла.

...Вулкана старого нутро  
Заполнено водою.  
Вином торгуют и ситро  
В палатках под горою.

Коль над горою облака,  
Вам скажут старожилы,  
Что будет дождь наверняка.  
Да так оно и было.

## Владимир Соколов

\* \* \*

И позабыть о мутном небе,  
И в жарких травах луговых  
Лежать, покусывая стебель,  
У загорелых ног твоих,  
И так нечаянно промокнуть  
Под самым каверзным дождем,  
Таким, что не успеешь охнуть,  
А весь уже, до нитки, в нем.  
И не обидеться ни капли

На эти радужные капли  
На волосах, и на бровях,  
И на сомкнувшихся ресницах,  
И на ромашках, и на птицах,  
Качающихся на ветвях...  
И эту тишину лесную  
Потом минуту или две  
Нести сквозь бурю городскую,  
Как бабочку на рукаве.

\* \* \*

Мне не может никто и не должен помочь,  
Это ты понимаешь сама.  
Это ранняя рань, это поздняя ночь,  
Потому что — декабрь и зима.

Это скрип одиноких шагов в темноте.  
Это снег потянулся на свет.  
Это мысль о тебе на случайном листе  
Оставляет нечаянный след.

А была у тебя очень белая прядь,  
Потому что был холод не скуп.  
Но она, потеплев, стала прежней опять  
От моих прикоснувшихся губ.

Ты шагнула в квадратную бездну ворот.  
Все слова унеслись за тобой.  
И не смог обратиться я в тающий лед,  
В серый сумрак и снег голубой.

Я забыл, что слова, те, что могут помочь, —  
Наивысшая грань немоты.  
Это ранняя рань, это поздняя ночь,  
Это улицы, это не ты.

Это гром, но и тишь, это свет, но и мгла.  
Это мука стиха моего.

Я хочу, чтобы ты в это время спала  
И не знала о том ничего.

\* \* \*

Ты говоришь, что все дела:  
Тянутся вверх, идти на дно.  
Но ты со мною не пила  
Мое печальное вино.

Мне интересен человек,  
Не понимающий стихов,  
Не понимающий, что снег  
Дороже замши и мехов.

И тем, что — жизнью обделен! —  
Живет, лишь гривной дорожа,  
Мне ближе и большее он,  
Чем ты, притвора и ханжа.

Да и пишу я, может быть,  
Затем лишь — бог меня прости,—  
Чтоб эту стенку прошибить,  
Чтоб эту душу потрясти.



\* \* \*

В первые годы мои,  
Полные дивных открытий,  
Улиц и крыш — в забытии  
Или же в бликах событий,

В первые солнца мои,  
В самые первые ночи  
Иволги и соловьи  
Пели намного короче.

Но, как часы на суку  
Или лесная церквушка,  
Долго, так долго «ку-ку»  
Нам говорила кукушка.

Кажется вечной она,  
Эта незримая птица.  
Нынче я хоть дотемна  
Слушал бы, если случится...

В дымке зеленых ветвей,  
В рощах — все дальше и дольше.  
Но чем кукушки скупей,  
Тем соловьев у нас больше.

...А воробей на окне,  
Все принимающий числа,  
Так и чирикает — вне  
Определенного смысла.

\* \* \*

Когда мы были незнакомы,  
А только виделись во сне,  
Твои таинственные гномы  
Сошлись подумать обо мне.

Они, предвидя все на деле,  
В кружок присели на пеньки.  
И так печально прозвенели  
Их голубые колпачки.

Они решали и решали,  
Шептали: это ни к чему.  
Но ничему не помешали.  
Не помешали ничему.

Не удивительно, что служат  
Тебе и мне они теперь,  
Но по весне о чем-то тужат...  
Звенит бубенчиком капель.

\* \* \*

Все выпадает снег и тает, тает, тает.  
Зачем я слово дал деревьям и весне,  
Что первая капель меня другим застанет  
И что зеленый шум появится во мне!

Холодный ясный час. Горит зари полоска.  
Зачем я пил вино, и плакал, и шумел.  
Я вовсе не хотел такого отголоска,  
Такой тоски в себе я вовсе не хотел.

Я сетовал на снег, я проклинал погоду,  
Я повторял слова пустые горячо.  
Но как я мог винить любимую природу  
В том, что стихи мои не выросли еще.

Все вовремя живет. Ничто не пропадает.  
Никто не виноват... А между тем в окне  
Все выпадает снег, и тает, тает, тает,  
Как будто слово дал деревьям и весне.







## Герман Флоров

### РЕБЯТА С ЛЭП-500

Как выступали в выходной —  
Шагали  
Вдоль по Братску то есть,  
Как по линейке одной  
И нынче в памяти построюсь,—  
Такие парни! Не пойму,  
Откуда собрала их столько  
В ту зиму или в ту весну  
И в вечность ту высоковольтка!  
За ними — плотный полог мглы,  
Снежком прикрытые болота  
И все монтажные «углы»,  
В которых что-то от полета  
Стай журавлиных.  
И рябят  
В монтажном небе перья бревен...  
А за плечами у ребят —  
Два провода, полет их ровен.  
Два провода как два крыла —  
Отнюдь не ангельских, бесспорно! —  
Как знак, что линия светла,  
Поскольку солнце рукотворно.

...Пиджак распахнут и широк,  
Хотя еще морозит к ночи,  
И галстук будто узелок  
Набухшей листовенной почки...  
Ребята с ЛЭП!

Как с высоты  
Сошли они в луче воскресном —  
В петлицах первые цветы,  
В пути не сломанные ветром.  
... Я говорю себе: «Не лги,  
Что было все легко, красиво!..»  
Но эти парни из тайги  
Лишь в том, в высотном свете живы,  
Лишь с ним они накоротке,  
В его свеченье, вероятно,—  
Две сотни верст в грузовике,  
Чтоб завтра — столько же — обратно.  
А там хотя б до звезд самих  
Взлететь  
И возвратиться к лету  
Сюда, где бьет зеленый вихрь  
В борта машин дождем и ветром.

## Евгений Храмов

\* \* \*

Дед меня учил растапливать печь.  
Он дрова из сарая кряхтя приносил,  
И они  
Изо всех оставшихся сил  
Упирались, прежде чем в пламя лечь.  
Он на плашки раскалывал их, он щепал  
Для «поджожки» лучину,  
Сгребал золу.  
В этот мир я совсем из другого попал,—  
Там пощелкивал калорифер в углу,  
Там тепло текло широкой рекой,  
И невидимы были его творцы.  
Можно было потрогать тепло рукой.

Ну а здесь огонь возводил дворцы,  
И стонали, рушась в огонь, города.  
Рати в красных плащах вставали стеной,  
И светилась дедова борода  
Неопалимою купиной.

И как бог-вседержитель, держа кочергу,  
Дед судьбу раздавал из жилистых рук,  
И щенками, сползшими к очагу,  
Мы молчали,  
Внуки его,  
Вокруг.

ОКЛИКИ

Лишь первая почка, как белый налив,  
на вербе взошла, тишину остудив, —  
конь белый, конь бледный заржал у окна.  
Ах, кто мне из детства прислал скакуна?  
Копытом ударил, пробив тишину:  
— На белом седле тебя в детство верну! —  
Но только рукой потянулся к нему —  
беззвучно он канул в рассветную тьму.

Лишь стылая ветка коснулась стекла  
и нежно по травам роса потекла,  
в окно постучался скакун вороной,  
конь юности громкой примчался за мной:  
— Туда, где любил ты когда-то, верну,  
как море земле возвращает волну... —  
Но только к нему протянул я ладонь —  
в прозрачном тумане растаял мой конь.

Лишь алой зарею росу обожгло  
и клейкое в синь заструилось тепло,  
разбивши копытом беззвучную сонь,  
в пыланье явился мой розовый конь.

Как будто бы отблеск пожара в окне,  
копыта — из пламени, грива — в огне,  
багровые угли в глазницах горят,  
над гривой заря, под копытом — закат.

— За гриву цепляйся, садись на меня.  
Ты только не бойся, что я из огня,  
со мною за кромку мгновенья отчаль,  
внесу тебя в завтра, внесу тебя в даль,  
к пределу домчу я и душу твою  
из зноя, из жара тебе отолью!.. —  
Гляжу я, гляжу и не вижу коня.  
Глаза убегают за ним от меня.

Я слышу — беззвучно копыта стучат,  
без жара, без красок сгорает закат,  
без звона, без бега струятся ручьи,  
и кони умчались, как годы мои...  
Наполнившись звоном весенней земли,  
ко мне три капли, три разных пришли.  
Две первые смолкли давно у крыльца,  
а третья в груди все стучит без конца...

ВОСПОМИНАНИЯ

*М. Луконину*

Нет с памятью моею снова сладу,  
в огонь ее бросаюсь из огня.  
Берут в неотвратимую осаду  
мои воспоминания меня.

И в прошлое протянутые нити  
души своей никак не оторву.  
Прошу воспоминанья:  
— Отпустите!  
Ведь с вами я на сквозняке живу.

— Ты слаб без нас! —  
Я отвечаю: — В силе!  
— Ты нем без нас! —  
Кричу: — Громкоголос!  
Вы в душу встыли, даль мне заслонили,  
вкогtilись в мое сердце на износ...

Передо мной разворачивается драма —  
и вновь глаза засыпали мне сны:

то **видится** мне старенькая мама,  
то братья, не пришедшие с войны.

Из этих лет, как будто из укрытья,  
кричу я им, не веруя в успех:  
— Куда идете вы? Не уходите!  
Ведь столько лет не видел вас я всех...

Кричу и содрогаюсь сам от крика:  
боль памяти моей прошла по шву,  
как будто я лицом к стеклу приникнул:  
гляжу-гляжу и глаз не оторву!

Гляжу-гляжу неотвратимо в стылость  
из теплого, дневного бытия  
и чувствую:  
во мне соединились  
и мать, и братья, и мои друзья.  
Мои воспоминанья как стихия,  
я в них горю — и не сгорю дотла.  
Пока я жив —  
они во мне живые,  
как Волга, что сквозь сердце протекла.

\* \* \*

Льется мир в глаза мои и уши,  
память **бороня**.  
День переливается грядущий  
медленно в меня.  
Все обиды, все сомненья стихли,  
сплыли под уклон.  
Кажется, что я живу на стыке  
сдвинутых времен.  
Наступает возраст **високосный**,  
радость мою для.  
Наполняюсь силой **светоносной**  
будущего дня.

Чувствую, себя надеждой грея,  
радость затая:  
вытекает будущее время  
из небытия...  
Словно дрожь, бегущая по ниве,  
я к земле приник.  
Что же, что же в этом переливе:  
вечность или миг?  
Говорю я прошлому:  
— **Рассейся!**..—  
Вдаль мечты стремя,  
отпустил разведчиком я сердце  
впереди себя!

## *Феликс Чуев*

### ВЛАДИМИРСКИЙ УСПЕНСКИЙ СОБОР

Выс́око уносится слово,  
как птица, под купол, из тьмы.  
Все выше к Андрею Рублеву  
на свет подымаемся мы.

Занозы впиваются в пальцы,  
ступени сосново скрипят,  
но мы доросли, чтоб подняться  
вперед — на столетья назад.

Фонарь электрический брызнул  
по копоту серой стены,  
где ныне для завтрашней жизни  
славянства черты спасены.

Мы долго и странно глядели  
в глаза позабытых святых,  
как будто: «Да в чем же тут дело?» —  
пытались дознаться у них.

Добры и к боренью готовы,  
мы молча их благодарим  
за то, что вплотную к Рублеву  
на лестнице шаткой стоим.

Они потому и святые,  
что дерзко их вывел на свет  
избранник и отрок России,  
святое которой и нет.

## Олег Чухонцев

\* \* \*

Я просыпаюсь, чтоб заснуть,  
И сплю, чтоб вечно просыпаться.

К. В., 1853

Как табак доставал, да кальян набивал,  
да колечки пускал в потолок.  
На атласе курил, по шелку рассыпал  
кучерявый со сна хохолок.

То ли птахой сновал, то ли носом клевал  
на подушках да пуховиках.  
— Где ты, батюшка, спал, где лежал-почивал?  
— В облаках,— говорит,— в облаках.

А как вышел табак, да потерялся атлас,  
да беспечный развеялся дух,  
глянул: солнце колбм — а пустыня для глаз:  
то ли свет, то ли разум потух.

Видит: в тучах просвет — ан могильный провал,  
видит: ангел — ан черви в глазах.  
— Где ты, Батюшков, был, где всю жизнь пропадал?  
— В небесах,— говорит,— в небесах.

## Юрий Шавырин

\* \* \*

Билась в окнах вагона звезда,  
Плыл каленых подсолнухов запах.  
Уносили меня поезда  
Из морозной Сибири  
На запад.

А навстречу — поля, города,  
Перелески, мосты, полустанки.  
Поезда, поезда, поезда...  
На платформах разбитые танки.

Скучно долг отдавала война  
Искореженным в битвах металлом.  
И его принимала страна,

‡

Обновляя в мартенах Урала.  
Я, попавший в солдатский вагон,  
Обживая разборную лавку,  
Деревенский —  
Сапог сапогом —  
На иную катил  
Переплавку.

Я не ведал, что ждет впереди,  
Только верил: звезда не обманет!

Если в дальние дали потянет,  
Ты, сынок мой, не бойся,  
Иди.



## Николай Шумаков

### СЕЛО ШУМАКОВО

Есть своя деревенька  
У счастливица, меня,  
Где синицыно теньканье,  
Где мой дом и родня.

Где всегда неизменной  
Остается земля,  
Где ручьи, словно вены,  
Питают поля.

Где под каждым окошком —  
Жасмин и сирень,  
Где страдает гармошка  
И смеется свирель.

И душа моя помнит:  
Я — кленовый листок...  
...Там живут мои корни —  
Мой глубинный исток.

### ПОЛОСА

Все реже, реже  
Звон гармошки.  
И песен русских не слышать.  
И Ваньки, Петьки и Тимошки  
Уходят в город покупать  
Магнитофоны и гитары,  
Певцов заморских голоса.  
А дед с улыбкой мне гутарит:  
«Пройдет и эта полоса!..»

## Игорь Шкляревский

\* \* \*

Утро летнего дня в небольшом городке.  
Серебристая рябь на широкой реке...

Под железным мостом товарняк громыкает.  
Теплый воздух меня по ногам ударяет.

Дунаевского марши звучат со столба.  
Тихо в школьном дворе зазвенела труба.

И в поход! На уборку колхозного сада.  
Легким шелком мне щеки ласкает прохлада.

Стройся! Смирно! Вперед! Затрясло барабан.  
Мать догонит и гривенник сунет в карман.

Ничего не пойму. Только буквы над нами:  
Восстановим наш город своими руками!

Только быстрая рябь на широкой реке.  
Только легкое пламя на детской щеке.

## МОГИЛЕВСКАЯ ЗЕМЛЯ

Я из болот. «Гостей» они хватали —  
солдат за ноги,  
пушки за колеса.  
Я из лесов. Леса мои стреляли:  
с развилки — дуб,  
из-под корней — береза.  
Не в сорок пятом  
и не в сорок третьем,  
а в сорок первом мужики и дети  
ушли в лясы.  
А наши горожане  
«гостей» душили, били их ножами.  
А девушки гуляли с ними, пили...  
Карпинская<sup>1</sup> плясала в ресторане,  
потом «дружки»  
бумаг не находили  
и допивали смерть свою в стакане.  
А только песня в жите зазвучала,  
и ночью говор  
долетел до Брянска,  
ты слышал в нем  
забытое начало.  
В земле болот не высох корень братства!  
А с матерью пойду я за груздями,  
Ау! — звенит небесными путями:  
Уа... — ответит эхо из оврага.  
Хруст под ногой — заржавленная фляга...

<sup>1</sup> Татьяна Карпинская — могилевская подпольщица, Герой Советского Союза, погибла.

\* \* \*

Свет одинокий в поле.  
Трактор сломался, что ли?  
И тракторист ночует.  
Доски облил соляркой,  
с гулом рванулось пламя,  
дым повалил густой.  
И со звездой яркой  
он в поле сидит один.

Жаром лицо пылает,  
а в спину уперся холод.  
Надо спиной к огню.  
Только уж лучше так,  
чтоб не лицом во мрак.  
Курит. Печет картошку.  
Тоскливо ему на воле.  
Утро еще не скоро.  
Свет одинокий в поле...

## НА КУРГАНЕ

Пахнут полынью былины.  
Ржавчиной вытек из глины  
князя Владимира меч.

Плавают солнце в тумане.  
Вечность сховала в кургане  
головы, сбитые с плеч.

В воздухе что-то осталось,  
чибиса тихая жалость,  
взглядов молитвенных синь...

Листья в днепровские плесы  
сыплют с кургана березы,  
ветер колышет ковыль.

## БЕЛЫЙ СТАРИК

За Днепром на гороховом поле  
повстречался мне белый старик.  
Я спешил и вопроса не понял.  
Он уздечкой тряхнул и поник.

Я у старой запруды рыбачил.  
Появился старик за спиной.  
— Ты коней моих, часом, не бачил?  
Один серый, другой вороной...

Я лугами домой возвращался,  
и опять мне старик повстречался.

Жук ползет по запавшей щеке,  
и уздечка трясется в руке...

Ослабел его разум с годами.  
В доме нет ни жены, ни детей.  
Он все ходит и ходит полями.  
И все ищет, все ищет коней.

Постоит над безоблачной речкой,  
потрясет допотопной уздечкой.  
И ответ не дослушает мой.  
— Один серый, другой вороной...

## Людмила Щипахина

### СЛАВЯНСКИЙ ПРАЗДНИК

В Болгарии отмечается праздник  
славянской письменности — День Ки-  
рилла и Мефодия.

Пляшут старые танцы  
Родопские парни.  
Громят оркестры  
В Добрудже и Варне.  
Рук сплетенье  
И душ вековое слиянье.  
Поздравляю вас с праздником,  
Братья славяне!

Пляшут горы и реки,  
Людей окружая.  
В тучных землях — покой  
И залог урожая.  
Дух горячих жаровен  
И крепость сливянки.  
Поздравляю вас с праздником,  
Сестры славянки!

Никаким сверхзначеньем  
Наш род не отмечен.  
Просто стоек и щедр  
И поэтому — вечен.  
Ни враги, ни стихии  
Его не сломали.  
Поздравляю вас с праздником,  
Братья славяне!

Наши древние сохи  
Европу пахали.  
С появлением нашим  
Раздоры стихали.  
Кто с добром приходил,  
Не лукавя словами,  
С тем на вечные веки  
Братались славяне.

Шовинизму ничтожному  
Искони чужды.  
К людям мира — любовь  
Наше высшее чувство.  
Что ему времена,  
Языки, расстоянья?  
А в любви, как в бою,  
Не изменят славяне.

Впрочем, что расточать  
Похвалы понапрасну!  
Просто нынче в Болгарии  
Азбучный праздник,  
Где у книжных истоков  
На общей поляне  
Раз в году собираются  
Братья славяне.

III







Друзья, пируйте! Жизнь одна.  
И пусть грустит судьба.  
А вековые погребя  
Полны, полны вина.

Там бродит время, как вино  
В бочонках взаперти.  
Пусть же нас не ждет оно,  
Ведь нам его не пить.

Но молодость иных веков  
Найдет наверняка  
Во тьме забытых погребов  
Забывшие века.

И будет вечно длиться смех  
За праздничным столом,  
Кружить листва, и падать снег,  
И время течь вином.

## Гатьяна Бек

### ТКАЧ

Мою судьбу из несуровых ниток,  
Где серых и коричневых избыток  
И лишь один узор до боли ал,  
Наполовину ткач уже соткал.

Разглаживать ее рукою стану  
И засмеюсь: «Ну, наработал спьяну!»

\* \* \*

Я люблю тебя, разлука!  
Принесу сегодня с луга  
Сорняков букет.  
Сяду на сундук — услышу:  
Желуди стучат о крышу,  
И разлуки — нет.

### ДЕРЕВО НА КРЫШЕ

Ты — дерево, растущее на крыше.  
Ты слабосильнее, кривее, ниже  
Обыкновенных, истинных. Они же  
Мнят, будто ты — надменнее и выше.

Они в земле могучими корнями,  
Как ржавыми морскими якорями.

Пусть, пусть он дурень и кустарь --  
Изделие единственно, как встарь.

Я —  
слышите! —

не сетую нимало  
На то, что мне такое перепало.  
Не половик, не скатерть, не платок,  
А этот — мой, и только — лоскуток.

Это хутор  
Вдруг распутал  
Спутанную нить.  
Жесткий веник,  
Жидкий вереск...  
Можно — дальше — жить!

А ты дрожишь на цыпочках над ними —  
Желанными, родными, неродными...

И не в земле, и до небес далеко.  
И слышится: «Мне очень одиноко!» —  
Заброшенному чудом в эту щелку...  
Лишь ветер треплет рыженькую челку.





ПШЕНИЦА

Ему приказали пшеницу поджечь:  
— Отходим, и ты не копайся!..—  
Уже в трех шагах чужеземная речь,  
А спички ломаются в пальцах.  
Коснулся лица налитой колосок  
И мирной страдою повеял.  
Но хрустнул истертый пустой коробок,  
Солдату напомнив про время.  
Стучало в висках: «Не могу! Не могу!»  
И мысли нахлынули разом:  
«Отдать это полное поле врагу?  
А как же, а как же с приказом?!»  
Прорваться к отряду еще бы успел,—  
Он знал, где укрылись ребята.

Но сердцем крестьянина хлеб пожалел,  
И щелкнул затвор автомата.  
Прицельный огонь полоснул по цепи  
Идущих в атаку фашистов...  
Прости, командир, он родился в степи  
И в чувстве своем не ошибся.  
Оно было выше, чем страх и чем риск,—  
К земле неизбывное чувство.  
Когда неожиданно выдохся диск,  
Солдат на секунду очнулся.  
И жадное пламя взметнулось над ним,  
И рвал его ветер на клочья.  
И черное солнце глядело сквозь дым,  
Как падали молча колосья...

ЗЕМЛЯ

Село будили властные приклады,  
Овчарок лай. Свирепые пивки.  
На станции седьмые сутки кряду  
Людей шатали грузные мешки.  
Их наполняли тут же, на перроне,  
Кубанской теплой, тучною землей.  
А на нее, самой России кроме,  
И права не имел никто другой.  
Земля обратно сыпалась в прорехи,  
Как будто не хотела уезжать.  
Как будто знала, что на фермах рейха  
В чужом краю придется ей лежать.  
Земля, земля! Кормилица! Родная!  
Везли тебя в глухих товарняках.

На остановках пломбы проверяя,  
Курили часовые впопыхах.  
И озирались каждый раз по-волчьи  
У тех вагонов, где жила земля.  
И пахла ты для них могильной ночью,  
Как фронтовые русские поля.  
Ведь в той земле немало русской крови  
И русский дух, разящий как стрела.  
И на нее, самой России кроме,  
Прав не имела ни одна страна.  
Земля в реестры заносилась, в списки,  
На марки продавалась. Но она  
По-прежнему была землей российской,  
И в ней всходили наши семена!

НА ПИСКАРЕВСКОМ КЛАДБИЩЕ

Из разных краев приезжают сюда:  
Из Омска, из Тулы, из Гродно.  
И флаг Государственный здесь навсегда  
Приспущен в знак скорби народной.  
Не ветер, а Время колышет его.  
Всего на граните не высечь...  
Из рода тут нет у меня никого,  
Из близких —  
Четыреста тысяч.

## Лев Болеславский

### СЛОВА

До речи родимой дотронусь —  
И музыка на сто ладов!  
Весеннее слово — влюбленность.  
А есть еще краше — любовь.

Мне дороги рукопожатья,  
Приветы и встречи вокруг.  
Веселое слово — приятель,  
А есть еще радостней — друг.

Бежит под зеленой косынкой  
И хочет из чащи свернуть  
Укромное слово — тропинка,  
Но слово просторное — путь.

В рабочем нетихнущем гуде  
Я слышу, как Завтра встает.  
Есть слово высокое — люди,  
А есть еще выше — народ.

## Александр Булавин

\* \* \*

Идешь из сумрачного бора,  
Устал, и все вокруг немило.  
И птицы крик звучит укором,  
Отталкивает, что манило.

Но вот заросшая дорога,  
И светлой радости рожденье.  
Идти теперь совсем немного,  
В душе покой и просветленье.

Деревья сильно поредели,  
Вдали уже родная воля,  
И на тебя сквозь ветки ели  
Глядит задумчивое поле.

## Игорь Волин

\* \* \*

Поднимался ни свет ни заря.  
Пил из крана холодную воду.  
Этой осенью, видно, не зря  
обещали сухую погоду.

Жгли костры на бульварах —  
и дым  
обнаруживал зону сгоранья.  
...Был жестоким  
и был молодым —  
не бессмертья хотел, а признанья.

Между тем приближался момент.  
Выползали трамваи из парка.  
Разносил телеграммы студент.  
Начиналась дневная запарка.

И ничто ни души, ни ума  
не смущало,  
когда без боязни  
все давалось за так,  
задарма —  
как по чьей-то случайной приязни.

## Владимир Вишневский

### ВОСПОМИНАНИЕ О ПЕРВОЙ РАБОТЕ

Мой товарищ, что старше на сорок без малого...  
Ежедневная радость была у меня —  
Пожимать твою руку большую беспалую,  
Пожимать осторожно своими двумя.

Утро каждое — рукопожатьем отмечено!..  
Знаю я: навсегда помогло это мне —  
То, что день трудовой начинался в Отечестве  
Приращеньем Отечественной войне.

## Николай Горохов

### КРАСНЫЕ ВСАДНИКИ

*Первым комсомольцам  
Заволжья — посвящается*

Над золотом крыш, колоколен —  
в вечерней игре облаков —  
увиджу, как красные кони  
безмолвных несут седоков.  
По темной небесной равнине,  
над Красной Москвою горя,—  
лавиная летит за лавиной  
на жестком ветру Октября.  
Туда, где рабочие бьются  
за счастье людей на земле,—  
Корчагины всех революций  
спешат молчаливо в седле.  
И мчатся ночными полями,  
где месяц от ветра продрог.  
И многие в битве полягут  
на травы у пыльных дорог.  
Земля наша тем и похожа  
на нас в быстротечности дней —  
сама она в вечном походе  
за лучшую долю людей..

## Жанна Гречуха

### БЕЛЫЕ КРЫЛА

Я с тобою все забыла,  
И моря, и города,  
Никуда я не поеду,  
Не поеду никуда.

Я про замки позабыла,  
Про залетных журавлей,  
Про Царевну-Несмеяну  
И охотничьих людей.

Про шутов и скоморохов,  
Про часовни и мосты,  
И ни плача, и ни вздохов...  
Не хочу я высоты!

Ничего-то мне не надо,  
Ничего я не хочу:  
Я из дома, я из сада  
Никуда не улечу.

Буду верною женою,  
Буду хлеб тебе печи,  
Утром ранним за водою  
Родниковую идти.

На расшитом полотенце  
Угощенье подавать,  
Веселить тебя, и тешить,  
И с поклоном провожать.

Я с тобою всех забыла,  
Никого я не ждала.  
Старой хвоей я укрыла  
Свои белые крыла.

Каждый вечер прихожу,  
На те перышки гляжу...  
Ох, удержишь ли меня  
До неведомого дня?!

## Лидия Григорьева

\* \* \*

Я помню ковер  
над кроватью у бабушки Груни:  
дивчина и хлопец,  
понуривший голову конь,  
меж ними глубокий,  
окутанный тенью колодец,  
и все освещает  
неяркий вечерний огонь.

Я помню, как в детстве  
тревожила и донимала  
неведомой страсти  
заманчиво близкая весть,  
и я с замиранием  
детской души — понимала,  
что это разлука,  
и трудно ее перенести.

## Лорина Дымова

### ЖИЛ ОДИН ХУДОЖНИК...

*Памяти Виктора Попкова*

Слушай,  
жил один художник —  
тих и нелюдим.  
Было странно и тревожно  
людям рядом с ним...

Жаль, что ты его не встретил  
и не полюбил.  
Нет его уже на свете,  
а недавно был.

Краток век и трудно прожит —  
но кого винить?  
Никогда уже не сможет  
он нам объяснить,

почему у этих линий  
завершенья нет,  
чем тревожит этот синий,  
невозможный цвет?

Почему на лампы отблеск  
смотришь, чуть дыша?  
Сколько раз меняла облик  
у него душа!

То была она вдовою  
в северной избе,  
то звездю, то травюю  
в лунном серебре.

Над рекой, что вьется лентой,  
песнею плыла.  
Ах, душа, душа,  
да кем ты  
только не была!

Белой птицей, легкой тенью  
и весенним днем.  
А теперь она меж теми,  
кто грустит о нем...

## Юрий Дудин

### О ДРУГЕ

Врачам — спасибо, выжил.  
Но все живет войной —  
Ему еще не вышел  
Приказ оставить строй.

Забыв о всяких сроках  
И отдыхе ночном,  
Он все еще в окопах  
Под навесным огнем.

И хоть уж все спокойно,  
Но там, в огне атак  
Последняя обойма,  
Проклятая обойма  
Не кончится  
Никак...

ВОСПОМИНАНИЕ О ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ  
СТАНЦИИ БИРА

Который год блуждаю в той земле,  
Где шиферные крыши остывают,  
Где уж с трудом в иголку нить вдевают  
И зябнут даже в лето во дворе.

Я по железным проношусь мостам  
В поселок на ветрах и на оврагах,  
И тихо плачу, как вода в корягах,  
И кланяюсь протокам и звездам.

Вот магазин сельпо и детский дом  
На площади, где братская могила...  
О, это здесь я босиком ходила  
И рисовала на земле гвоздем.

А к станции сходиллся иван-чай,  
Печеньё «хворост» стряпали в буфете.

Я мыслила прославить отчий край  
Стихом и прозой в областной газете...

Уже кого любила — позабыла,  
А твердо помню крышу, и забор,  
И тротуар. И в самом центре мира —  
Пчелосовхоз, лесхоз и конный двор.

Встань, старая, хорошая моя,  
За шторками на рыболовных лесках.  
Зачем я сквозь ресницы на тебя  
Гляжу, словно сквозь мокрый перелесок?

Вон и картофель во поле цветет,  
И радио поет, и день воскресный,  
А в небесах заиндевелый крестик —  
Летит и улетает самолет.

\* \* \*

Отверху донизу, от глиняных ветров  
До солнечного на горе погоста,  
От старой бани — до коровьих троп,  
До низких, заболоченных покосов —

Люблю.

Закроют сени на засов;  
Уже давно хозяин занедужил...  
Подтянут на ночь гирьку у часов,  
На тихой плитке разогреют ужин.

Вот и накормлен развеселый пес  
Остатками растительных продуктов.  
Так отдаленно, будто бы со звезд,  
Отговорил вечерний репродуктор.

Плыви, мой деревянный, тихий флот,  
По глинистой, сухой, взрыхленной почве.  
Как старый капитан ночных широт,  
Телеграфистка бодрствует на почте.

Из дальних, из заоблачных краев  
Что напишу на клетчатом листочке?  
Что нынче посадила я морковь,  
Махровый мак посеяла для дочки.

\* \* \*

Над Вологдою северные ветры  
Раскачивают галочки жилища  
И до полуночи не умолкает  
Несметных стай тревожный переклик.  
Как пасмурно... Сквозь снег вода сочится,  
И окна поликлиники черны,  
И только ненаглядный храм Софии  
На косогоре борется со мглою...  
В какую осень, ах, в какую осень  
Причаливал поэт, погибший ныне,  
На мгlistый берег родины своей.  
И девочка в заштопанной кофтенке  
Несла из магазина сетку с хлебом,  
И двигался старинный пароход,  
Играющий «Прощание славянки»...  
Все та же на наличниках резьба  
И тот же деревянный дебаркадер,  
И списанные на берег матросы  
По-прежнему толпятся у ларьков.  
...Здесь, в каменном, пустом особняке,  
Нашел себе пристанище художник,  
И я спросила, тихо засмеявшись:  
«Ты чо это со мной содеял, парень?»  
И эти бедные родные пальцы  
Поцеловала... Древняя столица,  
Прости меня, я баба, азиатка,  
Зелеными угрюмыми глазами  
Вбирающая все вокруг без спроса.  
Прошу тебя, пресветлая София,  
Ты забери взамен, что пожелаешь,  
И только речь мою, лишь только речь оставь  
И этого отдай мне человека,  
Чтобы вовек дышать с ним талым снегом,  
Стирать его суровые рубахи  
И на спине нести, коль ослабеет.

## *Иван Завражин*

\* \* \*

Не отменишь солдату  
последний отбой  
ни больничной палатой,  
ни сыновней мольбой.  
И — в родную, сырую —  
тех, кто шел по войне,  
время расквартирует  
на иной стороне.  
Как на давней заставе  
у туманной реки,

снова в полном составе  
батальоны, полки.  
На холодном рассвете  
тревога в груди.  
Ну а смерть и бессмертье —  
все еще впереди.  
Ни беды, ни награды,  
ни заслуг, ни вины...  
Кто — у сельской ограды,  
кто — у главной стены.

\* \* \*

Как будто вновь: в проем оконный —  
прогорклый дым далеких дней.  
Послевоенные вагоны,  
начало памяти моей.  
Казалось,  
торжества и беды  
подняли разом всю страну,  
и люди к людям  
едут, едут,  
натосковавшись за войну.  
Покуда жив, храню деталл,  
приметы времени того.  
Что ни солдат —  
то весь в медалях,  
как ныне в знаках ГТО.  
Вагон выбрасывал с подножки  
десант на станции лесной,  
и все купе кормил морошкой  
нетрезвый мичман отпускной.  
То чаем грелись, то беседой,  
то спали впрок,  
коль случай дан,  
то выявляли ум соседа,  
стуча тузом о чемодан.  
Прости им  
те издержки быта,  
в упреке позднем не спеша,  
но удивись, что все открыта  
неочерствевшая душа,  
что, преисполняясь боли жгучей,  
неколебима в доброте.  
Все общее —  
вагон, и участь,  
и долгой ночью плач детей,  
и дрожь в продутом эшелоне,  
и скорбь, и память впереди,  
и страшный промысел гармони  
у инвалида на груди.  
Шатайся, ветхое жилище,  
сквози дымами из прорех.  
А за стеною — пепелища  
одни на всех,  
одни на всех.  
Ты что украдкой вытер веки?  
Окно застывшее рвани.  
На нем, как и на трехлинейке,  
суровой выделки ремни.  
Взаем, по карточкам, на норме  
тобой держава устоит.  
И всех калек своих —  
прокормит.  
И всех сирот —  
усыновит.



## БАНДУРИСТ

Многодумным отделом культуры  
не ученный за массою дел,  
древний старец  
с потертой бандурой,  
он в те годы по ярмаркам пел.  
Но негордое то пропитанье  
не пятнало собой ремесла.  
Горько веки его трепетали,  
и высокою мука была.  
Кто из нас  
упрекнуть его вправе  
за зеленые те медяки!  
Он несметно богат.  
Он — Державин  
по неистой силе строки.  
В колыханье базарного шума,  
мудрой дланью по струнам скользя,  
пел он «Думу»,—  
вы слышите, «Думу»!  
В нашем деле без думы —  
нельзя.  
С тенью памяти тысячелетней  
на высоком и скорбном челе —  
кто поручится, что не последний —  
бандурист этот был на земле.  
Или он в рокотании бури  
потому и не мог помирать,  
что тревожился  
литературе  
бремя слова  
одной — доверять.

## ПЕСЕНКА

Хочешь, я тебе спою  
про неподлинность мою.

— Умру, упаду  
перед милым во саду.  
Потом встану погляжу,  
хорошо ли я лежу...

Те же самые грехи  
губят лирикам стихи:  
отстрадать — возратить,  
точно дубль прокрутить.  
...А тайком все слежу,  
хорошо ли я лежу...  
Но меж трав да берез  
жить — однажды,  
жить — всерьез,  
жить, судьбу не губя  
той оглядкой на себя.

И когда упаду —  
не слукавлю, не приду.  
Но пребудет жива  
та холодная трава.  
Будут вишни висеть,  
запотелые, в росе.  
Будет стыть, не пыля,  
комковатая земля.

Хорошо ли я лежу?  
Да,  
легко мне лежать.  
Брось нам проса на межу,  
станут птицы прилетать.  
Умру, упаду,  
отпоют — будут петь.  
Может, все-таки приду  
на застолье посмотреть...  
милой слезы утереть.

ПРЕДЗИМЬЕ

Поле зеленое, снегом беленное,—  
озимь!  
Корки печеной картошки буреют в золе.  
Все, что могла, отдала, отработала осень.  
Каждому б так свое время прожить на земле.  
Нет, не отходит ко сну в этот месяц природа,  
не обмирает от близости вьюжных плетей.  
Просто под ветром без шубы пушистой продрогла  
и притомилась под грузом плодов и сетей.  
Утром проселки звенящею жестью подбиты.  
Блещет слюда на соломе нахохленных скирд.  
Плотно причален долбленный челнок у ракиты,  
листьями заводь пестреет — и тоже не спит.  
Кружат безмолвные белые пчелы и осы,  
землю скрывая, как свежие стружки — верстак.  
Не оттого ль так пронзительно, пьяно и остро  
пахнет сегодня в грибных и в брусничных местах!  
Не оттого ли  
в преддверье высокого снега  
бродит в полях предвесенний разливчатый свет...  
Лошадь кудлатая, цокая, тянет телегу  
с кромки асфальта на рубчатый тракторный след.

\* \* \*

Я так люблю московскую весну,  
когда она зашла за середину.  
Из-под земли, как рыба на блесну,  
летит состав. И каждую сосну  
вдоль кольцевой озоном зарядили.

И даже на двадцатом этаже,  
где грохот улиц вязнет в поролоне,  
открыл окно — и ощутил уже,  
что в мире все живет на переломе,  
на перелете и на вираже.

Земля еще сыра, не отдышалась,  
и тело от зимы не отошло.  
Но кровь стучит, как по воде весло,  
и видишь землю сквозь любовь и жалость  
и сквозь дождем промытое стекло.

В такие дни отчаянно и зорко  
судьбу предугадаешь между строк.  
В такие дни задумал — значит, смог!  
И каждый день — зеленый стебелек,  
что проломил асфальтовую корку.

В НАЧАЛЕ МАРТА

Как тверд чернозем на холодном рассвете  
Бесснежную, ранней весенней порой!  
Набросил мороз серебристые сети  
На озимь, дорогу и стан полевой.  
И крик петуха под соломенной крышей  
Летит, перекатываясь, на поля,  
Стучится о землю все жалобней, тише —  
И вдруг превращается в крик журавля!

НЕМАЯ СЦЕНА

Начальник стройки. Рядом — бригадир.  
За ними кран свою стрелу возвысил  
И замер так, как будто целый мир  
От разговора этого зависел.

А стройка шла обычным чередом:  
Там рыли яму, там варили битум,  
И вдалеке, где строят новый дом,  
Плита торчала с уголком отбитым...

Слегка кружил ленивый первый снег.  
Над ними со значением серьезным

Переплелись — не развязать вовек —  
Дым сигаретный с дымом папиросным.

Вот, кажется, решение нашли, —  
И мир вздохнул спокойный, облегченный.  
Они прошли туда, куда везли  
Кирпич румяный, свежеспеченный,  
Асфальт горячий и сырой раствор.

Лишь брошенные, будто бы в согласье,  
Огнем к огню, «Памир» и «Беломор»  
Немного подымили — и погасли...

СОПРОМАТ

Помню: замшелая сырость подвала.  
Ручка. Бумага. Немного огня.  
Соппротивление материала.  
Это совсем доконает меня.

Сердце на взводе, хотя и не плачет.  
Очи мне выел табачный дым.  
Кажется мне — кто-то рад неудаче,  
Кто-то глумится над горем моим,  
Чудится мне, будто кто-то хохочет...

Ручка. Бумага. Немного огня.  
Долгие ночи... Тяжелые ночи!  
Кто-то ведь где-то ведь любит меня!

Что ж ты не близись, добрый мой  
кто-то?

Лучшие чувства я не растерял.  
Жизнь продолжается. Столько работы!  
Соппротивляется материал...

УРАЛЬСКИЙ ГОРОДОК

Здесь в копоти черной заборы.  
Труба заводская и дым.  
Истертые, древние горы —  
Копейск. Алапаевск. Кыштым.

Здесь скалы и чащи глухие  
и проблеск озерный, живой...  
Глубинка, основа России,  
России хребет становой.

Живет городишко в заботе,  
прекрасен на вид и на слух.  
И молот стучит на заводе,  
кричит в огороде петух.

\* \* \*

Свет полуденный, декабрьский,  
истонченный за год свет...  
Для души моей лекарства  
лучше не было и нет.

Неба синего осколки.  
След пугливого зверья.

Свет чуть розовый, чуть желтый —  
из другого бытия.

Свет чуть розовый, чуть желтый.  
Тусклый, нежный колорит...  
Невсамделишные елки.  
Тишь. Сугроб. Снегирь горит.

\* \* \*

Кресло-качалка. Гамак.  
Тихая дачная сонь.  
Грядка, куртинка и мак —  
радости стойкий огонь.

Бабочки. Мухи. Шмели.  
Сына смешной голосок.  
Здесь, в закоулке земли,  
счастье пустило росток.

Только качанье берез,  
только сверканье росы...  
Кроме кукушкиных слез,  
тут и не сыщешь слезы.

## Надежда Кондакова

\* \* \*

Смеялась, как лесная птица,  
С ладони ягоды брала.  
Была родной сестрой синицы,  
Тебе сестрою не была.

И плакала, как плачут дети,  
Без объяснения и зла.  
Была сестрою всех на свете,  
Тебе сестрою не была.

\* \* \*

В золотой копилке лета  
Все растрчено до дна:  
Ни тепла уже, ни света,  
Ни счастливого билета —  
Нежность только лишь одна.

И над жизнью, гнущей, битой,  
Надо всем, что не сбылось,  
Слезы — нежности избыток,  
А не горечь и не злость.

Надо всем, что было мило,  
Что теперь еще милей,  
Сердце — самый легкокрылый,  
Маленький из журавлей.

На земле, где больше света,  
Чем обиды и беды,  
В золотой копилке лета,  
Только нежностью согреты,  
Живы вы — душа и ты.

## Алексей Королев

### ОСЕНЬ

1

Две недели шли дожди,  
две недели моросили  
в перелеске посреди  
средней полосы России.

Лили как из решета,  
моросили как из сита...  
Поздней осени цвета  
на живую нитку шиты.

Все дороги развезло,  
как нарочно, спозаранку.  
Все проселки, как назло,  
вывернуло наизнанку.

Зрелости на рубеже  
на досадную помеху

не могу пенять уже.  
Слава богу, мне не к спеху.

За падением листа  
я слежу с такой тоскою,  
словно совесть нечиста,  
и сума моя пуста,  
и беспамятство клюкою  
мне грозит из-за куста.

2

А осень уронила на порог  
багряный плащ и ясеневый посох,  
как только ветер вымок и продрог  
в кустах, растущих около дорог,  
от изморози и росы белесых, —  
и ствол сосны согнул в бараний рог.

## Альберт Кравцов

\* \* \*

Над Магистральным вечереет,  
и зажигаются костры.  
Огонь мои ладони греет,  
и язычки его — остры.

Они покалывают кожу,  
тепло по жилам — красота!  
Сижу, молчальник, жизнь итожу,  
душа печальна и чиста.

Случалось: радости, потери,  
любовь такая — жизнь отдашь!  
Без отклика... По крайней мере,  
любовь была, не просто блажь.

От самого себя умчался  
на БАМ, вот к этому костру,  
а тот, не признанный, остался,  
обиженный — не ко двору!

А я, уехавший, доволен  
тайгою, ревом тракторов,  
доволен тем, что молод, волен,  
с парнями греюсь у костров.

Я обойдусь без черствых писем  
и равнодушных телеграмм  
в краю борьбы и добрых песен,  
в краю мечты, доступной нам!

## Диомид Костюрин

### ЗАВОД «СЕРП И МОЛОТ»

Завод «Серп и молот», ты звался заводом Гужона —  
В гражданку разрушенный, лютой зимой опаленный,  
Дышал ты когда-то едва, еле-еле, почти незаметно,  
Как голод, разбитые окна глядели бесцветно.  
Заводом в ту пору ты звался скорее условно:  
Зияли цеха, и мартены молчали бескровно.  
Разбитые печи безмолвно стояли...  
Поколот кирпич...  
А страна задыхалась без стали.  
Страна, задыхаясь, искала свой путь напряженно...  
Завод «Серп и молот», ты звался заводом Гужона,  
Когда, кончив смену, обветренным вечером мгlistым,  
Из цеха домой не ушли двадцать пять коммунистов,  
А с ними осталась еще комсомольцев бригада.  
Сначала казалось, что нету с усталостью слада,  
А после, а после открылось второе дыхание.  
Никто не давал им, конечно, такое задание —  
Работать в три смены, ни дней, ни ночей не считая,  
Без света, на ощупь кирпич к кирпичу подгоняя.  
Голодные, потные, в холоде долгом и прочном,  
Они и не взяли бы платы за труд этот свой сверхурочный,  
За стертые плечи, за сбитые до крови руки,  
За длинные сутки с семьей добровольной разлуки,  
Что каждые можно приравнять к целой неделе.  
Но жестким упорством глаза молодые глядели...  
И пели они, и смеялись они, и шутили —  
Заводу здоровье вернуть оказалось в их силе.



## Игорь Ляпин

\* \* \*

Ельник, рошица, речка, поле.  
Дети в пойме плетут венки.  
Береги, Москва, Подмосковье,  
Свет очей своих береги.

Через поле до леса стежки,  
Ветерок потянул — и стих.  
У мальчишек полны лукошки, —  
Кто сегодня счастливей их?

А над речкою-невеличкой,  
От волнения трепеща,  
Твой профессор подсек плотвичку,  
Твой таксист зацепил леща.

\* \* \*

— А помнишь? Вспомни!  
Помнишь? Вспомни!  
Неспешно вдоль Москвы-реки  
С цветами радости и боли  
Опять идут фронтовики.

И снова:  
— Помнишь, помнишь?  
— Помню!  
Да как не помнить жизнь свою,  
И вновь они от боя к бою  
И под огнем, и по огню

Идут — народ простой и резкий —  
В пороховой крошечной мгле  
То по родной своей — советской,  
То по чужой совсем земле.

Опять их молодость живая  
На тех дорогах фронтовых,  
Которым ни конца ни края.  
И я смотрю на праздник их,

На самый главный,  
самый кровный,  
Вместивший путь пороховой.  
От самой первой похоронной  
И до салюта над страной.  
Их меньше,  
меньше с каждой встречей.  
И головы их все белей.

Там родник, там рябины кисти.  
Здесь тяжелого лося след.  
Вот букет из кленовых листьев,  
Вот цветов полевых букет.

Потому, что здесь сеют, пашут,  
В лес и в поле идут с добром, —  
Все твои электрички пахнут  
Небом, солнцем, грибным дождем.

Оглядишься — земля, приволье.  
Конь стреноженный мягко ржет.  
Сбереги, Москва, Подмосковье —  
И оно тебя сбережет.

Не лечит время ран.  
Не лечит —  
Они чем дальше, тем больней.

А годы, годы, как на марше,  
Идут с рассветной стороны.  
Уже и мы теперь постарше  
Их, возвращавшихся с войны.

Нам помнить это возвращенье  
До самых-самых наших дней.  
И полковых оркестров рвенье,  
Огонь медалей, скрип ремней.

Они немного красовались  
И нам, тогдашним пацанам,  
Таковыми дядьками казались,  
С такою силой — я те дам!

От их наград лучами било,  
Был самокруток едок дым.  
А им тогда по двадцать было,  
Ну, пусть по двадцать с небольшим.

— А помнишь? Вспомни!  
Помнишь? Вспомни!  
Неспешно вдоль Москвы-реки  
С цветами радости и боли  
Идут, идут фронтовики.







Ах, дурак я, дурак стоеросовый,  
Сердце глупое —  
Да на ладонь.  
Надо было, дымя папиросою,  
Развернуть-раззадорить гармонию.  
И частушками,  
И припевками  
На крутом берегу реки  
Так любезничать бойко с девками,  
Чтоб побрякивали мужики,  
Чтобы ты, царевна-красавица,  
Каблучками чеканя дробь,

Громко спела: «Мне больно нравится  
Ваша больно большая любовь...»  
Чтоб жених твой многозначительно  
Подмигнул своему дружку...  
Только парень я  
Необщительный —  
Чертов ворон на черном суку.  
Ровно катится речка черная.  
Песня слышится на берегу:  
«Ах ты, ноченька,  
Ночь просторная...»  
Подтянуть бы,  
Да не смогу.

## *Николай Новиков*

### ОТЧЕГО ТЫ, ПЛОЩАДЬ, КРАСНАЯ?

— Отчего ты, площадь, Красная?  
— От огня.

Шел пожар татарской пляскою  
На меня —  
По дубовой, белокаменной  
На заре.  
Город ставлен на окалине,  
На золе!

— Отчего ты, площадь, Красная?  
— Я в крови.

Бунт мне стены кровью страстною  
Окропил.  
Пытки, казни — были злые  
Времена...  
Все расскажет Место Лобное  
Про меня.

— Отчего ты, площадь, Красная?  
— От красы.

Красным цветом светят праздники  
На Руси.  
Красны ленты и полотнища —  
Сотни лет.  
Жизнью яростной полощется  
Этот цвет!

Песня ль спелась, слово ль молвилось  
Без забот —

У стены кремлевской молодость  
Солнца ждет.  
В утро завтрашнее ясное  
Позови!

— Отчего ты, площадь, Красная?  
— От зари!

## Анатолий Парнара

### ХЛОПОК

Вскормлённый соками земли,  
Взлелеянный лучами солнца,  
Ты, хлопок, был природой создан  
Богатства отдавать свои.  
Когда упруго на стебле  
Качаешь белой головой,  
Я приношу в тот миг, не скрою,  
Благодарение земле  
И радуюсь, что все вокруг,  
Как море, вспененное поле  
Является созданием воли  
И мастерства рабочих рук.  
Я видел эти руки сам.  
Я чувствовал рукопожатье.  
И знаю, что они собратья

Пустыне и солончакам.  
В таких же трещинах, они  
Сухи (не веришь, что из плоти),  
Проводят в медленной работе  
Такие медленные дни.  
И оттого, что тяжкий труд  
Для них не просто повседневность,  
Всю неистраченную нежность  
Своей работе отдают.

Как жаль, что не увидишь ты  
Коробочки созревшей выхлоп,  
Как будто нежный,  
белый выдох  
В плоть превратившейся мечты.

## Ираида Потехина

### ...И СТАЛО РАБОТОЮ МОРЕ

#### I

Приморье. В книжке трудовой  
рабочей числюсь оргнабора.  
Она и мне далась не скоро,  
наука жизни судовой.

А как представлю, что под килем  
бездонной хляби океан,  
что и крайсветный Шикотан  
туманы с горизонта смыли,  
тоска зеленая, земная  
взойдет на сердце сорняком,  
полынно-горький в горле ком  
я внутрь глотками загоняю.  
Но, успокоившись под осень,  
радиограммы шлем домой:  
«Путина кончится весной...» —  
и лишь писать почаще просим.

#### II

Я пекарь-дневальная.  
Хлебы пеку морякам

и чищу картонку мешками,  
в ущерб маникюру —  
причина для многих  
беззлых острот балагуров.  
А ужин закончат,  
попросят: «Побалуй стихами...»  
В столовой команды  
усядемся дружеским кругом,  
душистого чая  
в стаканы нальем не спеша...  
Я стану читать,  
почуя в счастливом испуге,  
как пути обыденности  
покидает душа.  
Бывалые парни,  
в доверчивом недоуменье,  
вниманию сердце откроют  
по-детски легко —  
и станут прочнее  
содружества нашего звенья,  
и берег желанный —  
почуем — не так далеко...

## Вадим Рабинович

\* \* \*

День покуда не погас,  
я успел узреть такое:  
положила черный глаз  
на мое лицо кривое.

Кривонос и косорыл,  
удивился и смутился:  
серафимный шестикрыл  
в юном облике явился.

Ломким пальчиком маня,  
ты назвалась Людмила.  
Нет сомненья, на меня  
черный глаз ты положила.

Серафическая новь.  
Пелена. Завеса. Морок.  
Ужли явлена любовь  
мне, которому под сорок?

Спрашивается, за что? —  
Шаг тяжел, неглажен лацкан.

Но зато, зато, зато  
не целован и не ласкан.

Есть во мне, как видно, все ж,  
что-то есть во мне такое,  
коль за здорово живешь  
счастье выпало такое.

Платья шумные края  
накатились, словно волны.  
Незнакомка на меня  
устремилась взор свой томный.

Золотая буква «эль»  
в слово каждое входила:  
Лель, луна, волна, купель,  
молодая ель, Людмила...

Навсегда запомню тот —  
все иное отменяя —  
шестьдесят девятый год,  
восемнадцатое мая.

## Гегнадий Русаков

### РУБКА ДРОВ

Открыл глаза, а день в начале,  
горит оконное стекло.  
Едва от берега отчалив,  
плывет и щурится село.

Всему за древностью научен,  
на спуске черпая кормой,  
идет мой дом под скрип уключин  
походкой старчески прямой.

Но нам пора: нас ждет работа,  
ее искус и маета.  
И мы выходим за ворота  
на отведенные места.

Бугор, куриное семейство,  
дымы растворенных дворов —  
таков наш фон для лицедейства,  
для волшебства — для рубки дров.

Мы расставляем с вождельнем  
весь реквизит простой игры:

чурбаны, клинья... А поленья  
еще от пролежней мокры.

Летит щепка, и птица свищет,  
возвысив голоса пунктир.  
И я опять по топорнице  
с размаху всажен в этот мир:

в четырехмерный (вид особой,  
огнем насыщенной, среды),  
стократ проверенный на пробу,  
на вкус железистой воды.

И обращается забава  
совсем не шуточной игрой.  
...Все круче к городу, направо,  
сбивает румпель рулевой.

И мы идем дремать в сарае,  
задвинув двери на засов,  
внимать, как, ветер набирая,  
гудят холстины парусов.

\* \* \*

Потемки, дальняя дорога,  
весна, распутица, дожди.  
Топографической треногой  
бугор отчеркнут впереди.

То лозняком, то полем черным,  
то бездорожьем пряником,  
свистя дырявым птичьим горлом,  
я возвращаюсь в отчий дом.

Все то же в мире этом старом:  
лощина с дышлами коряг,  
замаявшимся санитаром  
стоит раскрытый березняк.

А мне дыханья не хватает,  
и губы кровью солонны.  
И тело брренное шатает  
на всех ветрах моей страны.

*Александр Ревенко*

#### МАТУШКА

Твоих сынов поближе к городу  
Двадцатый век переманил.  
И все трудней ты ходишь по воду,  
И что ни год, все меньше сил.

Сквозь пелену степей туманную  
Неторопливо смотришь вдаль...  
И тихо песню деревянную  
Поет колодезный журавль.

*Иван Савельев*

\* \* \*

Предсказываю долгие года  
Березке, охраняющей прохладу,  
И только что заложенному саду,  
И речке Соль, где чистая вода,—  
Предсказываю долгие года.

Предсказываю долгие года  
Деревне у проселочной дороги,  
Избушке, не скрывающей тревоги,

Что жить уж в ней не будут никогда,—  
Предсказываю долгие года.

Предсказываю долгие года  
Всем, кто пришел и кто принес Победу,  
И тем, кто не вернется никогда,  
И даже тем,  
Кто мне еще неведом,  
Тем, кто за мною завтра выйдет следом,—  
Предсказываю долгие года.

АРХЕОЛОГ

Старик археолог с берцовой костью в кармане,  
Овеянный снегом и серою пылью могил,  
Ты спал на вагоне, ты ехал верхом на баране,  
Ты клялся Кураном и конскую кожу варил.

И ты возвратился в затерянный мир Согдианы,  
Чьи древние звезды полвека светили тебе.  
И в черную ночь потянулись курганы, курганы,  
И красное солнце спустилось по красной тропе.

Но пашней и пастбищем стало твое городище,  
Пахучее сено свисало с колхозных телег.  
И сторож угрюмый, такой же оборванный нищий,  
Тебя пожалел и в кибитку привел на ночлег.

И голые дети к твоей подбежали котомке  
И съели твой хлеб, разобрали твои черепки.  
Веселые дети — согдийские были потомки,  
И жили они, оппонентам твоим вопреки.

Оглядывал ты краснощеких согдийцев искомым  
И видел их предков, одетых в броню и шелка.  
И долгую ночь под задумчивый треск насекомых  
Текли облака и летели века сквозь века.

И вышел ты в степь, и заржали далекие кони,  
Далекие горы проснулись у края земли.  
И близкие звезды чуть-чуть наклонили ладони,  
И плоские скалы воздетые руки свели.

Подобные птицам над степью парили зарницы.  
Подобно зарницам взлетали и гасли орлы.  
И был человек осторожной слезой на реснице,  
Босым пешеходом, застывшим на гребне скалы.

И, глядя на степь, на великую степь Туркестана,  
Ты вспомнил на миг в эту душную южную ночь  
Кушанскую девочку, спавшую в чреве кургана,  
Как старую мать и уже нерожденную дочь.

И слышались отзвуки ветра, и плача, и смеха,  
И псы завывали, и время гремело трубой.  
И скифские стрелы вращались воронками эха,  
И синее небо со свистом несли за собой...

Широка, широка развернувшая крылья равнина,  
И земля глубока, и воздушная высь голуба.  
Под лопатой — трава, под травой — перегнившая глина,  
А потом — черепки, а потом — черепа, черепа.

Все копаешь, старик, до седьмого, до смертного пота!  
Ты копаешь, старик, да кто тебе спать не велит?  
— И хотел бы заснуть, да — работа, работа, работа...  
И грядущее время шумит за спиною, шумит!

Старик археолог! Мой добрый и первый учитель!  
Ты видел Хорезм, обошел и Тянь-Шань и Памир,  
Хорошо ты прожил и зрелищ великих был зритель,  
И мертвые боги тебя призывали на пир.

Не тень ли твоя анфиладами каменных комнат  
Бредет и копает! А сумрак тягуч и тяжел...  
Предсказывать прошлое, чтобы грядущее помнить,  
Ты мне завещал и в глубокую землю сошел.

## *Наталья Слатина*

\* \* \*

А где моя трава?  
Моя трава  
        в начале.  
Начальные слова,  
Лишенные печали;  
И в жажде красоты —  
И сторож не заметил —  
Украдкой рву цветы  
В послевоенном лете;

И солнца цельный звон  
Над перепутьем мая,  
И я бегу на зов,  
Судьбы  
        не понимая.  
Года...года...года...  
И сеяла,  
И жала,  
А все иду туда,  
Куда не добежала.

## *Светлана Соложенкина*

\* \* \*

Синева полусырая,  
снег набух, но не растаял,  
а береза у сарая —  
вся от солнца золотая.

Как звенят на ней сережки,  
как звенят на ней синицы!  
Воробей успел немножко  
выпить новенькой водицы,

а мороз-то старый грянул —  
напоследок, очевидно...  
Кот наш вышел — и отпрянул:  
мчит поземка, зги не видно.

Пусты!.. Но узелок свой белый  
ландыш завязал в дорогу,  
и весна стоит несмело —  
вся в снежинках — у порога...





## Александр Черевченко

### ВСТРЕЧА С ГОРНОСТАЕМ

Молодой, веселый и свободный,  
по тайге бродил я без ружья  
и воды космически холодной  
зачерпнул из горного ручья.

Птичьими сверкая голосами,  
тишина струилась, как река.  
И тогда я встретился с глазами  
рыжевато-бурого зверька.

Не кошачий взгляд придурковатый,  
не собачий просветленный взор,  
а угрюмый и продолговатый  
на меня нацелен был в упор.

Ни испуга в нем, ни изумленья,  
ни желанья съесть меня живьем,  
никакого явного стремленья  
оставаться в обществе моем.

Но мерцало в нем такое пламя,  
но клубилась в нем такая жуть,

будто бы простерся между нами  
не лесной ручей, а Млечный Путь!

И внезапно  
явственной и резче  
вспыхнувшего в сумраке огня  
вечный смысл случайной этой встречи  
озарил и ослепил меня:

ничему и никому не веря,  
затаенной утренней тропой  
словно два настороженных зверя  
осторожно шли на водопой.

И в таежном сумраке глубоком,  
в роковом предчувствии беды  
два созданья, равных перед богом,  
утолили жажду у воды.

А тайга травкою шелестела,  
а тайга вздыхала, словно мать,  
и, как видно, вовсе не хотела  
в наши отношения вникать.

## Михаил Шутов

### ЗОЛОТО

Я возил породу на бутару  
Из забоя, около Курил.  
Я в забой с собою брал гитару,  
В перекур играл, а не курил.  
Звук струны. Старательская съемка.  
Грохотом приподнятая клеть.  
Я играл, и Селиванов Семка  
Забывал на золото глядеть.  
А гитара цела, как Ротару,  
Не жалела музыкальных сил...  
И ручей, питающий бутару,  
Звуки струн в распадок уносил.  
Тот ручей,

с родным, картавым смехом,  
Все никак от глин не отойдет...  
Друг мой первый с золота уехал,  
Музыку теперь преподает.  
Мы тогда по золоту ходили,  
А в карманах не было на жизнь,  
Но богатством, как огнем на льдине,  
Мы надолго с другом запаслись.

## Александр Юдахин

### ДИРЕКТОР ШКОЛЫ

Я шел последним на уколы,  
перемогаю страх в себе,  
хоть я и был директор школы  
в сибирском маленьком селе.

Я был директором, завхозом,  
глаголы истово спрягал,  
дышал морозом и навозом,  
когда лошадку запрягал.

Про жизнь столицы увлеченно  
на сто вопросов отвечал.  
Читал Ахматову девочкам,  
мальчишек к боксу приучал.

И возмущался ненароком:  
как это завуч мог спросить:

\* \* \*

Что мне июльский ад  
узбекского ссленья.  
Я — русский азиат  
второго поколения.

Воспитанный в огне  
кибиток и кочевий,  
я солнцем впрок прогрет  
был в материнском чреве.

Я виноград давил  
и вдруг почувял где-то,  
что стал неутомим  
за счет тепла и света.

Я хлопок собирал,  
челом потя медным,

«Нельзя ли нам поэта Блока  
за счет месткома пригласить?»

Я не был правым, может статья,  
всегда, во всем, но с этих дней  
я начал в жизни разбираться,  
стал беспощадней и добрей.

Узнал, как день бывает емок,  
когда декабрь у ворот,  
когда с рассвета до потемок  
текущих дел невпроворот.

Когда, считаясь не последним,  
обозреваемый людьми,  
шагаешь к школе восьмилетней  
учиться рядышком с детьми.

и порешил, что стал,  
как бог, почти бессмертным.

В заботе и в тоске,  
в пути, в житейском гаме,  
в Ташкенте и в Москве —  
мне гены помогали.

На дальних берегах  
чужой Канады или  
в распахнутых снегах  
непаханой Сибири.

Теперь мне черт не брат  
до судного мгновенья,  
я русский азиат  
второго поколения.

# IV





## СЧАСТЛИВАЯ УЧАСТЬ СТИХА

Огромен и целостен, просторен и внутренне един образный мир, созданный Николаем Тихоновым. В его поэзии и прозе охвачены важнейшие, ключевые свершения двадцатого столетия, запечатлены судьбы, чувства, помыслы, воплотившие честь и достоинство нашего времени. Попытавшись назвать темы, мотивы его творчества, упомянуть о фактах, ставших источником его вдохновения, надо было бы составить длиннейший перечень, в который вошли бы события, определившие настоящее и будущее человечества, были бы поименованы люди, заслуживающие любовь и уважение народов.

Поражаясь этому постоянно умножающемуся обилию наблюдений и переживаний, испытываешь потребность определить природу этой естественной широты, уловить и охарактеризовать движущую силу воодушевленного жизневоплощения, осмыслить, используя слова самого поэта, «восходящую силу стиха».

Свою первую книгу стихов «Орда» Тихонов начал утверждением:

Вижу я, что небо небогато,  
Но про землю стоит говорить.

Почти одновременно вышедшую книгу «Брага» открывает стихотворение, завершающееся обещающе и призывно:

И вот под небом дрогнувшим тогда  
Открылось в диком и простом убранстве,  
Что в каждом взоре пенится звезда  
И с каждым шагом ширится пространство!

Право же эти строки можно было бы поставить в качестве эпитафии к тому, что создано Николаем Тихоновым!

Страстная жажда приобщения к земным тревогам и надеждам, неодолимое желание участвовать в них своим делом, своим стихом возникает в первых же произведениях художника и навсегда входит в его слово.

За любой его строкою стоит действительность, но никогда он не полагается на значительность, ценность фактов, им привлекаемых, постоянно волнует его способность стиха передать напряжение жизни, выразить ее глубинные устремления. Отсюда неслабеющая, спокойная готовность отказаться от прочно усвоенного, с трудом добытого ради того, чтобы находить новые решения, отвечающие потребностям времени и собственной души.

...Распрощавшись с «голой скоростью» баллад, так много ему принесшей, так хорошо ему служившей, Тихонов пускается в трудные поиски.

То прошлого зовы, а нужен мне  
Герой неподдельно новый...—

признается он, странствуя по улицам родного города над Невой.

Десятилетие спустя, в ущельях и долинах Кавказа, он неотступно думает о том, «чтобы счастья полная строка теплела где-то жилкой у виска», «чтобы стих, как свернутый клинок, блистая, развернулся бы у ног».

Тогда же за рубежами нашей страны, в предвоенной, расколотой надвое Европе, исполненный ненависти к фашистским изуверам и сочувствия к бесстрашным друзьям, говорящим на разных языках, но действовавшим заодно, поэт помнил о том, как много значит в разгорающейся битве за будущее мира властное, воодушевленное слово, разящее врагов и укрепляющее соратников.

Но всей стиха живучестью  
Хочу я в жизнь врати,  
Над стиховую участью  
Задумался мой стих.

Дума об *участи* поэтического слова неотступно владеет поэтом. И материализуется, воплощается в стихе, блещущем живыми красками, энергическом и многомерном, покоряющем и выразительной точностью жизнеизображения, и высоким мастерством жизнеистолкования.

Опять и опять сочетаются в стихах и поэмах Николая Тихонова предельная достоверность поэтического рисунка и смысловая, эмоциональная насыщенность слова. «За стихами должна стоять большая жизнь мысли»,— сказал он в своем выступлении на Первом съезде советских писателей. И подтвердил справедливость этой истины своим собственным творчеством.

Оно вобрало в себя и череду перемен исторического значения, и этапы духовной биографии самого художника. На редкость ладно, крепко совпадают эти два ряда! Как ни поразительно изобилие «сюжетов», вошедших в книги Тихонова,— все здесь запечатленное взято поэтом, как говорится, из первых рук,— мы слышим голос непосредственного свидетеля и даже участника происходящего.

...За произведениями, рассказывающими о первой мировой войне, стоит служба Тихонова в тех частях действующей армии, что сражались в Прибалтике.

В его балладах и поэмах, овеянных героикой гражданской войны, живет опыт красноармейца, защищавшего революционный Петроград от белогвардейцев.

Он имел возможность донести до читателей размах и благотворность сдвигов, происшедших за годы первых пятилеток в жизни народов Средней Азии и Кавказа, потому что снова и снова возвращался в далекие, но ставшие родными края. Он изъездил, нет — исходил их вдоль и поперек, осваивая, принимая в сердце культуру и нравы, прошлое и настоящее народов, освобожденных социалистической революцией.

Он создал книгу предвидения, книгу предупреждения, воспроизведя беды Западной Европы, предсказав ее порабощение и освобождение, опираясь на сделанные им наблюдения во время поездки на конгресс, который сам был частицей разгоравшейся жестокой борьбы между силами социального зла и социального добра, развернувшейся в тридцатых годах.

Стихи, поэмы, рассказы, очерки, листовки, ставшие одним из звеньев несравненного подвига, совершенного осажденным Ленинградом, его защитниками, были написаны Тихоновым в кольце блокады, а точнее, в боевых порядках, в холодной, насквозь промерзшей квартире на Зверинской, 2, где жила семья поэта.

И послевоенные книги писателя, по преимуществу тоже путевые, но теперь уже все чаще уводящие за рубеж Советской страны, они также соединены множеством нитей с общественной деятельностью Николая Семеновича, являются плодами его поездок в страны Востока в качестве председателя организации советских защитников мира, становятся неопровержимым доказательством прочности сердечного взаимопонимания, существующего между нашей родиной и народами, завоевавшими независимость и свободу.

Все эти пласты современной действительности, вошедшие в стих, объятые им, связаны друг с другом, находятся в тесном взаимодействии. Здесь дает себя знать последовательное развитие общественных закономерностей и вместе с тем развитие личности поэта. Обозревая многоцветный строй образов, созданных на протяжении более шести десятилетий, замечаешь, как перекликаются, «перезваниваются» (как говорил Владимир Луговской) герои и коллизии, разделенные годами и расстояниями.

Рассказав в пору своей молодости о юном

индийце Сами, чтившем великого Ленина, поэт тридцать лет спустя встретился лицом к лицу с соплеменниками своего героя, превратил «Индийский сон» (так называлось одно из ранних стихотворений Тихонова) в очевидную реальность.

Передав в стихах тридцатых годов очарование кавказских нагорий, прелесть отважной и строгой горской жизни, он вернулся к этому прекрасному краю через двадцать лет, чтобы в поэме «Серго в горах» осветить пути, по которым прошли в далекие аулы новые, истинно человеческие отношения, утверждаемые Коммунистической партией.

Запечатлев еще в «Стихах о Кахетии» черты героического облика Сергея Мироновича Кирова, Тихонов снова обратился к нему в годы Великой Отечественной войны, разглядев образ доблестного организатора трудов и побед «в железных ночах Ленинграда».

Новые и новые связки образов свидетельствуют о том, как много значит в творчестве Тихонова это *сквозное действие*, эта разветвленная динамика мотивов, стремлений, живущих в исторической действительности и укоренившихся в уме, сердце поэта.

Вскоре после того, как вышли первые книги Тихонова, мгновенно принесшие ему известность, он, по его словам, задумал «бегство» из дому, убежденный в том, что «ведь надо же знать, как люди живут» в далеких и близких краях. С той поры почти каждая книга Тихонова может быть названа путевым дневником: его поэтические дороги протянулись на север — в Карелию, на восток — в Туркмению, на юг — в Закавказье, на Северный Кавказ. А впоследствии — Западная Европа, затем страны Южной и Восточной Азии... Широко разбежались по планете поэтические маршруты художника, отдавшего свой разум, вдохновение, талант утверждению справедливейших идей эпохи!

Именно благодаря убежденности художника картины человеческой жизни, возникающие в его книгах, оказываются звеньями целостного и последовательного повествования — эпически значительного по своему содержанию и вместе с тем лирически прямодушного, пылкого, воодушевленного. Да, наблюдения, сделанные Тихоновым на просторах земного шара, им остро, резко пережиты и обдуманы, соотнесены с собственным опытом и судьбой, освещены огнем чувства, светом мысли.

Оттого-то *география* в поэзии Тихонова становится *историей*. Он очень охотно воссоздает приметы, подробности «местного» быта, при рода в его стихах занимает заметное, а подчас

и ключевое место. И все же главным действующим лицом, «душою пейзажа», оказывается человек, человек среди людей, человек своего времени и страны, человек, находящийся на важнейшем, крутом повороте своей истории.

Не так давно Тихонов напомнил:

В век атома родится также колос  
И лирики в ночи горит свеча.

Так запросто он обнял, свел в сжатой до предела строке разнородные величины, представляющие наше время.

Подобная емкость стиха имеет своей основой энциклопедическое знание жизни, ясность мышления, совершенное владение словом.

Вот свойства, так отчетливо выступившие в узловых стихотворениях книги Тихонова семидесятых годов «Времена и дороги». Словно на смотр, на братскую встречу собраны сюда люди, поразившие воображение поэта, навсегда вошедшие в его память, оставившие неизгладимый след в его душе и стихе. Но вот что примечательно: здесь нет и малой доли той скрадывающей очертания дымки, которая нередко сопутствует воспоминаниям, обращениям к прошлому. Здесь все рельефно, живо, полно — и к тому же ново. Обращается ли поэт к своим

товарищам по ленинградской блокаде, умножает ли свои цейлонские, либо армянские, либо варшавские впечатления, расширяет ли круг своих героев и друзей, изображая молодого японца — альпиниста и сторонника мира или соотечественника-танкиста, запомнившего красоту степи «в тех раскаленных добела ночах», когда здесь громили врага, — неизменно ощущаешь тяготение художника и к постижению того, что еще недавно не существовало, а лишь сейчас рождено, выдвинуто движением жизни, и к открытию уже имевшихся, но прежде не замеченных, не оцененных сторон нашего бытия.

В самом деле — богато неожиданностями будущее, только входящее в наш повседневный обиход, а в то же время зовет к себе, требует внимания, таит в себе много ценного и то, что уже стало прошлым и настоящим, но еще не познано, не осмыслено в полной мере.

Сказанное относится и к творчеству Николая Тихонова. Оно стало частью нашей культуры, нашей действительности, оно дорого и близко нам, прочувствовано и продумано. А меж тем как много еще таит в себе книги, читаемые и перечитываемые, как много доброго, прекрасного они еще нам скажут!

## Станислав Лесневский

### В КОЛЬЦЕ РАЗЛУК И ВСТРЕЧ

В поэзии фронтового поколения Сергей Наровчатов стоит несколько особняком. Поэт верен своему поколению, к нему причислен судьбой. Как сказал он сам: «...фланг своего поколенья держать я на стыках привык». Преданно пишет Наровчатов о друзьях поэтах, живых и павших. Но речь идет о месте именно в поэзии, о поэтическом мире.

У Наровчатова есть сильные стихи прямого пафоса, например «В те годы», помеченные 1942-м. Это классика военной поэзии: «Я проходил, скрипя зубами, мимо сожженных сел, казненных городов, по горестной, по русской, по родимой, завещанной от дедов и отцов... Крови своей, своим святыням верный, слова старинные я повторял, скорбя: — Россия, мати! Свете мой безмерный, которой местью мстить мне за тебя!»

Вспомним замечательное «Облака кричат» — 1941 года, где поражает рефрен, вынесенный в заглавие: «Облака, как лебеди, кричат над

сожженным хлебом». Поражает картина, для которой и слово «горе» недостаточно: «Хлеб дотла, и все село дотла. Горе? Нет... Какое ж это горе... Полплетня осталось от села, полплетня, на взгорье». И снова: «Облака кричат! Кричат весь день!.. И, один под теми облаками, я трясусь, трясусь, трясусь плетень черными руками».

Но в основном многие запомнившиеся стихи Наровчатова, как правило, совершенно иного тона и стиля. Не только оттого, что поэт вышел за пределы военной темы. Такое неизбежно случилось и с его сверстниками. Стихи Наровчатова, позволю сказать, отличает некоторая «странность». Как теперь определяют, поэт не чужд «смеховой культуры». Но он вовсе не юморист, когда затевает с читателем своеобразные «игры», «тасует» времена, сюжеты, творит условные ситуации. Я говорю здесь о лирике Наровчатова; в ней, кстати, и ключ к его эпосу, колоритным поэмам (особая тема, которой здесь не касаюсь). Отмечу лишь одну



изумившую меня необыкновенную особенность поэтического мира Наровчатова. Эффект «исчезновения» времени, неуловимость «четвертого измерения» в каждый данный момент, скачок настоящего сразу и в прошлое и в будущее. Почти безотказна «машина времени» Наровчатова, лиризм скрыт фантазией.

В поэзии многократно звучало: «...Я умираю». Но едва ли не впервые: «...Завтра я умираю». В стихотворении Наровчатова «Вечерний телефон» — излюбленная поэтом модель смены времен. Тут буквально на глазах сегодня переходит в завтра, а тем самым — во вчера: «Трубка подпрыгивает, звеня, и снова я повторяю: — Придется вам обойтись без меня, завтра я умираю». Деловитость, не свойственная вечной теме... «Да, так сказать, покидаю свет. Идут последние сборы. У меня, понимаете, времени нет на лишние разговоры». Это не ироническая поэзия; это и не «гейнеобразное». Тут какая-то гипотетическая лирика. В самом деле, если бы знать... Можно «успеть окончить две-три поэмы», «написать средних размеров повесть», а «в них до завтрашнего числа надо красиво и просто решить проблему добра и зла и смежные с ней вопросы». Собственно, так и надо жить, не откладывая на завтра «проблему добра и зла». Все очень серьезно, так ведь и есть. Это правда, изложенная в шутке. Лирика, не позволяющая себе быть лирикой, скрывающаяся в иронической фантазии.

Родился этот художественный мир, судя по всему, на войне. Там, где сегодняшнее в индивидуальном бытии резко противопоставлено вчерашнему и завтрашнему, но едино с ними. Война ежеминутно подчеркивает невозвратность (и неизбежность) прошлого, мгновенность (и единственно данную вечность) настоящего, проблематичность (и обязательность) будущего.

Между завтра и вчера — двумя невозможностями — лирический миг. В стихах, относящихся к дням боев с белофиннами, «письма возвращенья нам желали и обещали счастья полный воз», но «из писем мы вертели самокрутки и падали, чтоб больше не вставать». В другом стихотворении той поры есть будущее и для убитых: «Мы баррикады строили из них, обороняясь смертью против смерти». Бытие и в небытии... Будущее эмблематически скрепляет живых и павших.

Индивидуальное бытие обретает необходимое человеку сознание бессмертия в бытии народном. Война обострила жажду приобщения к сверхличному, непрерывному, всеобщему.

Стихотворение начала войны сталкивает за-

поведь и реальность: «На церкви древней вязью: «Люди — братья». Что нам до смысла странных этих слов? Мы под бомбежкой сами, как распятые, лежим среди поваленных крестов». Заповедь означает и прошлое и будущее. Настоящее — вот оно: «Когда ж конец такому безобразью? Бомбят весь день... А через гарный дым те десять букв тускнеют древней вязью...» Лирика — в гипотезе, в мечте.

Прошлое становилось сегодняшней силой. Земля родная — воплощенное предание — всем пережитым взывала к поэту. Узнать в сегодняшнем не вчерашнее — вечное: «В своей печали древним песням равный, я села, словно летопись, листал и в каждой бабе видел Ярославну, во всех ручьях Непрядву узнавал».

Наряду с вечным растет в цене и мгновенное. Поэт славит «пеплу и крови не сдавшийся цветок!». Славит «лесную любовь»: «Пусть стороной осколки воют чаще, случайная погуливает смерть и гаубицы над краем древней чащи гремящий опрокидывают смерч, но стонов бабьих, томных и счастливых, где древность возникает в новизне, не заглушить ни взрывам, ни разрывам — самой войне». Цветок или любовь ценны и сами по себе, и как опровержение войны. Потому хорошо промчаться «на грузовике под обстрелом». В сегодняшнем — старинное: «чертогон незапамятных троек с четким риском стандартных колес». Ямщик ли, водитель: «Век бы жить, обгоняя корысть, ничему у нее не учась, чтоб удача на третью скорость выжимала б из часа в час!» Вызов смерти, вызов судьбе — на машине ли, на кауруй: «Под хлыстом рванула, очерясь, — и с падучей на удилах через ночь фронтовую, через придорожный, облаком, прах».

В стихотворении «Фронтальная ночь», «сон отдав за игру, на стол бросает колоду карт веселая наша фортуна». Совершенно неожиданная рифма: «игру на...» — «фортуна». Лирический герой назван по имени: «И я, зажав «беломор» в зубах, встаю среди гама и чада. Сегодня удача держит банк, играет в очко Наровчатов. Атласные карты в руках горят, партнеры ширят глаза, четвертый раз ложатся подряд два выигрышных туза». Настоящее у Наровчатова минировано прошлым, удача таит неудачу. «Но что это? Тонкие брови вразлет. Яркий, капризный, упрямый, на тысячу губ раздаренный рот. — Ты здесь, крестовая дама? ...Где ты теперь? С какими судьбой тузами тебя растасовывает, кто козыряет сейчас тобой, краса ты моя крестовая?!» Игра обернулась лирикой, карта — женщиной... А все-таки — игра: «Но кончим лирический разговор... На даму вы-

играть пробуешь? Король, семерка, туз... Перебор! Мне повезло на проигрыш». И снова лирический оборот... В конце концов приключение, отчасти воображаемое, отчасти реальное, тонет в буднях войны: «Четвертый день мы походом идем, кочуем, двести бессмертных». Слиливы три времени: эпическое, лирическое, игровое.

Своеобразный лирический розыгрыш — «Нисьмо из Мариенбурга», где поэт представил себя и свою героиню «в любовниках поры Екатерины». Прошлое у Наровчатова минировано настоящим, русская старина является «в кольце» чужеземной.

Лирический наигрыш (говоря асеевским словом) — «Польские стихи», чарующие славянской речью. Поэт и нежен, и пылок, и шутив. О себе он обмолвился: «...Я мастер на цветные небылицы, где тревожное скрываю в невозможном...» Характер своего героя поэт и вышугил и воспел в стихотворении «Пожар». Здесь все условно и все всерьез: «Я нахожу тебя в огне, я облегчаю муки, и ты протягиваешь мне худенькие руки. Как храбр я! Как прекрасна ты! Как день сияет летний! И как непрочен мир мечты одиннадцатилетней...» Пожар и подвиг — воображаемые; время — игровое и вместе подлинное.

«Старый альбом» живет в двух временах. В немислымо старине: «Пожелтевший листок, шелком выткана роза, в заключение строк стихотворная проза». И в нынешнем дне: «Со страницы сойдя среди улиц Шверина, в моросинках дождя шла со мной Катарина». В стихах — две героини, две Катаринины, и два героя, «русской службы корнет» и сегодняшний победитель. Времена, казалось бы, вторят друг другу. Казалось бы... И Катарина исчезает, возвращаясь на страницы альбома. Повторение и возможно и невозможно.

В духе Наровчатова — сказать о своем герое: «Ни дать ни взять — влюбленный офицер времен очаковских и покоренья Крыма» («Прощальные стихи»). Эта мгновенная ирония «машины времени», в сущности, один из способов подчеркнуть ощущение современности. Лирика Наровчатова и гипотетична и ретроспективна. «Кавалер и барышня» в названном так стихотворении, на первый взгляд, встретились сегодня. Нет, это было вчера... И воспоминание — не просто воспоминание. О том, как встретились девчонка и солдат в блокадном Ленинграде... Нет, не только и — главным образом — не об этом, а о том, что сегодня в сердце поэта: «Зачем вы сюда пришагали? Неужто меня вам не жаль... Не нужно, не нужно морали. Вы совесть, а не мораль» («Вос-

поминание»). Прошлое забегает в будущее, требовательно смотрит оттуда в настоящее.

«Четвертое измерение» нравственно содержательно. Скачки из настоящего в прошлое, из прошлого в настоящее — не только игра, хотя без такого веселья нет стихий Наровчатова. Время оказывается одним из синонимов совести; настоящее, обернувшись прошлым, вскрывает свою этическую ценность. Поэт возглашает: «Мне всегда казалось слишком скудным применяться к дошлым или ушлым» («Утверждение»). Поэтические игры Наровчатова противопоставлены делячеству, дельцам: «Их вело не то, что освещало, их звало лишь то, что насыщало. Не жар-птица — огненная дура, жареная птица — конъюнктура». В стихотворении «Базарная Галатей» (напоминающем «Портрет» Гоголя) пошлость предстает русалочьи неуловимой соблазнительницей художника, предавшего свою «Жар-птицу». А в стихотворении «Собаки на Командорах» взаимопереходы вчерашнего («сбежали они от постылых хозяев») и нынешнего («хозяйский пинок, но прочная кровля и миска у ног») служат утверждению «беспривязных слов». Поэт, однако, знает, что декларации морали не становятся непосредственно переживаемой совестью, остроумные его стихи изнутри освещены лиризмом этого понимания.

Феномен времени у Наровчатова является бездной возможностей, осуществляемых или неосуществляемых. Реально для поэта и свершенное, и то, что могло свершиться, и то, что еще свершится. Время — затонувшая «Атлантида» (в стихотворении под этим названием). Но оно может и «всплыть», «вспомниться»: «Смысл бытия откроется в искомом. Мы ждем тебя, последняя строка!» («Последняя строка»).

Хоровод всяческих чудес, то ли воображаемых, то ли происходящих на самом деле, играючи соединяют хорошо известные читателям «Пес, девчонка и поэт» — герои лукавой и изящной маленькой поэмы Наровчатова, в последней строфе опровергающей все, во что едва не поверил читатель. Стихотворения Наровчатова нередко сжатые поэмы, основанные на «приключении», которое «раскрутится» со временем. От читателя не ускользает внутренний драматизм этой «игровой» лирики, которой столь необходимо «остановить мгновение».

Наровчатов обычно вышучивает себя. Но однажды не выдерживает взятого тона и... пишет «Зеленые дворы». Опять поэт обступает времена, и он идет сквозь них, как сквозь дворы. Через дворы как через вспоминаемую жизнь... Всплывают и тонут «атлантиды» вооб-

ражаемых голосов истории... Поэт остается наедине с пережитым... Он не ждет «последней строки...». А рядом «зелеными дворами» идет «юнец сегодняшнего дня»: ему «не увидеть увиденного нами, увидеть то, что не увижу я». Так складается это многозначное и многозвучное стихотворение, «окольцованное» уже хрестоматийной строфой:

На улицах Москвы разлук не видят встречи,  
Разлук не узнают бульвары и мосты.  
Слепой дорогой встреч я шел в Замоскворечье,  
Я шел в толпе разлук по улицам Москвы.

Вот этот емкий образ «толпы разлук», вернее, кольца разлук и встреч, пожалуй, и есть образ мчащегося, кружащего времени в лирике Сергея Наровчатова.

## Юрий Болдырев

### СПУСТЯ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

Да, в этом году как раз двадцать лет небольшой, стостраничной книжке Бориса Слуцкого — «Память». Но эта книга помнится и строчками, и строфами, и стихотворениями — и целиком, всей своей сутью, сплавом чувства, мысли и стиха, их выразившего.

Читаешь ее сейчас — дольше, чем прежде, внимательнее, хотя многое, во что вчитываешься, знаешь наизусть. В тогдашнем, двадцатилетней давности, чтении ошарашивала и безоговорочно подчиняла новизна взгляда на войну, как на безмерно тяжелую и смертельно опасную *работу*; новизна лексики и грамматики, сразу же породившая первый критический тезис — о «прозаизмах» Слуцкого; новизна интонации — резкой, неуступчивой, ультимативной. Для того, чтобы сдать в полон этой интонации, всей этой новизне, полюбить ее и ввериться ей или — наоборот — объявить ее «прозой, да и дурной» (этой цитатой из Пушкина была озаглавлена одна из давнишних рецензий), — достаточно было первого читательского впечатления. На то, чтобы осмыслить характер этой поэзии, уяснить ее место в литературном строю и предназначение, понадобилось время. Тем более что, как это ни странно прозвучит, именно внимание и любовь к резко проявленным новациям, внесенным Слуцким в современную поэзию, порой не помогали, а мешали разобраться в содержании книги в полном его объеме. Конец пятидесятых годов — пора литературного прибое, волны которого то и дело несли с собой новые имена, новые темы, новые формы, новые образы и метафоры. Каждая очередная журнальная тетрадь манила к себе — казалось, за ее обложкой скрывается нечто доселе невиданное и неслыханное. Читалось лихо — перечитывать было некогда и не хотелось.

Впечатление от современного произведения куда зависимее от злобы того дня и того часа, когда оно появилось, чем восприятие классики;

книга нынешнего поэта живет с нами в одном временном поясе, и нередко трудно увидеть ее многоаспектность, возможность ее существования и в другом времени, особенно если она так откровенно полемична, как «Память» Слуцкого.

Кстати о полемичности первых стихов и первых книг Слуцкого. Этим качеством в очень значительной мере наградили их мы, читатели и критики, наше восприятие. Субъективной, намеренной внешней и даже внутренней полемики, какого-либо спора с теми, кому было привычно и удобно изображать войну приблизительно, облегченно, «восклицательно», Слуцкий в стихах не вел. Уверенность в праве именно *так* писать войну, в праве «варить собственную кашу» происходила, главным образом, от ощущения, что его представление о войне не только *его*, но и «народа, с которым вместе голодал и стыл, ругал баланду, обсуждал природу, хвалил далекий, словно звезды, тыл», и от веры, что он говорит «в новой должности — поэта — от имени России». Ощущение это, исключавшее полемичность, было справедливым, что и определило в конце концов всеобщее признание военной музыки Слуцкого, хотя поначалу, по язвительному замечанию самого поэта, «говорили: не похож! Хорош — этого никто не говорил».

Теперь стихи из книги «Память» еще более обнаруживают свой внутренний драматизм и одновременно — свою многокрасочность. На черно-белой картине стали различимы многоцветные оттенки, сквозь тему войны, единственную, как казалось когда-то, проступили иные темы (так, например, несмотря на известное заверение, что «пейзажи солдат заслонил», сейчас очень свежо и звонко воспринимаются в книге пейзажные вкрапления). И самое главное, может быть, в сегодняшнем чтении — то, что сквозь большие прозаические пласты, впервые обжитые для поэзии Слуцким, все более

и более ощутимы пронизывающие их токи высокой поэзии; слышнее стала стиховая музыка; яснее видна торжественная красота этого стиха.

И соответственно трансформируется в читательском представлении образ автора этой книги стихов. В нарисованном когда-то портрете сурового солдата Великой Отечественной сейчас вычитываются и высматриваются вместе с воинским и поэтическим мужеством и «открытое настежь сердце», и естественная — врожденная ли, воспитанная ли русской литературой и советской школой двадцатых — тридцатых годов — демократичность и справедливость (для меня это, в частности, связано с «Писарями», пожалуй единственным стихотворением в нашей поэзии, где прославлен не частный боевой подвиг того или иного писаря, а писарский труд, их незаметный вклад в победу), и душевная доброта и мягкость («Шагали солдаты по свету — истертые ноги в крови. Вот это, друзья мои, это внимательной стоит любви»), и много человеческой чистоты. «Внимательная любовь» к людям продиктовала поэту все строки этой книги, вплоть до клятвенных: «И понял я, что клятвы не нарушу, а захочу нарушить — не смогу, что я вовеки не сбрешу, не струшу, не сдрейфлю, не соврну и не солгу».

То ли волею случая, то ли виной тому настроение минуты, но мое знакомство с поэзией Слуцкого началось не с военных стихов, а с «Блудного сына», хотя рядом с этим стихотворением на страницах самого первого «Дня поэзии» помещались «Кельнская яма» и «Давайте после драки...». Именно «Блудный сын» был принят первым в сердце и в память — и отсвет этого стихотворения ложился на многие стихи поэта, читавшиеся позже. Может быть, поэтому и тогда, а теперь в еще большей степени я воспринимаю первую книгу Слуцкого как написанную не столько о войне, сколько о человеческом поведении (в данном случае — во фронтовой, постоянно грозящей смертью, обстановке). И в уже знаменитом стихотворении «Память» — о боевом товарище Ковалеве и его вдове — особо высвечиваются для меня слова: «И не надо ходить. И нельзя не пойти. Я иду».

Тема человеческой стойкости перед лицом трагических, драматических, даже обыкновенных бытовых обстоятельств, почему-либо мешающих человеку выполнить свой долг, тема сопротивления человека со злом в любых его проявлениях, вовне и в самом себе, его противостояния косности и усталости собственного духа и тела, — вместе с темой памяти о товарищах, с которыми он когда-то входил в жизнь

и которые погибли, когда «настали дни проверки исполнения, проверки исполнения наших клятв», — является заветной и постоянной темой Бориса Слуцкого.

«Высокой мерой человека мерьте», — сказал поэт в одном из ранних своих стихотворений. Человек должен «держатъ или силиться — кому что дано», должен творить «из мирового развала... лад мировой» и, обуреваемый «смутной, темной потребностью долга, ясной, как ежедневный рассвет», как солдат Великой Отечественной, «должен эту силу, силу страха, ту, что силы все его берет, сбросить, словно грязную рубаху. Встать. Вскричать «ура». Шагнуть вперед».

После «Памяти» у Бориса Слуцкого вышло еще девять книг. Микро- и макроповедение людей, самых разных, порой разительно непохожих, о которых поэт скажет, что они ему «представили двадцатый век какой-то очень важной стороною», — предмет его неустанных наблюдений и описаний. Описывает он не только героев и подвижников, которых, кстати сказать, зорко высматривает в жизненной текучке, но все свое уважение и восхищение отдает тем, кто, как он писал в стихотворении, посвященном Николе Вапцарову, «встает превыше ужаса и страха». Никогда Слуцкий не замыкался на себе, хотя и свой личный опыт — хороший и дурной (вспомним стихотворение «Где-то струсил...»), давая ему должную и честную оценку, щедро вводил в строки стихотворения, книги. «Ни музеи, ни пейзажи, ни библиотеки даже не сменяю на людей. Лучше всех растений и животных, лучше всех идей бесплотных... люди, человеки. Каждая толпа — толпа чудес».

Слуцкий никогда не мог бы согласиться с заповедью «отойди от зла и сотворишь благо». «Исходным пунктом» его убеждений всегда было то, что этическое содержание — в поступке, в действии, в свершении: «...знаю: дважды два — не дважды два, куда на бумаге, не на деле». И примеры человеческого мужества — и воинского, и проявленного в море житейском, примеры упорства в следовании «блаженным и пылким веригам» долга, примеры побед человеческого духа и энергии над хаосом неживой и живой материи, над мощью пространства и времени рассыпаны по его книгам в изобилии.

Понятие времени не зря так или иначе входит в названия почти всех книг поэта («Время», «Сегодня и вчера», «Современные истории», «Годовая стрелка», «Доброта дня», «Продленный полдень»). «Поэзия — обгон, но не товарищей, а времени» и потому не существует ни без закрепления в строке минувшего

мига, ни без пророчеств о будущем, будь то предсказания собственной судьбы или общих людских судеб. Слуцкий не уклонился и от этой обязанности, заповеданной великой русской литературой.

Уроки стойкости, которые поэт берет у людей и дает людям, подтвердили справедливость сделанного им некогда заявления:

Я учитель школы для взрослых,  
Так оттуда и не уходил —

От предметов точных и грозных,  
От доски, что черней чернил.

Мужество как стиль поведения и основа жизни, мужество как единственный путь к значительности и величию человека, мужество, о котором вот уже двадцать с лишним лет говорит со своим читателем поэт Борис Слуцкий, — предмет действительно точный, грозный и необходимый.

## *Анатолий Ланциков*

### «ВСЕ УХОДЯЩЕЕ УХОДИТ В БУДУЩЕЕ...»

Вероятно, можно дать множество определений поэзии, и все они будут по-своему верны, но в то же время ни одно из них не окажется универсальным, потому как верны они будут только с какой-то одной или в лучшем случае с нескольких точек зрения. Невозможность универсального определения упирается здесь в невозможность исчерпать все возможные на поэзию точки зрения.

Не ставя перед собой цели взамен существующим определениям поэзии дать собственное, более всеобъемлющее, не откажусь от попытки продолжить разговор о природе ее, тем более что к тому представляется весьма подходящим случай: издательством «Советская Россия» выпущен сборник избранной лирики Владимира Соколова<sup>1</sup>.

Во вступительной статье Вадима Кожина говорится: «Владимир Соколов не заморожен ни будущим, ни прошлым: он и его поэзия живут в настоящем, которое и есть естественное слияние прошлого и будущего... Он видит полноту жизни — в том числе и единство прошлого и будущего — в сегодняшнем дне».

Согласившись с этим мнением, я хотел бы его продолжить и, возможно, кое в чем уточнить.

Нет ничего удивительного в том, что в тридцатипятилетнем возрасте Соколов написал такие строчки: «Я мальчик. Мне двенадцать лет. Кораблик мой плывет по луже... «Пора домой», — ты шепчешь мне, а я — как маленький обманщик. Там белый парус на волне. Мне тридцать пять. Я мальчик».

В этом возрасте многих охватывает глубокое чувство неподдельной ностальгии по навсегда

ушедшим детству и юности и пишутся проникновенно-грустные в силу своей запоздалости слова... Это в детстве и юности мы обычно торопим время, чтобы поскорее наступило то будущее, которое всем нам рисуется по-разному, но непременно в радужном свете. Пролетают годы, и приходит долгожданная взрослость, а потом наступает момент, когда человек, оглянувшись назад, вдруг затоскует о прошедших днях. К одним эти воспоминания приходят раньше, к другим позже, к третьим... никогда. А вот Соколов в свои двадцать два года, в пору, когда другие об этом еще и не задумываются, уже писал: «Сколько व्यог отдымилось, сколько роц отцвело. Ничего не случилось, только детство прошло. Оборвавшимся змеем в небе скрылось большим, мы о том не жалеем. Пожа- леем потом».

И это предчувствие не обманет. Больше того, возникнув однажды и выразившись однажды в поэтическом слове, оно уже не исчезнет и через много лет обернется устойчивым самочувствием. Поэтому-то я и не вижу ничего удивительного в появлении стихотворения «Я мальчик. Мне двенадцать лет...». Удивительно здесь другое — зрелость ранних предчувствий.

Между прочим, и «мальчик» появился не вдруг, он уже жил в стихотворении «Студеный май...», помеченном сорок девятым годом. Верность далекому детству и юности, верность каждому отошедшему в прошлое дню будут давать и минуты просветленного покоя, и ощущение внутренней гармонии...

Но, к чести собственной, а это, возможно, многого важней,  
я не давал уйти со света  
надеждам юности моей.

<sup>1</sup> Владимир Соколов. Четверть века. М., «Советская Россия», 1975.



Я не сплю потому, что не спит трава.  
И влажнеет земля от большой росы.  
И кузнечик задумался: может, встать  
И оспорить какие-нибудь часы?

Тут непосредственно появился и образ *часов*. Только это не убывающая постоянно *свеча* и не безразличные в своей механической цикличности современные *часы* с замершими стрелками, — это *часы*, в которых будущее живым и неумолимым движением переливается в прошлое. И это сам автор приглашает кузнечика оспорить неумолимость его движения.

Я не сплю потому, что у всех застав  
Отдыхают стволы от дневной жары.  
Я не сплю потому, что не спит вода,  
А куда-то бежит, как твои года...

Бегут годы, дни, минуты, и их неумолимый бег, отзываясь в душе поэта, оборачивается то грустной интонацией, то элегическим мотивом, однако всей своей поэзией Соколов противостоит мысли, что человек, рожденный для счастья и горя, для побед и поражений, все равно «сгинет бесследно в безграничности времени». Нет, не бесследно: «Будет час, и человек, похожий на меня, найдет мою потрепанную книжку, и я в душе грядущей оживу на миг. И в этом все мое бессмертье».

Тема бессмертия звучит у Соколова постоянно, — правда, по сути дела, в его творчестве она является не темой, а самым поэтическим содержанием, включающим в себя основные философские категории. Вероятно, поэтому стихи Соколова лишены внешних признаков философичности, впрямую указывающих на склонность или желание предаваться медитациям, когда обращаются не к общим истокам поэзии и философии, а приобщаются уже к самому руслу философии. Философская же наполненность и самостоятельность поэзии Соколова обуслов-

лены именно тем, что он приобщился к общему источнику поэзии и философии, и не в силу склонности или желания, а в силу потребности, возникшей из неутолимой жажды разгадать смысл и цель жизни.

В своей поэтической практике Соколов опирается на современный жизненный материал, но поистине современными его стихи делают не приметы времени, а само время, заключенное в чувстве духовного пути поэта. И может быть, рожденная сложным чувством мысль, что «все уходящее уходит в будущее», так часто звучащая в стихах Соколова, открыто выражена в строчках стихотворения «Перемены»:

Снег выдал, как только растаял,  
И лес, и листья на земле  
В том виде, в каком их оставил  
Октябрь, уступая зиме.

В этой начальной, второй по счету строфе поэт выразил чувство верности ушедшим дням, которые задержались в его памяти не как застывший мертвый признак минувшего, а как прообраз чего-то грядущего. И чувство это, соприкасаясь со многими другими чувствами, углубляясь и усложняясь, в конце концов оборачивается в предпоследней строфе поэтическим *предчувствием*.

Мне дорого то, что весною  
Меня посетили они  
(Как будущее за спиной),  
Осенние дальние дни.

Поэтому, когда читаешь у Соколова такие, например, строки: «... Я могу с небывалым умением рассказать все, что будет сейчас...», то абсолютно веришь ему, потому как дар поэтического предчувствия для него не заявка на исключительность, а постоянное бремя и редкая радость одновременно.

## Виктор Чалмаев

### «ИНАЯ ДАЛЬ ВСТУПАЕТ В СВОЙ ЧЕРЕД...»

У впечатлений детских лет — великая «сила всхожести»! В каком-то смысле мы все живем на содержании собственной юности...

И удивительно то, что, оживая в памяти, в разные мгновения и душевные состояния, эти впечатления незаметно утрачивают громоздкость, тяжесть подробностей, становятся почти легендой, счастливым сновидением. Заложенное в природе музыкальное звучание «пробивается» свободно сквозь предметы и явле-

ния. Слово не задерживает мелодии, а становится ее опорой, ее выражением, почти нотой. Жизни как пресловутого «материала» нет для поэта, а есть удивительная общность сознания и природы, души и народной истории.

Ко мне приходит облако.  
С рожденья  
Оно мое,  
Оно идет с полей  
Не по теченью ветра,

По вельню  
Души моей,—  
И памяти моей —

Ах, юность, юность —  
Дрожжи для опары...

так начинает Егор Исаев поэму «Даль памяти». Где здесь «материал» и сознание? Где предмет и где эмоциональный отклик?

Воспоминание многократно проносилось, звучало в душе. Подробности — и первый детский горизонт, что словно ударил «синим полотенцем по глазам», и мир с «бадейкой журавлиной и журавлиной музыкой с небес» — обрели не физическую, а духовную реальность, эмоциональную насыщенность, стали уже не картинами природы, а сложной и драматичной историей души. Вельне поэтической души, делающее, к счастью, природу безвольно-послушной, ручной, — это великий созидатель в поэме — во все мгновенья путешествия через дали памяти, от изначальной дали, когда мир родной воронежской деревни «с головой окатывал меня», до наших дней.

Впрочем, только ли это деревня уже в самом начале повествования? Поэт задумывается не раз:

Эх, как бы вся Россия  
Посередке.  
А то ведь вон какая по краям!

По краям, по проселочным далям, там, где царствует еще «гак», верста кондовая, что «в ученый километр не лезет вот...». Ведь Россия не деревня только! Причем не просто Советская Россия тридцатых годов, а новый социальный мир, совсем еще молодой, вынужденный многое вкладывать «в булат, в броню... Взгляни по горизонту туда-сюда: не так уж он и чист...».

И хотя очень многое в первых, наиболее «деревенских» главах («Домой, домой...», «Посвящение в мужики») заставляет вспомнить густоту красок словесной живописи другого воронежца — Андрея Платонова («В той степной черноземной полосе... лето было длинно и прекрасно, но не злило землю до бесплодия, а открывало всю ее благотворность, а помогало от зимы вполне разродиться...»), — очень скоро в поэме утверждается иной масштаб измерений. Тропка детства, даже свой прокос на воронежском лугу, где дышит «ветер с полудня», скоро сливается, чтобы исчезнуть, в том великом пути, которым идет вся Россия, идет к новой исторической судьбе и новым испытаниям. Не расточение мысли и образа, а собирание их, концентрация — главный принцип Исаева-поэта. Хотя не раз он вздохнет, сожалея, что «некогда» писать о чистом детстве, беспечной юности:

Но, увы, зрение духовное, многосложный опыт пережитого им, солдатом невиданной по суровости войны, умение «вслушаться в простор», уловить думы дороги, бегущей, как прекрасно сказал поэт, «на самом том извечном перетоке земли и неба, мысли и души», — все это заставило Егора Исаева уплотнять повествование, отказываться от описательства, предельно концентрировать мысль, искать даже образы-символы.

Уже в первых главах древо реальности выбрасывает полуфантастические «ветви». Мир образов соседствует с миром понятий.

Сила земли, скорее, мощь земного плодородия ощущается в том, что любая подробность деревенской жизни в поэме и реальна и символична, природна и, так сказать, «сверхприродна». «Возы...! возы... как избы на телегах».

Детское сердечко, забившееся при виде змеи, которая не просто уползла, а «стекла как тихий, жуткий гром», — это и сердце и «запазнутое солнышко мое...». Какой крепкий состав красок!

Сам конь-трудяга у Исаева не просто тянет по проселку воз, а шествует по исторической магистрали, оставляя позади «пустоплясовиноходцев», не знающих поклажи:

За ним — возы,  
За ним крутые дали...

Символический образ в поэзии при малой эмоциональной насыщенности, бессодержательности — это скорее судорога скудной витийствующей мысли. При подлинной глубине замысла и богатстве исторического содержания яркий символический образ — такова уже в «Суде памяти» и «босая Память — маленькая женщина», и сам полигон, насыщенный сжином, — это историческая истина в ее сжатом выражении! Он сложен и многозвучен, как музыкальная тема.

Сенокосы, возы как избы, воспоминания о том, как санный полоз «извелся весь от странной волокиты и взял да закруглился в колесо», — эта незатейливая вязь бытовых подробностей, созданных как будто легко, сменяется вдруг в лирическом героическом ощущением, что перед ним движется, вбирая и его судьбу,

Главная река —  
Река труда!  
Всему, что есть на свете,  
Она и ход  
И взлет она дает...



Начало этого движения — в такой далекой дали, до которой страшно далеко из детства. Осмыслить истоки этой реки — для этого мало-вато уже и единичной памяти. Поэт искренне призывает — чтобы не обмелела эта река труда, не засорилась! — к тому, чтобы «от верхов до устья не убывал памятью народ».

Вероятно, для того, чтобы историческая память была обостренной, чтобы не притуплялось среди пестроты всякой новизны четкое понимание, где главное течение «реки труда», «тягловой реки», где корень «вершинного, а значит, корневого» рабочего класса, поэт и создает драматичнейшую эпическую сцену народного схода у «кремень-слезы».

В сущности — это элемент народной драмы в поэме, это коллективное раздумье народа над своей былой исторической судьбой.

Кремень-слеза, найденная на крутой дороге, как некая окаменелость, как самородок исторического опыта — и трагического и бунтарского — всколыхнула сознание не только мужицкой России, «той, что... по краям». Поэт передал крайне точно то время, тридцатые годы, с которыми совпали годы его детства. Это время величайшей радости народа-первооткрывателя, народа — творца революции, и вместе с тем время предвоенное, время ожидания грозы и готовности защитить новый прекрасный мир.

Голоса деревенских баб, зазвучавшие первыми на сходе у кремень-слезы, мнение некоего деда, убедившего сход, что слеза эта «мужская», наконец, вздох воспоминаний о каторжных далях — это лишь первый момент народных раздумий. Кремень-слеза, конечно, прежде всего — горе, это боль «соли — солонее», это

Слеза не просто,  
А вся Русь  
Слез-кремень!

Но вскоре рождается мысль, что в этом самородке скрыт, как искра в кремне, и огонь великой народной решимости и воли, скрыты все превеликие пожары, великая энергия. Из этого безмолвного камня, «кремень-слезы», излетела искра, что зажгла звезду большого света, звезду «добра и мудрого совета», родства рабочих и крестьян...

Образы-символы в поэме — не сюрпризы формы. И их многозначность, изменчиво-сложный смысл — не нарочитая усложненность, а конкретно-историческое выражение сложности народного чувства.

Ведь сама революция, свершившаяся в России, прокладывала свой путь не в геометриче-

ски расчерченном пространстве. И все ли пло и идет плавно?

Российский «гак», некий неуловимый придаток к расчету, «хвостик» у измеренного расстояния, ломающий всякий расчет... В главе «Три гака» поэт создал как будто несколько жанровых сценок. Вот один из героев попал весной «под половодный гак...». Но эти блуждания мужиков по бездорожью, поездки «на авось», приключения, в которых выручает случай и принцип «голь на выдумки хитра», вдруг рожают в поэме тревогу-заботу совсем иного плана. «Гак», как и привычка жить на авось, жить хитрым задним умом, играть с судьбой старым способом — выжиданьем, оглядкой, надеждой «объехать на кривой», — это отголоски того прошлого, что ныне мешают и реке труда, и всему ходу новой жизни. Глядя на дорог расхлябанные хляби, на то, как былая отсталость «вползает в колеи во всю длину проселочной России», поэт искренне зовет:

Приди, приди на выручку,  
Челябинск!

Раздумья об индустриализации, о бедах, выпавших на долю родного народа, и, наконец, тревожное сознание, что новые испытания уже ожидают героев поэмы, пахарей и воинов («Хасан, он вон где — в сопках уссурийских, а шрам, он вот — над бровью Рудяка»), — все в поэме, пока незавершенной, говорит о силе и зрелости социально-философской мысли поэта.

Поколение Егора Исаева вступало в жизнь, осознавая за собой, совсем еще рядом, великий огонь Октября, горячий жар революций.

Война оборвала, грубо, резко, без смягчающих переходов, юность, затмила простор, с особой яростью нацелила, кажется, все пули, все снаряды в поколение 1920—1926 годов рождения...

Но уцелевшие в суровых испытаниях не утратили этой возвышенной связи времен, сумели, как Егор Исаев, сомкнуть все кровное и родное, «звено в звено». Острое чувство контраста эпох и родства их, запас высоты в душе, создающий в образах поэмы особый взгляд на народную историю как на непромытый золотосный поток, где есть и великое, и смешное, и трагически-зловещее, — все оживает в мгновение творческого озарения поэта. «Даль памяти» — примечательная духовная реальность в нашем литературном процессе.

ДВА ЛИЦА ВЕКА В ОДНОЙ ПОЭЗИИ

В поэзии Вознесенского всегда есть будоражащее начало, которое свидетельствует о присутствии жизни. Правда, жизнь эта «какая-то взвинченная», эйфорическая. Ее можно сравнить с атмосферой дружеского пира. С одной стороны, говорят умно и жарко, жизненные энергии сгущены; с другой же, некто встает наутро, посмотрит в окно на падающий снежок — и подумает: «О чем, собственно, была речь?»

Сравнения хромают, а всякая жизнь достойна разбора.

Мне кажется, не правы те, кто эти годы говорил о «падении» Вознесенского. Тому не понравился цинизм «Баллады яблони» (да и кому он может понравиться?), другой видит за ритмом и гибкостью образа одну риторичность, третьему не по душе «холод»; четвертые вообще находят лишь безнравственность, неуважение ко всему, отсутствие человечности и иное столь же серьезное и печальное для поэта.

Вот вышел сборник поэта, и мы, — конечно, настраивающие себя на объективный лад, но уже невольно предубежденные, — открываем, думаем: «Ну, сейчас начнется... Алюминий, аэропорты...»

Оно действительно начинается; но мы, — в сущности, долго не читавшие его как следует, — все же не можем тут же не почувствовать напора энергии и культуры.

Вознесенский мыслит рельефно, он чужд гладкописи и скуки — смертельных врагов творчества, о чем мы как-то забыли; за ним — дыхание поисков XX века и власть ритма, который не является только ритмом, а оформляет, «объективирует» вихрь мира:

Ты пролетом в моих городках,  
ты пролетом  
в моих комнатах, баснях про Лондон  
и осенних черновиках,

я люблю тебя, мой махаон,  
оробевшее чудо бровастое...

Он риторичен, мысль его дедуктивна — не органична, а задана? Ну да, так бывает у Вознесенского. Он дает тезис — и далее «разматывает» его:

Когда спекулянты рыночные  
прицениваются к Чюрленису,  
поэты уходят в рыцари  
черного ерничества...  
Но самое черное ерничество...  
Но самые черные ерники...

Мой бедный, бедный ерник!  
Какие твои молитвы?..

Но каждому знакомому с поэзией, в общем-то, известно, что это в принципе непохвальное качество может быть свойственно даже и крупным поэтам; поэзия в подобных случаях достаточно «цинична». Ведь всякое свойство стиля может выступать как бы на разных уровнях, в разных слоях. На одном уровне это — промах, на другом — уже «стилевой прием», т. е. нечто сознательное — возвышение над материалом, проявление художественной воли; на третьем — вообще органическая черта таланта.

У Вознесенского это чаще всего — прием, близкий к органичности. В приведенном примере публицистика сознательна, как сознательна и ввод «эпатирующего», но внутренне очень ритмичного слова «ерничество, ерники».

Любопытно, правда, что сам Вознесенский, вот уже много лет выслушивая упреки в «дегуманизации» и подобном, порой, для доказательства обратного, как-то судорожно «прибегает» к риторичности как таковой — на первом, непозитическом ее уровне. Здесь он спешит провозгласить те тезисы, в отсутствии которых его упрекают. Это началось еще в «Озе»:

Все прогрессы реакционны,  
Если рушится человек...

Причем именно за эти истины (конечно, бесспорные сами по себе) его порой хвалят; а за прием, лишь «выдаваемый» за риторичность, — ругают.

Другое, и куда более тяжелое, обвинение Вознесенскому — это уже упомянутый «антигуманизм» и внутренне соединяемая с ним, как теперь говорят, бездуховность (хотя вообще антигуманизм и бездуховность — тоже разное).

Тут его защищать труднее, но не потому, что он действительно антигуманен, а потому, что вся манера его опосредованная и, при всей взвинченности, «зажатая»; бывает в поэзии и такое, и, честно говоря, опять-таки любому, кто соприкасался с ней, с поэзией, особенно с поэзией новейшей, с «поэзией века», этого объяснять не надо.

Он не антигуманистичен, но гуманизм его, повторяю, опосредованный и «расколотый»; он задан иронией, нарочитой «сдержанностью чувств» при общем обострении психических импульсов и напускным цинизмом, долженст-

вующим скрывать душу, которая от неких взоров в желтую кофту укутана.

Вот образец этого стиля у Вознесенского:

Визжат малыцы рожденные  
у повитух в руках,  
как трубки телефонные  
в притихшие века...

Это антигуманизм? Вовсе нет; но поэт как бы стыдится откровенности — и говорит «укутанно».

Однако все-таки именно в связи с этим приемом следует перейти к иному разговору.

Чем раздражает Вознесенский?

Он поэт, он не так уж безнравствен, как кажется; в чем же дело?

Ведь он — раздражает; с тех пор как его прославил Асеев статьей «Как быть с Вознесенским?», прошло уже немало лет; и, как говорится, споры не утихают. Казалось бы, сама констатация этого факта комплиментарна для поэта; с этого мы как будто и начали; но споры эти какие-то странные. Я редко видел человека, который *безусловно* хвалил бы Вознесенского, тем более — умилялся им; да, именно умиления я не видел, а ведь это одно из самых заветных чувств человека в его отношении к поэту.

Вознесенский — поэт, но поэт тех свойств жизни, которые нам — как бы это сказать — сейчас не хотелось бы видеть в соединении с именем поэта, с поэзией. Мы немного путаем все эти вещи. Нас раздражает та жизнь, точнее — та атмосфера, в которую вводит нас Вознесенский; и мы говорим — он не поэт, он не гуманист.

Вознесенский принадлежит той сфере жизни, о которой порой любят говорить: «Это двадцатый век...» Он «ударен» прежде всего тем, что можно условно назвать техницизмом жизни, и даже на самые проблемы гуманизма смотрит сквозь это — не может выйти из атмосферы «механических сил». При этом надо помнить, что сама «техника» — это еще не жизнь; но мироощущение, капиллярно пронизанное техницизмом, — это одно из явлений *жизни* века, и это серьезно. Причем и с мироощущением все не просто. Техницизм Вознесенского — это, может быть, больше борьба со своим же техницизмом, чем подчинение ему; но тем-то и отличается Вознесенский, положим, от человека, который живет так, будто проблемы душевного техницизма вообще нет на свете.

Отсюда тянутся многие и многие нити его стилистики; техницизм, конечно, уже не сам по себе, а вырастает до символа и ключа поэтики; бытовые реалии, моральные категории, сам

темп, мелькание жизни, ее лязг — все связано с этим.

Два разделившиеся эха  
в них пели, плакали, свистели,  
как в двух расстроенных, ореховых,  
стереофонических системах...

Но не слишком ли проста отмычка? и — «вы что, против технического прогресса?».

Нет; дело в том, что «XX век» на какой-то момент — ныне пройденный — вдруг отчасти почувствовал, что «техницизм» есть вроде сама *суть* жизни; что напор механических сил таков, что не следует уже считаться ни с какими другими силами.

Эти другие — стихийные и природные, духовные и мыслительные, светлые и органические, бурные и гармонические — силы непрерывно и могуче напоминали о себе — то гулом революций и бурь народных, то утренним, извечным блеском природы после дождя, то протестом синевой неба, то спором философов на некие темы, не имеющие, казалось бы, никакого отношения к наращиванию машинной мощи человечества, но имеющие отношение к его моральной и мыслительной мощи, — а следовательно, и к машинной в конечном итоге; короче, речь идет о том, что «техническая» (термин этот, конечно, расширительный) сила века будет расти, мы боремся за это, но она должна расти в подчинении у тех социальных, нравственных и природных, «исходных» сил, без которых она бессмысленна и опасна не только физически, но и внутренне. Двадцатый век все более понимает это и, видимо, передаст это понимание, это выстраданное старое, но новое, новое, но старое знание — двадцать первому.

В разных факторах сказывается это. Недаром на Западе у молодежи ширится отвращение к технике и комфорту: известно, что не сама техника виновата, а то, что ее выдают за суть жизни; недаром у нас столь трогательное оживление любви к природе, к голубым небесам и зеленым листьям, некогда забытым на какое-то время, но даже не знающим, что о них забывали; столь искреннее, резкое и порой даже полемическое возобновление любви, внимания к нашей большой классике — к русской классике XIX века, всегда имевшей дело с главными категориями *человеческого, духовного* (а не *механического*) существования.

Вознесенский — поэт — давно знает все это:

Все прогрессы реакционны,  
Если рунится... —

но сам он — поэт другого и знает и это — о себе.

Он поэт того прошлого, которое на некий исторический миг овладело некоторыми умами «типично XX века»; того прошлого, которому почудилось, что можно без простой теплоты, без давней традиции, без прямой любви, без «неопосредованного» чувства, без открытой гармонии, без ясного, свободного разума, без природы, без неба, — а лишь на одной новизне, на скорости, на углах и четких линиях, на технике, на фантастике, на механике, на крутой энергии, на (узко понимаемой) «практике», на (механистически понимаемой) науке; как сказать.

Был момент, когда *сам* XX век давал некоторые основания для такой трактовки жизни. Но если и был, то давно прошел.

Да и был ли...

Положение Вознесенского, при всех его успехах, неуютно; он не может не видеть, что в последние годы неуловимо меняется даже и сам «Образ Поэта», принятый публикой; опять пошли в ход «старые» категории — искренность, простота, свобода и благородство тона, полнота чувства (а не «эмоция»), возвышенность стиля, любовь, духовная глубина, наконец, романтизм в самом «неопосредованном» значении этого слова; вновь пристально вспомнили о Блоке и о Есенине; от поэта ждут понимания природы, высоких, а не «амбивалентных», гражданских

чувств, красоты мира, его глубины и мужества; ждут высокой «наивности» и бесспорных слов.

Вознесенский выше своего «подсознания»; он душой понимает и традицию, и все прочее, и даже прямую теплоту:

Мать снимает пушинки от шали,  
и пушинки

летят

с пальтеца,  
чтоб дорогу по ним отыскали  
тебя бабушки и отца...

И он человек поэтически более искренний и ответственный, чем ему иногда приписывают; но *именно поэтому* он и не может быть менее собой, чем он есть.

Порой он пытается; но ему не удается: он — поэт, притом поэт своего пути, а раз так, то и сразу видно, где свое, а где — та попытка; но, в сущности, он — еще раз — чаще всего именно верен себе, т. е. верен своему материалу и атмосфере — «XX веку» в несколько уже старом, прошедшем значении этого слова.

Спасибо, что свечу поставила  
в католикосовском лесу,

что не погасла свечка талая  
за грешный крест, что я ношу...

«Век шествует путем своим», а поэт — своим; у каждого поэта свое назначение.

## Олег Михайлов

### В СОСЕДСТВЕ ТРАВЫ И МЕТАЛЛА...»

Если бы роль критики сводилась к тому, чтобы хвалить или порицать (а в нашей текущей периодике она, увы, чаще всего этим и ограничивается), то, безусловно, оказалось бы, что легче всего похвалить поэта посредственного. И впрямь: тематика у него выдержана, необходимый набор проблем представляет собой готовое клише для статьи. И перо рецензента, скользя по поверхности, уверенно набрасывает даже не критический портрет, а одноцветный плакат.

Не то поэт истинный.

О нем приходится писать в борении с материалом, в споре, в согласии и несогласии с автором. Потому что за его стихами и в его стихах — живая судьба, своя, особенная и не похожая на твою жизнь, особенный, неповторимый опыт. И хочешь того или нет, а мысль

перемещается в совершенно иную плоскость, где оценочность как таковая отступает, освобождая место сопереживанию, собеседованию, диалогу.

У Станислава Куняева мы найдем стихи и о БАМе, и о Братске, и о Тайшете, и о целине (его первый крупный поэтический цикл 1961 года «Казахстанская тетрадь» был посвящен молодым целинникам). Его непрестанно тянет в «пути кочевые» — в эвенкийскую ночь и к барьеру розового туфа Севана, на перевалы Тянь-Шаня и к светлой байкальской воде, в походную палатку, полог которой немолчно сотрясают дожди. Аэродромы, железнодорожные вокзалы, тамбуры вагонов или мчащийся лесной дорогой автомобиль, — мотив путешествия проходит через все его книги. Только в лучших стихах возникает и длится не просто ге-

ографическое путешествие, но путешествие души, жизнь личности, вобравшей в себя и собою оживотворяющей большие и малые приемы нашего времени.

Ст. Куняев — один из самых ярких представителей поколения поэтов-гуманитариев, прорвавшихся сквозь бетон книжности к живой воде искусства.

Солидная филологическая подготовка, университетская школа, спецкурсы и спецсеминары, знание классики — хорошо это или плохо для поэта?

Однозначно на этот вопрос не ответишь. Сколько мертвого изящества, добротной вторичности, артистичного эпигонства можно найти у иных поэтов, за которыми прочно закрепилась репутация: мастер. Завороженному книжностью таланту грозит литературное мешочничество. Он цепенеет в летаргическом сне чужой мудрости. Он охотно обращается к готовым литературным образам, населяя стихи людьми-цитатами.

Главная примета книжности: она статична. Лирический герой у Куняева нередко появляется с книгой. Даже события Великой Отечественной войны подросток, мальчик воспринимает через обжигающие страницы «Войны и мира» («Читая Толстого»). Но книга отброшена в сторону, лишь только поэт вспоминает сверкающего, как солнце, убитого влет селезня или узкое тело летящей форели («Недочитав одну из важных глав одной из книг...»).

Искус книжности преодолевается движением — разбег переходит в полет.

Стихия движения — и физической яростной активности, и мощной работы рассудка — пронизывает плоть стихов Ст. Куняева и являет нам, можно сказать, его мотор.

Он поэт-аналитик, он размышляет в точных, налитых тяжестью смысла словах о времени, о сущности бытия, о загадке искусства, о своей судьбе.

На все недоставало сил,  
но я фортуне благодарен,  
что здравый смысл меня хранил —  
горжусь, что был рационален!

То, что тщательно скрывали бы, чего стеснялись бы иные поэты, — рациональность Ст. Куняев подымает, как флаг, как транспарант: «Я здесь стою!» Это может сделать стихотворец только от сознания своей силы и цельности.

Отсюда, как следствие, хорошая публицистичность, глубокая гражданственность и патриотизм поэзии Ст. Куняева.

Непонятно, как можно покинуть  
эту землю и эту страну,

душу вывернуть, память отринуть  
и любовь позабыть, и войну...

Эта непримиримость к идейным противникам, здоровый инстинкт государственности соединяются у Куняева с широтой, позволяющей примирить, кажется, непримиримые — поллярные точки.

Даль составил Российский словарь,  
Мейерхольд объяснил «Ревизора» —  
надо было повясть эту даль,  
эту тайную силу простора.

Можно было бы, конечно, возразить автору, что еще не известно, объяснил ли Мейерхольд «Ревизора» или, напротив, затемнил, но спору мешает одно немаловажное обстоятельство: ни Ст. Куняев, ни пишущий эти строки не имели возможности побывать на спектаклях Мейерхольда, что и делает спор бессодержательным. Опять-таки и это качество поэта — его открытость разного рода культурным ветрам — связано с прочтением и усвоением многочисленных источников (филолог!), позволивших повенчать Даля с Мейерхольдом.

Но книжный ток, касание которого так тонко чувствует муза Ст. Куняева, слабеет вблизи биения живой жизни, естества, первоинства:

Ни Пушкин, ни Блок, ни Есенин  
тебе не помогут, когда  
опять в полумраке весеннем  
шумит молодая вода...

Поэт, прошедший искус книжной эрудиции, возвращается к чувственному познанию мира, как возвращается в свое детство, на одну из улочек Калуги, где «в соседстве травы и металла» рос мальчик, подросток, юноша. Бумажный змей, пропадающий в небесной голубизне, возникающие из глена бабки и деды, — путешествие в детство не поглощается эмоциями, но способствует той же аналитической работе мысли. Оно помогает поставить главный и трудный вопрос: «над связями правды и кривды задуматься, глядя во тьму».

Эта связь прощупывается поэтом и в отшумевшей исторической эпохе, его сформировавшей, и в противоречиях сегодняшней личности, и в чертах технической революции. Причем «соседство травы и металла» обусловило многие особенности поэтического мира Ст. Куняева. Он чувствует одновременную связь и с природой, миром растений, птиц, и с машиной из косного железа, которая «с тяжким свистом» несется вдоль леса, «попирая законы его». Преобладание аналитического начала обуслов-

ливаает то, что Ст. Куняеву ближе вершины разрозненного бытия, а не его сплетенные корни.

Выдвинутой чуть ли не в лозунговом порядке рациональности противостоит биение сердца, отзывающегося на чужую боль и обиду. Этой

стихии сопереживания рассудок не способен противостоять; он отступает со словами:

Без людских печалей и потерь  
я бы одиноким и свободным  
прожил век, когда бы, как форель,  
сердце было сильным и холодным.

## Виктор Калугин

### ДАР ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ

Есть актеры, всю жизнь и в любой роли играющие самих себя. Но есть и другие, умеющие, как говорил некогда великий Щепкин, «влезть в чужую шкуру». И дело вовсе не в том, какой дар лучше. Просто они разные, по природе своей разные — вот что важно.

Редким даром поэтического «перевоплощения» обладает Валентин Сорокин. Это не значит, конечно, что он теряет свое лирическое «я», что его лирика обезличена. Нет! Он может говорить и часто говорит о себе. Только при этом он способен еще «шеревоплотиться», а это значит — найти подобие своим чувствам во внешних образах, сравнениях. Так, чувство тревоги, внутреннего смятения превращается у него в метафору: «и мой самолет за тучей кружился, как сумасшедший», и это чувство действует, воплощенное как метафора, уже помимо поэта, вне его. А вот из другого стихотворения, вполне лирического и даже типично лирического: «Закрой-ка, дорогая, двери, я исповедью повторяюсь. Легко, легко я людям верил, да тяжело разуверяюсь...» Кажется бы, после такого вступления мы и должны выслушать исповедь поэта о том, как он верил, как тяжело ему разуверяться (тема обозначена). Тем не менее далее мы читаем стихи как будто совсем о другом: о том, как «леса умолкли белотропные», как «отгуляла лебедь-рыбица», как «месяц прокатился вкрадчиво» и т. д. Поэт резко (быть может, слишком резко; у Анатолия Жигулина такой «переход» почти незаметен) перевел свои внутренние ощущения во внешние образы-подобия. А это, собственно, и есть тот самый «перенос» с помощью сравнения или уподобления, который Державин очень образно назвал «иероглифами или немым языком поэзии», когда невидимое передается через «видимое въявь».

В последние годы в своих исторических поэмах «Бунт», «Сейитназар», совсем недавних — «Евпатий Коловрат», «Дуэль», в своих

лирических стихотворениях на исторические темы («Монолог гусяря», «Письмо князю», «Иоанн Грозный», «Император») Валентин Сорокин широко использует возможности еще одного классического вида «переноса» — но уже во времени. И в этом Валентин Сорокин последовательно выступает как продолжатель одной из лучших традиций русской советской поэзии.

О традициях в творчестве Сорокина хочется сказать особо. Например, о его постоянном обращении к традиционным образам поэзии и фольклора, об использовании так называемой «нейтральной» лексики. У него — и соловьи («опять запели соловьи»), и лебеди («красным лебедем солнце садится»), и гуси («гуси, гуси, гуси по синеве апреля»), и конечно же рябины, березы («кровавые гроздья роняет рябина», «светится тихо береза белым, холодным огнем»). И впрямь, что может быть традиционнее. Но Валентину Сорокину именно это и необходимо — узнаваемость. Для него такая узнаваемость имеет принципиальное значение и тоже относится к числу выразительных средств.

Не раз и не два мы встретим в его стихах образ ворона.

Черный ворон, угрюмая птица,  
Бесприютная, злая душа,  
Чем сегодня ты можешь гордиться,  
Расскажи, бородач, не спеша?..—

обращается он к ворону в одном из лирических стихотворений. А в прологе к поэме «Бунт» вновь повторяет этот вопрос: «Ты зачем кружишься, ворон, черная беда?..» Зловещий облик ворона, предрекающего гибель русам, возникает в поэме «Евпатий Коловрат», точнее даже — он одно из главных «действующих лиц» поэмы. «Вороны-драконы», вороны «каркающие тучи» и почти всегда рядом, как вечная антитеза, «сокол сизый, удалой и резкий» — два постоянных образа его поэзии. Используя

подобные образы — хорошо знакомые, уже закреплённые в нашем сознании вековой традицией, Валентин Сорокин тем самым говорит со своим читателем на языке, понятном им обоим, не требующем дополнительной расшифровки.

Другой столь же постоянный поэтический образ В. Сорокина более индивидуален, непосредственно связан с личной судьбой поэта. Это — огонь.

Где огонь,  
Там, жаром осиянны,  
И дела и помыслы чисты.  
Это я — защитник постоянный  
Нежности твоей и красоты!

Не без пафоса говорит это Валентин Сорокин, отталкиваясь не от общелитературной традиции, а от индивидуального восприятия. Он сам был сталеваром, десять лет простоял у мартена на Челябинском металлургическом. Именно поэтому в его стихах «огонь» всякий раз имеет не только метафорическое, но и самое что ни на есть буквальное значение. А такое сочетание сразу двух художественных приемов (метафорического и автологического) дает самый неожиданный эффект — стихи приобретают двуплановость, становятся многозначны.

Глубоко трагические черты приобрел символ огня в его одноименной поэме и в новой, недавно опубликованной — «Плывущий Марс». Огонь в ней — «символ жизни, вестник смерти черной», в единоборство с которым вступает человек.

Нет спору, профессия накладывает свой отпечаток на человека — его характер, мышление. У Валентина Сорокина черты его «огненной» профессии ощутимы поныне в особой интонационно-ритмической окраске его стиха, когда даже поэмы «держатся» не на сюжете, а на ритмических перепадах, на движении самого стиха. Есть температура кипения воды, а есть температура красного каления железа (как сказано в «Подростке» Достоевского).

## Ст. Рассадин

### ИМЯ

«...Я — сочинитель, человек, называющий все по имени, отнимающий аромат у живого цветка». Это у Блока сказалось горько, стыдливо и очень по-русски: наши поэты так часто безвинно корили свое «святое ремесло» за беспомощность, хотя бы сколько угодно от-

Вот такого «красного каления» порой достигают стихи В. Сорокина...

Есть еще одна традиция, которой остается верен поэт. Традиционная тема, по сути, всей русской поэзии. Это — тема России, ее исторических судеб, ее прошлого и настоящего. О своем понимании чувства патриотизма, о предназначении поэта Валентин Сорокин говорит четко:

Я, покуда враз не обессилю,  
Вижу в том призвание свое:  
Жить в России  
И ценить Россию,  
Защищать Россию,  
Суть ее!

А в другом стихотворении: «Рожденный матерью Россией, я лишь защитник! Я в мессии, в пророки — не гожусь ее...» Именно таким — защитником чести, славы, достоинства Родины — он предстает во многих своих стихах. И в начале творческого пути, когда Валентин Сорокин, по его собственному признанию, был «баррикадником безоговорочным», и сегодня, когда пришла «иная пора» («и на линии зла и добра я в спокойствие разума верую»), одна идея остается для него основополагающей. В стихах он выразил ее так:

Хранить нам славу предков надлежит,  
И ты не гость, не временный посредник,—  
История тебе принадлежит,  
России прозревающий наследник!

Это — его «верую». Отсюда и пафос, отсюда и декларативность, без которых в русской поэзии не состоялось утверждение ни одной подлинно высокой идеи. Отсюда же еще один тяжкий «грех» — тенденциозность. Та самая тенденциозность, о которой художник Иван Крамской в свое время сказал: «Остается только быть искренним, чтобы быть тенденциозным».

А Валентин Сорокин искренен. Это не вызывает сомнения.

носительную; мечтали: «о, если б без слова...». В этом, я думаю, сказалась мучительная и драгоценная черта российской поэзии: совесть, неприятие хоть малейшего самодовольства.

Вряд ли случайно одареннейший Северя-

нин, возвестивший о себе: «Я гений...», этой строчкой и запомнился как фигура комическая. Несправедливо — и справедливо.

Чуть ли не двадцать лет назад совсем еще юный Олег Чухонцев писал:

Я в истории весь. Это значит —  
Славословить и врать не к лицу.  
Опознать. Объяснить. Обозначить.  
Имя дать — и творцу, и глупцу.

Очень нравились мне тогда эти строчки, да и сейчас не разонравились; пожалуй: зачем отнимать у молодости право быть такой уверенно-отчетливой? И все-таки...

«Я в истории весь». Весь? Целиком? С ручками, как в теплом пруду? Черта с два:

Что мне шумит, что мне звенит издали рано предзорьями?  
За семь веков не оглядети! Как же за жизнь разберешь?

Это уже недавно написано.

«Имя дать и творцу, и глупцу». Всех называть по имени, согласно Блоку. Опознать. Обозначить. Разглядеть как на ладошке. Правильно? Благородно? Конечно. Но снова — через годы — приходит совсем иное ощущение:

Я видел: мир себя же самого  
ломал и ладил волей своенравной.  
И я подумал, глядя на него:  
покуда он во мне, я в нем как равный.

Когда он вправду одухотворен  
людским умом и разумом звериным,  
да будет он не скопищем имен,  
но именем, всеобщим и единым!

Куда девались юные четкость и уверенность?

Не самоуверенность, нет: ее и тогда не было. Уверенность в определенной прямизне поэтического дела, — хотя, кажется, что ж в том дурного?..

Когда Чухонцев только начинал печататься, он удивил — меня, по крайней мере, — ранней самостоятельностью. Слово бы он миновал период ученичества: во всяком случае, читателю оно явлено не было. И, предваряя в 1962 году, в журнале «Молодая гвардия», его подборку крохотным предисловием, я озаглавил его строчкой из черновики Баратынского: «Достоинство обдуманых речей». От чего не отрекаюсь.

Однако зрелость, — как и талант, как и ум, — понятие не статическое, а динамическое; у нее свой рубежи, свои подъемы и, случается, провалы. Мы любим говорить о расцвете таланта, но пора цветения должна кончиться, чтобы пришла пора плодоношения.

Только что вышедшая в «Советском писателе» книга Чухонцева — первая у него. И в то же время нечто вроде избранного; удачно название ее: «Из трех тетрадей». Это не начало, не цветочки, это уже ягодки.

Стремление к воплощенности — вот черта поэзии Чухонцева; я готов ее подчеркивать отчасти даже полемически, ибо сейчас часто уповают на подтекст, жертвуя текстом, дорожат образом предмета, а не мира, скопищем имен, а не именем всеобщим. Тут даже с самим Чухонцевым можно полемизировать.

Талант отличается от одаренности не только тем, что может больше, чем она, но и тем, что может меньше; стиль — это не сумма множества умений, а неумение писать иначе и быть иным. И словно бы нарочно для того, чтобы прояснить для нас характер своего таланта и стиля (прояснить от противного), Чухонцев сочинил двустипшие:

Во сне я мимо школы проходил  
и, выдержать не в силах, разрыдался.

Когда я читаю у Вознесенского стихотворение, состоящее из еще меньшего количества слов: «Сколько звезд! Как микробов в воздухе!» — я не удивляюсь и не протестую против него больше, чем против многих его стихов, вполне многострочных. Это органично для Вознесенского, неотрывного от эксперимента, вызова, эпатажа. Для Чухонцева (я не ссорю поэтов, только сравниваю) подобное неестественно. Значит, не нужно. Обрывочность ему чужда, его поэзия — процесс, всякая строчка важна для него, как ступенька лестницы, не меньше и не больше: сама по себе она не способна дать нам представление ни о длине лестницы, ни, тем более, о том, куда лестница ведет.

Какова бы ни была строчка Вознесенского о звездах-микробах, она узнаваема. Двустрочие Чухонцева, обделенное главным, не имеет вида на жительство.

Кому как, — мне это мило. Даже дорого.

«Говорун», «чиновник бедный» — так может обзвать себя несамодовольствующийся поэт, и это не показное и модное смирение, а нормальное, так сказать, рабочее состояние души.

«Я наконец в искусстве безграничном достигнул степени высокой», — говорит пушкинский Сальери, и надо обладать его умом, чтобы понять: искусство безгранично, — но и самодовольством его, чтобы гордиться высотой достигнутой ступени. Потому что — как определить высоту при безграничности?

«Похвала Державину» — называется стихотворение Чухонцева, и похвала так естественно оборачивается хулою для него самого:

Первейший муж, последний жок,  
не про тебя моя побаска:



я сам не плох, но — видит бог —  
не та мука, не та закваска.

Малец, себя не проворонь —  
ори! А нету отголоска,  
как он — из полей в огонь —  
не можешь? В том-то и загвоздка!

Загвоздка, закваска... Хорошие, негладкие русские слова царапают и беспокоят.

О Державине, о Дельвиге, о Баркове пишет Чухонцев, и в стихах видна филологическая культура, но ее проявление попутно, как попутно и автоматически проявляется воспитанность в житейски воспитанном человеке; занят же поэт другим. Поиском традиции, опоры, «точки Архимеда» — душевной и духовной.

Творец, ты бессмертный огонь сотворил:  
он выкурил трубку, а я закурил,—

вряд ли случайно эта формула связи и связности горчит иронией: за нею — понимание того, как непросто возникают связи.

В юности открывают мир для себя, себя в мире. После — мир в себе. *Себя для мира.*

Если произвести замедленную съемку великих пушкинских слов, то всякий стихотворец успевае́т сказать: «Я жить хочу...», но далеко не всякий способен договорить: «... чтоб мыслить и страдать».

Поиски связи и связности, которыми занят Чухонцев, не легки. Еще в молодом стихотворении «Попугай» жажда нежности и близости заговорила ясным и пронзительным языком:

Корабли от Земли улетают,  
но вселенская бездна мертва,  
если здесь, на Земле, не хватает  
дорогого для нас существа.

...Так кричи над разбуженным бытом,  
постигай доброту по складам.  
Я тебя, дуралея, не выдам.  
Я тебя, дурака, не продам.

По-детски, по-айболитовски условна ситуация, в которой другом должна стать маленькая экзотическая птица, — но искренне чувство. С годами чувство крепло, а нужды в придумывании ситуаций, увы, становилось все меньше. Приходили наиреальнейшие потери:

...И я сказал: — Не ты со мной сейчас,  
не вы со мной, но помысел о вас.  
Но я приду — и ты, отец, вернешься  
под этот свет, и ты вернешься, мать!  
— Не говори, чего не можешь знать, —  
услышал я, — узнаешь — содрогнешься.

Блок стеснялся литературской привычки расчленять мир, «называя все по имени». Другой писатель, Олеша, однажды ощутил не то что стыд — ужас.

Он рассказывал одному из друзей свой сон:

— Лежу я где-то на чердаке, на рваном матраце, неукрытый, продрогший, и денег у меня нет. И приходит ко мне смерть. Пыльная смерть на чердаке, с косой и говорит: «Скажи, что ты умел делать в этой жизни?» Я отчаянно и гордо отвечаю: «Я умею все называть другими словами!» — «Ну, назови меня». И понимаешь, что самое страшное? Я не могу ее назвать...

Не зря, видно, древние племена создали табу: во всяком случае, умолчание лучше суесловия.

Добиться простоты, ясной и бесспорной, как осмеянное ценителями «дважды два», получить право обойтись без ошеломляющей рифмы и зачаровывающей метафоры — трудно. Молоденький Чухонцев еще мог облизнуться от фамильярного каламбура: «о плечистая дева Мария»; сегодня, да еще перед лицом родительской смерти, он прост арифметически:

И всех как смыло. Всех до одного.  
Глаза поднял — а рядом никого,  
ни матери с отцом, ни поминанья,  
лишь я один, да жизнь моя при мне,  
да острый холодок на самом дне —  
сознание смерти или смерть сознанья.

И прожитому я подвел черту,  
жизнь разделив на эту и на ту,  
и полужизни опыт подытожил:  
та жизнь была беспечна и легка,  
легка, беспечна, молода, горька,  
а этой жизни я еще не прожил.

«Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать». Гениальные слова можно ведь и переиначить: мыслю, страдаю, — стало быть, хочу жить. «Оптимистическая трагедия» — название это только внешне парадоксально; всякая трагедия оптимистична, ибо, касаясь обрыва бытия, она говорит о его смысле.

...У истинной лирики есть странное свойство: она, голос личности, стремится к некоему самоотречению. Личность преодолевает в себе все *слишком индивидуальное*: привычки, пристрастия, причуды, она старается воплотиться в окружающем: в людях, в мире, в истории, в родине, малой и большой. Отстояться в них. И тем самым — устоять. Обрести имя, что в поэзии равнозначно судьбе:

Родина! Свет тусклых полей, омут речной да излучина,  
ржавчина крыш, дрожь проводов, рокот быков  
под мостом, —  
кажется, все, что улеглось, талой водой взбаламучено,  
всплыло со дна и повеслось, чтоб отстояться потом.

Это «потом», кажется, наступило для Олега Чухонцева.

V





ИЗ «МУРАВСКОЙ ТЕТРАДИ» А. ТВАРДОВСКОГО

В архиве А. Твардовского сохранилась рабочая тетрадь 1934—1935 годов, периода создания поэмы «Страна Муравия».

Предлагаемые читателям наброски из этой тетради не вошли в текст поэмы. Одни из них были задуманы автором как эпизоды путешествия героя к стране Муравии, другие представляют собою его воспоминания и размышления. Часть написанного вообще представляет заготовки, не потребовавшиеся автору в его работе. Другая часть, входившая в первые неопубликованные варианты глав поэмы, в дальнейшем была опущена, видимо чтобы более сосредоточить внимание читателя на цели путешествия героя и на узловых происшествиях, составлявших в то же время сюжет поэмы.

Публикуемые наброски, несомненно, имеют и свою собственную художественную ценность и существенно дополняют и расширяют уже сложившееся представление о поэме Твардовского. Читатель вновь ощутит взволнованную атмосферу годов «великого перелома», когда переустройство деревенской жизни коснулось многих миллионов людей.

*М. И. Твардовская*

ВЫЕЗД<sup>1</sup>

Как говорится, не с добра  
На неизвестный срок  
Молчком уехал со двора  
Никита Моргунок.

Когда бы ехал на базар —  
Повел бы разговор.  
Когда бы в гости — бабу взял,  
Когда бы в лес — топор.

Собрал кошелку да армяк,  
Дегтярку подвязал.  
Гадай как хочешь, так ли, сяк,—  
Хозяин не сказал.

Занес вожжу, бочком присел  
И тронул Моргунок.  
И след зеленый по росе  
До поворота лег.

Пошли привычные места  
На много верст кругом.  
Кусты, поля. И стук моста,  
Как скрип дверей, знаком.

Глазам тепло, теснит в груди —  
Себя не перемог.

<sup>1</sup> В тетради пометка автора: «Проба начала».

А на дороге впереди  
Сидит и ждет Волчок.

— Домой, — кнутом ему грозят,  
Кричат — и нипочем.  
Вернется будто бы назад  
И снова за конем.

Тогда Никита поманил:  
Волчок, Волчок, Волчок!  
И, не слезая, что есть сил  
Кнутом его ожег.

Волчок залился у колес  
И брюхо поволок.  
И подогнал, дуги от слез  
Не видя, Моргунок.

\* \* \*

Собачий лай стоял окрест,  
Крик, гомон в поздний час.  
Не едут воры ночью в лес —  
Не нужен стал запас.

Про все дела, про двор, про скот  
Хозяин позабыл.  
То на ночь уходил на сход,  
То смертным поем пил.

И места не было в дому:  
Досталось одному  
За прадедов и правнуков  
Решать вопрос ему.

\* \* \*

...Отец большой лошажник был,  
Сбивался на коня.  
Лет пять копил,  
Коня купил...  
Век не забуду дня.

Сидим вот так, глядим, — ведет,  
В чем дело — не пойдем.  
А конь то задом упадет,  
То рухнет передком.

Отец нагнется, обоймет,  
Поставит передок.

А конь тогда, наоборот,  
Сидит без задних ног.

Выходит, помню, дед во двор,  
На лошадь ту глядит в упор.  
Взглянул, вздохнул: едрит-кудрит...  
Ты дай ей в морду! — говорит.

А конь стоит, не ест, не пьет,  
Подует ветер — упадет.

Отец на чурке у крыльца  
Присел. Кругом народ.  
Трясутся плечи у отца,  
Как маленький ревет...

\* \* \*

Посыпанные иголочками,  
На холмике у реки  
Под елочками-сосеночками  
Песчаные бугорки.

Лежат там старые жители,  
Махнув на весь свет рукой.  
Жизни они не видели  
И знать не знают другой.

## ПЕЧНИК

Тихо в бороду свищет Никита,  
По усадьбе один бредет.  
На отлете в срубе покрытом  
Бабьим голосом кто-то поет.

Заглянул он в створки пустые,  
Видит, печку кладет печник.  
Со слезинкой глаза голубые,  
И большое радушие в них.

Он поет, обрызганный глиной,  
И Никиту манит рукой,  
И, закончив припевок длинный,  
— Здравствуй, здравствуй, — сказал, —  
дорогой.

— Что ж, в колхозе? — спросил Никита.  
— Нет, пока еще нет, сынок.  
Вот уж скоро семьдесят лет  
Не в колхозе, и горя нет.

— А богатство, гляди-ка, у них!..  
— Ту ты, что! — замахал печник.—  
Не в богатстве счастье, сынок.  
Был бы хлеба кусок,  
Да водицы глоток,  
Да изба с потолком,  
Да старуха под боком.  
Я, сынок, тебе вот что скажу,  
Лет полсотни по свету хожу.  
Не дал бог мне здоровой семьи:  
Незадачные детки мои.  
Первый разумом слаб, а другой  
Не владеет правой рукой.  
А старуха глазами убога —  
По стене идет до порога.  
Три калеки, сынок, у меня...  
И хожу до последнего дня.  
До последнего в жизни дыхания  
Добываю на всех пропитание.  
А под праздник расчет получу,  
В лапти — скок! — и домой полечу.  
Прилетаю к ночи домой,  
Тут и, господи боже ты мой,  
Тут и праздник у нас и престол,  
Тут сажу я старуху за стол.  
А обапол садятся сыны —  
Сын — с одной стороны,  
Сын — с другой стороны.  
Вместе детки сидят и родители.  
И большие мы песен любители.  
И сидим мы вот так за столом,  
И любимую нашу поем.  
Как сижу за решеткой я в темнице сырой,  
Подлетает к решётке орел молодой.  
Он зовет меня взглядом, зовет криком своим,  
Он мне вымолвить хочет: давай улетим.  
Полетим мы, товарищ, в далекие края,  
Где счастливая доля, удача твоя.

\* \* \*

В хороший золотой денек  
Лугами, лозняком  
Шагал Никита Моргунок  
На церковь прямиком.

Зубчатый лес темнел вдали,  
Кучнели облака.  
И нитки белые плыли,  
Плыли издалека.

И все, что думал, что смотрел,  
Смешалось, точно сон.

А хлеб, он вырос и созрел  
И хлебом пахнет он.

Село. Ограда. Все как встарь.  
Молись, кому не лень.  
Но в сторожа небось звонарь  
Пошел за трудовень.

Поповский домик. Сельсовет.  
Обшарпанный порог.  
И запах памятный тех лет —  
Махорки, паленых газет  
И грязи от сапог.

И в комнате, один душой,  
Парнишка за столом.  
Сидит и пишет, как большой,  
И ноги босиком.

— Тебе Петрова? Нет его.  
Должно быть, на гумне...  
А что касается чего,  
То обратись ко мне.

Любой вопрос и всякий факт  
Через меня идет:  
Рожденья акт, и смерти акт,  
И от жены развод.

Могу с одною развести,  
С другою записать.  
И номер в книгу занести,  
И припаять печать...

\* \* \*

На взгорье селенье встало,  
У самой реки погост.  
Коротко стукнул старый,  
Сдвинутый набок мост.

Деревня. Плетень поломан,  
Изба с отбитым углом.  
Мох, дерева да солома  
Соломенная кругом.

И всё — дворы, огороды,  
Куриная пыль у ворот —  
Как было многие годы,  
Так было еще в тот год.

А дальше белели стены,  
Сосновой несло смолой,



Кипели опилки пеной  
Под [шаркающей] пилой <sup>1</sup>.

Меж белых ложилось черное —  
Под крышей, что звон оно —  
Сухое и закопченное  
Со старых дворов бревно.

И видимо, что не на́ год,  
На добрые сорок лет  
По бревнышку бревна лягут,  
И по́мину больше нет.

Растет с четырех углов  
Двор новый на сто голов.  
Отделанный сруб золотой  
Налей по окна водой,  
И если где потечет —  
Работа не в счет.

Курчавой стружкой забитый,  
Старик по лесам идет.  
— Колхозник? — кричит Никита.  
— Ого, — отвечает тот.

На широкий солнечный скат  
Выбегал малолетний сад.  
А выгоном вдоль ограды  
По улице по прямой  
Бредет, колыхаясь, стадо.  
На полдень идет домой.

Шагает за стадом сытым  
Пастух, как Наполеон.  
— Колхозник? — кричит Никита.  
— А что ж, — отвечает он.

По пояс скрытые лугом,  
От кустиков у реки  
Ведут прокос полукругом  
Бабы и мужики.

В рубахе, прилипшей к лопаткам,  
Тяжело, с перерывом дыша,  
От соленого да с устатку  
Пил косарь из ковша.  
— Что ж, колхозник? — спросил Никита.  
Тот все пил, и тряслась борода,  
Серебром осыпалась вода,  
И когда напился, тогда  
Вытер лоб молодой непокрытый,  
Улыбнулся и крикнул:  
— Да-а!..

*1934—1935*

---

<sup>1</sup> В строке зачеркнуто «шаркающей». Видимо, автор собирался подыскать другое определение.—*М. Т.*



А. Т. Твардовский. Рис. А. Базлакова

## Алексей Базлаков

### «НА ЧУДО НЕ НАДЕЙТЕСЬ...»

Весной 1970 года Твардовский пригласил меня на дачу в Красную Пахру.

Долгое время я тревожил Александра Трифоновича телефонными звонками: мне хотелось его порисовать. В принципе он как будто был не против, но занятость не позволяла ему уделить мне время. Он шуточно говорил: «Звоните, не стесняйтесь».

И я звонил. Ждал. И дождался.

Об этом мне сказала его дочь Ольга Александровна, когда я однажды позвонил, чтобы напомнить о себе.

Я был рад и в то же время оробел, оробел потому, что встреча предстояла один на один, а мне думалось поначалу, когда мы договаривались, что рисовать я буду в редакции, в кабинете, во время работы, при людях. Так было бы для меня легче.

Правда, в то время я уже знал, что он оставил работу в редакции, и приглашение на дачу было естественным, но все же что-то меня тревожило.

В дороге с женой Твардовского Марией Илларионовной о многом говорили, и здесь я пытался что-то узнать, чтобы быть готовым в какой-то степени ко встрече, к работе.

Когда приехали, уже вечерело. Александр Трифонович встретил нас на улице, у калитки. Видно, в чем был дома, в том и вышел, — с непокрытой головой, в рубашке.

Поздоровались.

Все как-то необъяснимо просто. Вот оно и первое впечатление: для меня оно во многих случаях было решающим. Что же на этот раз?

В прихожей нас встретил большой черный пес, прямо-таки медведь. Но взгляд у него был настолько мудрый, что я не дрогнул перед его мощью, а сразу ощутил его доброту. Я спросил, как его зовут, какой породы. Александр Трифонович сказал:

— Это Фома — породы водолазов.

Затем Александр Трифонович пригласил меня в уютный кабинет с большим окном. Стеллажи, книги, письменный стол, два стула, небольшая тахта — вдвоем и не развернешься.

Мария Илларионовна принесла \*корреспонденцию. Позвонил телефон, и он, извинившись, взял трубку.

Не задумываясь, я начал рисовать. В это время (в течение 10—15 минут) я сделал несколько рисунков пером. Вначале одну голову, затем части лица. Чувствовал себя свободно: он своим делом занят, я — своим. Так бы весь вечер. Но — увы.

Трубка положена, письма просмотрены, завязывается разговор. Рисовать я уже не мог, возможно потому, что он был близко и выражение его лица то и дело менялось, так что не мудрено было и растеряться.

Когда речь зашла о портрете как о жанре, я довольно запальчиво стал утверждать, что портрет как жанр умирает, что фотография с успехом заменяет художников, и чего-то еще наговорил... Александр Трифонович мне возразил и добавил, что и в литературе портретный жанр сохраняется. В качестве примера он назвал повесть, которую я, к стыду своему, не читал, в чем ему и признался.

Он был удивлен. Еще более удивился, услышав от меня, что я вижу его впервые.

— И вы до этого нигде не встречали меня, не слушали во время выступлений?

— Нет, не встречал, не слушал, — сказал я.

— Как же вы собираетесь меня рисовать — не зная меня, не зная моих интересов и вкусов и вообще того, что происходит в литературе сегодня?.. Извините, что я об этом вам говорю, — расстроено добавил он.

— Вы вправе меня упрекнуть, — сказал я. — Так все нелепо складывается, что не знаешь, за что братья. Времени не хватает даже на самое главное — живопись, рисунок. А работаешь с утра до вечера, без выходных...

Я замолчал, думая про себя: это уж ни к чему, такая исповедь.

Да, я был выбит из колеи. Я не рисовал, а разговаривал, и разговор был не вообще, а конкретный — о литературе.

Кто кого изучал: я его или он меня? Разумеется, он — меня. Ему, вероятно, не менее важно было знать меня, человека, чем видеть мои наброски. Он еще раз взглянул на рисунки и сказал:

— Что ж, для начала — может быть...

Потом поинтересовался:

— Кого из поэтов рисовали?..

Я перечислил несколько имен.

— А кого из прозаиков?

Я назвал.

— В данный момент над кем работаете?

— Над К.

Он недовольно сказал:

— Как же можно противоположных по духу и характеру людей рисовать одновременно?..

Я не ответил ему, но про себя подумал: мне хотелось рисовать, а это важнее симпатий и антипатий. И я перевел разговор на художников.

— Как вы относитесь к Павлу Коряну? — спросил я.

— Что ж, могучий художник, — ответил он.

...До ужина я сделал еще несколько набросков: вот он стоит у приемника; вот взял журнал, надел очки, сел за стол; задумался, поднял голову, улыбнулся; я пытаюсь схватить каждое новое его положение. Удивляюсь, откуда взялась у меня эта репортерская настырность.

Помню: за ужином, когда пили чай, в вазочке лежали «сливочные коровки». Не знаю почему, но я сказал, что до войны, в детстве, они были вкуснее. Александр Трифонович грустно заметил:

— В детстве и лесные орехи слаще шоколада...

Мне постелили в кабинете. Долго не мог заснуть. Искал компоновку для завтрашнего портрета, но так ни на чем и не остановился. Что ж, утро вечера мудренее, — утешал я себя.

...Я думал, что проснулся раньше всех, но Александр Трифонович был уже на ногах: что-то делал или просто ходил возле дома.

Утро было светлое, пели птицы, и я, почти два года не вылезавший за город, залюбовался природой.

Но вот он прошел рядом: возбужденный, волосы растрепаны, как от большого ветра. Я стал готовиться к работе.

— Алексей Иванович, — добродушно сказал Твардовский, — может быть, продолжим у вас в мастерской? Для начала достаточно и тех рисунков, которые деланы вчера... На чудо не надейтесь, — добавил он то ли шутя, то ли всерьез.

Но бумага наколота, уголь готов. Хотелось взять широко и точно. Он сел на широкой тахте, мне же предложил кресло почти напротив себя.

Я сделал несколько набросков-компоновок. Что-то меня не устраивало: возможно, потому, что разворот головы был схож с рисунком Верейского, или потому, что коррида Пикассо, висевшая на стене позади Твардовского, как-то не вязалась с ним, — и я попросил его пересестя.

Когда он пересел в кресло, то сразу как-то провалился, обмяк и даже изменился в лице. Он попытался себя организовать, но это давалось ему с трудом.

Я начинал понимать, что произошла ошибка, поэтому поспешил закончить этот рисунок, чтобы начать заново, из другого положения. Видно, то, первоначальное положение было ему удобней, привычней, а я как художник не смог оценить этого сразу.

Александр Трифонович встал, извинившись, что надо размяться. Посмотрел на рисунок.

— Что ж, рука набита, — сказал он.

Эта фраза меня настрожила.

Он продолжал:

— Сам по себе рисунок, может быть... Правда, выражение не то, какое-то спесивое, кислое... и не хватает затылка... Это больше похоже на П.

Позвал жену и уже нервно сказал:

— Смотри, что получилось...

Он был огорчен.

— Алексей Иванович, я же вам говорил: на чудо

не надейтесь. Для начала достаточно и тех набросков, которые вы сделали вчера.

Тут я стал убеждать его, что следующий заход будет удачным, что я начну рисовать с прежнего положения — на тахте. Говоря это, я готовил новый лист бумаги, но он сказал, что на сегодня хватит, и, положив руку мне на плечо, добавил:

— Не обижайтесь за некоторую резкость с моей стороны — это ради дела.

На прощанье Твардовский подарил мне свою книжечку и надписал ее: «Алексею Ивановичу Базакову — с пожеланием ему всего доброго на этом свете. А. Твардовский. 3.4.70 г.»

Затем по моей просьбе он дал мне несколько своих фотографий, чтобы я мог до следующей встречи их посмотреть. Достал со стеллажа новую папку с завязками, аккуратно вложил в нее фотографии и книжечку и протянул мне:

— Так будет удобнее.

Провожая меня, спросил, есть ли деньги на дорогу. Я ответил:

— Целых три сорок пять.

Он улыбнулся.

Мы шли медленно: он — впереди, в больших спортивных ботинках прокладывал след в талом весеннем снегу.

— Александр Трифонович, осторожнее, — говорил я.

— Ничего, не провалюсь, — шутил он, — хотя и тяжеловат, но ступни у меня большие.

По дороге встретился какой-то мужчина. Они поздоровались, заговорили о каких-то хозяйских делах, — видимо, человек этот был из местных.

Я стоял в стороне, сознательно не приближался: хотелось видеть его с расстояния.

Черная куртка со стоячим, глухим воротником придавала строгость; носки поверх брюк, почти до колен, удлинляли фигуру; голова с большой фуражкой, чуть наклонившись, держалась высоко.

Вид у него был внушительный, монументальный. Палка, на которую он опирался, придавала равновесие, устойчивость.

Они простились.

Немного пройдя с Александром Трифоновичем, и я простился с ним. Договорились, что буду звонить, а при первой возможности мы встретимся у меня в мастерской.

Вскоре он заболел и слег. Прошло много месяцев — мы не виделись. А потом он умер. На той тахте, где, как тогда казалось мне, он сидел неудобно и потому наброски не удались.

Я и сейчас продолжаю работать над его портретом.

...Вот он сидит на тахте, развернувшись к людям: взгляд чуть в сторону, не в упор, руки со сплетенными пальцами опущены на колени.

Все больше осознаю виденное, но одно дело — осознавать, другое — воплотить на холсте.

Его предостерегающее: «На чудо не надейтесь...» — звучит и мучительно, и обнадеживающе.

А мои рисунки, о которых шла речь, оказались последними сделанными при жизни с Александра Твардовского.

# Ярослав Смеляков

## 1913–1972

Передо мною лежат школьные, в косую клетку, тетрадки. Затертые, пожелтевшие от времени страницы исписаны старательным бисерным почерком. В тетрадях этих — черновики поэмы Ярослава Смелякова «Строгая любовь». Они рождались далеко от Москвы, в трудную пору жизни поэта. Перед тем как сдать их на вечное и бережное хранение в ЦГАЛИ, я вчитываюсь в мелкие строчки, написанные его, Ярослава, рукой. Каждая из этих строчек по многу раз правлена, зачеркнута, «прокручена» внутри себя, снова записана, чтобы быть зачеркнутой, — и лишь когда уже все выверено, все стало на место, иначе не скажешь, — только тогда строки переписаны более крупным почерком, на-бело.

Работа Смелякова над «Строгой любовью» еще ждет своего исследователя. Для понимающих стихов будет дорого проследить становление поэмы, которая стала маленькой энциклопедией жизни нашего комсомола тридцатых годов.

Строфы, публикуемые ниже, — один из черновых вариантов начала третьей главы поэмы. Те, кто знает творчество Ярослава Смелякова, заметят, что зачин этого отрывка совпадает со строками стихотворения «Воспоминание», написанного в тридцатые годы. Как видим, поначалу Смеляков намеревался использовать их в поэме.

*Т. Стрешнева-Смелякова*

\* \* \*

Любил я утром раньше всех  
один войти под кровлю эту,  
когда еще наборный цех  
чуть освещен дежурным светом.

И возле каменной стены,  
составя ровно ряд недлинный,  
сквозь полумрак едва видны  
его молчащие машины.

И в распорядке строевом  
готовый несть труды дневные,  
на жестких ложах чутким сном  
спит алфавит самой России.

Пройдя к застывшему окну  
по царству спящего металла,  
включил я лампочку одну  
под скатом крайнего реала.

В рабочей этой стороне  
на перепутье жизни ранней  
являться муза стала мне  
под крик гудка и шум собраний.

Взяв сердце мальчика к себе,  
она меня не покидала,  
хрипела в радиотрубе  
и над заставою витала.

Она дышала горячо  
и шла вперед без передышки.  
С лопатой, взятой на плечо,  
и томом Ленина под мышкой.

Рукою властной паренька  
она манила за собою,  
и красный свет ее платка  
стал с этих пор моей судьбою.

В твоём углу, наборный цех,  
склоняясь над тетрадкой в клетку,  
я, как Овидий, воспевал  
моей державы пятилетку.

И многие из этих строк  
фабричной лирики поэта  
тогда печатал «Огонек»  
среди информации и портретов.

Он был тогда куда бедней,  
но, путь страны припоминая,  
подшивку тех суровых дней  
я с гордой нежностью листаю.

Добро и зло минувших лет,  
великий труд и подвиг малый  
оставили приметный след  
в пристрастной хронике журнала.

Встает опять немирный год,  
и, полня землю шумом юным,  
меня на подвиги зовет  
из теса сбитая трибуна.

И к мести призывает вновь,  
сквозь строки выступя заметки,  
в степи пролившаяся кровь  
селькора первой пятилетки.

И снова с южной стороны  
под беспредельной звездной сенью  
идет весенний сев страны  
в огнях и флагах, как сраженьё...

[Июль, 1954]

1. На строге жизни Ботваковой  
 середочка помеси свои,  
 выкажало по шле и сурово,  
 не смелодя до каботей любви.
2. Бровни браня и ворон поав,  
 созво <sup>взду</sup> ~~надрыва~~ в негачи моча,  
 зубави ~~пробуни~~ <sup>пробуни</sup> ~~комсомола~~  
 на подилов и провнича релат.
3. И девочки железны в бибридки,  
 нем починили диврозли славнов  
 не рилоради адр шхом уградой  
 Вардулови влюбленно поубков.
4. ~~В мичи~~ <sup>в мичи</sup> ~~шуманиселд~~ <sup>шуманиселд</sup> ~~времудовина~~ <sup>времудовина</sup> ~~свои~~ <sup>свои</sup> ~~свои~~ <sup>свои</sup>  
~~свои~~ <sup>свои</sup> ~~свои~~ <sup>свои</sup> ~~свои~~ <sup>свои</sup> ~~свои~~ <sup>свои</sup> ~~свои~~ <sup>свои</sup>  
 вдовь корпусов и вомек пубилейки  
 к нам на заславу чужно шра Вема.







## Римма Казакова

\* \* \*

...Сказал неумолимо — как отрезал,  
что книгу назвала неинтересно.  
«А эти вот стишки —  
ни к черту вовсе...»  
Мне было в эту пору двадцать восемь.

Не зло звучало это и не черство,  
а это мной, моей судьбой болело  
то самое и братство, и отцовство,  
что стать такой, как стала, повелело.

А годы шли.  
Как тяжело призванье!

По строчкам  
дни  
без состраданья  
мчатся.  
«Вот, Миша, слышишь? —  
лучшее названье!» —  
но до тебя уже не докричатся.  
«Вот, Миша,—  
может, лучшее творенье...»  
Но кем-то кончен путь —  
а кем-то начат.  
...И бедное мое стихотворенье  
опущенными  
плечиками  
плачет.

## Яков Козловский

\* \* \*

Свидетельствуют верные приметы,  
Что составляют с памятных времен  
В России  
божьей милости поэты  
Интернациональный батальон.

И ты мой друг,  
познав печали меру,  
Не моден, а лишь только знаменит,  
Был смел, как подобает офицеру,  
Был честен, как поэту надлежит.

Испытанный огнем девятибалльным,  
Ты мог бы,  
свой благословив удел,  
За Грецию погибнуть, словно Байрон,  
Идти, как Лорка, гордо на расстрел.

Еще вздыхают женщины,  
которых  
Ты и любил, и мучил под луной,

А вечность вновь на полку сыплет порох,  
Внеся тебя в свой список  
именной.



**А. Т. Твардовский. Москва, 1969 г.**

*Фото Я. Лавренкова. Публикуется впервые*



**Ю. А. Гагарин и А. Т. Твардовский. Москва, Центральный дом литераторов, 1961 г.**



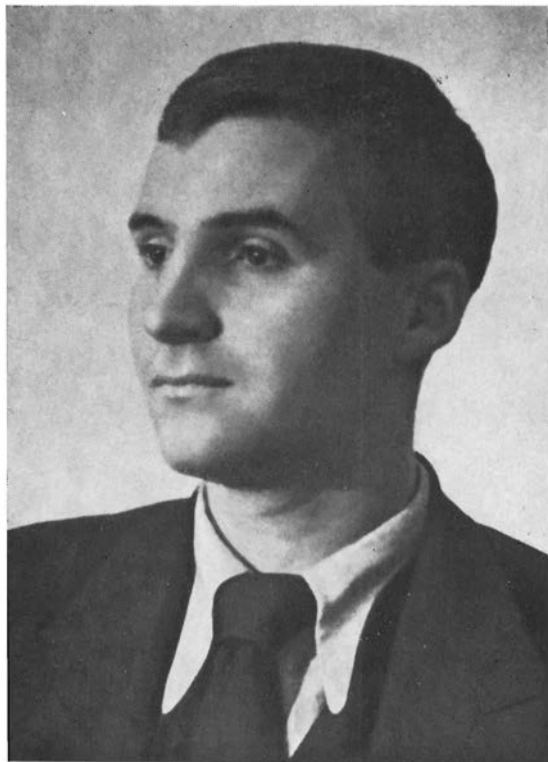
**Ярослав Смеляков.  
Фото предвоенных лет.**

*Публикуется впервые.  
Архив Т. В. Стрешневой*



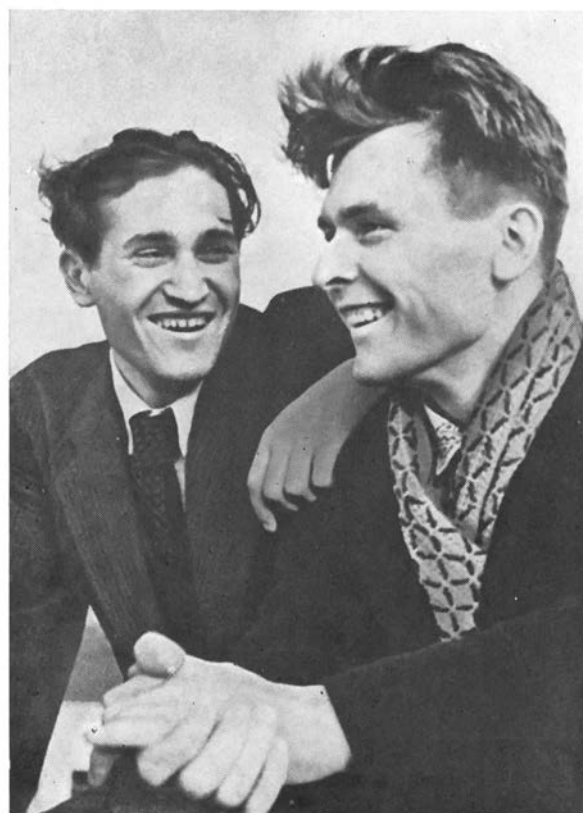
**Я. В. Смеляков. Переделкино, 1959 г.**

*Публикуется впервые. Архив Т. В. Стрешневой*



**Константин Симонов. 1938 г.**

*Фото Б. Пельтцер. Публикуется впервые. ЦГАЛИ*



**Михаил Луконин и Александр Яшин. На обороте фотографии рукой А. Я. Яшина написано: «20/V 41 г. Сталинград».**

*Публикуется впервые. Архив З. К. Лшиной*



**М. К. Луконин. Москва, 1968 г.**

*Фото Н. Лаврентьева. Публикуется впервые*



**А. А. Ахматова. Петроград, 1921 г.**

*Редкий снимок. ЦГАЛИ*



**Павел Шубин у могилы Всеволода Багрицкого. Деревня Новая Кереть,  
Волховский фронт. 1942 г.**

*Публикуется впервые. ЦГАЛИ  
(Фото. материалы ЦГАЛИ, публикуемые в «Дне  
поэзии», подобраны научным сотрудником  
архива М. И. Крыловой)*



**Д. М. Ковалев. Северный флот, 1943 г.**

*Публикуется впервые*



**В. В. Казин на проводах комсомольцев  
Московского отряда на БАМ. 1974 г.**



# Александр Яшин 1913—1968

Родная вологодская земля всю жизнь давала Александру Яшину творческий заряд, каждая поездка на Вологодчину означала возвращение к себе, к своим истокам, дарила «покой и волю». Там, в родных краях, ему работалось как нигде. Даже дневниковые записи расширялись, становились разнообразнее, богаче, наполнялись множеством набросков стихов и прозы.

Так было и в последнее десятилетие жизни Яшина. Летом 1958 года в деревне Блудново, в материнской избе, была написана основная часть книги стихов «Совесть». А в 1962 году Александр Яшин «за короткое время написал там и «Вологодскую свадьбу», и «Две берлоги», и мелкие рассказы, и пачку стихов». Позже стихи эти вошли в книгу «Босиком по земле». Тогда же Яшин задумал поставить свою избу — в лесу, на Бобришном Угоре, в стороне от «сумятицы буден». Задумал — и начал ее строить.

Весной 1966 года, после тяжких личных утрат, после длительного поэтического молчания («Не хочется писать, не хочется, все осточертело, нет интереса к жизни, к работе...»), после всего этого Яшин снова приезжает на родину. И вдруг:

Восходит! Восходит! День ширится!  
А я говорил, что жизнь надоела...

Вот записи тех дней.

«6 м а я. В дождь перешел на Бобришный Угор и начал писать стихи... 8 м а я. Пишу стихи — по стихотворению в день. Сегодня — «О как мне будет трудно умирать...». 20 м а я. Приехал председатель колхоза Берсенева. Что ему, Берсенева, что я буквально молю: дайте посидеть, поработать!.. 26 м а я. Сквозь сон задумал стихотворение о кулике. Написал еще «Новый берег». Можно считать, что я покрыл долг, начавшийся из-за Берсенева».

Так создавалась последняя книга стихов «День творенья». Одновременно была задумана повесть «Бобришный Угор»: «Это по существу тоже «Босиком по земле», только в прозе, а главное более полно и последовательно... Смысл в том, чтобы дать разные характеры современных крестьян и других жителей деревни... Начать с картинок природы...»

Осенью 1967 года Александр Яковлевич в последний раз приехал на родину. «Иду на Бобришный Угор. Опять думаю стихами». Последняя осень... А через полгода, понимая серьезность обнаружившейся болезни, он оставляет в дневнике завещание, повторяя свое давнее решение: «Схороните меня на Бобришном Угоре...»

Сейчас в избе на Бобришном Угоре — музей. Напротив дома, на крутом берегу Юг-реки, между двух берез, на месте, выбранном самим Александром Яшиным, — его могила. А рядом — бронзовый памятник. Каждый год, в десятых числах июля, на Бобришном Угоре проводится День поэзии, на который съезжаются писатели из Вологды, Москвы и других городов.

Комиссией по литературному наследию Александра Яшина подготовлена книга его дневников 1958—1968 годов. Публикуемые здесь лирические записи из этой книги представляют собой наброски к ненаписанной повести «Бобришный Угор».

З. К. Яшина

## БОБРИШНЫЙ УГОР

1962 г.

...Как это случилось — я сейчас и сам уже понять не могу. Вдруг представилось, что построить избу в лесу дело не трудное. Изба ведь из лесу, деревянная, а лес — вот он, кругом, строевой, сосна к сосне.

Только бы колхоз согласился помочь. А как он может не согласиться: колхоз-то ведь мой. Здесь я родился и вырос, и, кроме пользы, от меня никому ничего не было. Я не только стихи всю жизнь об этом колхозе пишу, но делал для него кое-что и более серьезное: после войны в Москве через Министерство сельского хозяйства доставал строительные гвозди, которые тогда

ценились на вес золота, однажды помог приобрести грузовую машину, а это уже несколько десятков лошадиных сил, а не какие-то там не всем понятные рифмы.

Представилось также, что изба эта на высоком берегу реки мне совершенно необходима: каждое лето я буду сидеть в ней и писать так, как никогда и нигде мне еще не писалось. Это будет рабочий домик поэта. Да что поэта — я решил, что именно здесь-то и смогу стать настоящим прозаиком. Давно уже задуман и выношен мною большой роман, — где же его и писать, как не на Бобришном Угоре, знакомом и

родном мне с детства. Даже названия окрестных деревень здесь милы мне: Липово, Блудново, Сторожевая, Скочково, Осиново. А пожни какие кругом: Лебяжье, Смеряжиха, Бобриха, Вязовики... Герои мои сами будут приходиться ко мне на дом, в гости, это мои земляки, сверстники, бывшие одноклассники — Горчаковы, Коноплевы, Ципышевы, Мишинева, Поповы, Поникаровы, Залесовы...

Только бы председатель колхоза «пошел мне навстречу». А почему бы и не пойти ему навстречу мне, хотя он и не местный, не Вершинин какой-нибудь, а Берсенев, но ведь тоже земляк, тоже вологодский мужик?.. Не может он не понять, что крутой Бобришный Угор, на котором я в былые годы вместе с одноклассниками продрал не одни штанишки, чтобы убедиться, что земля поката, что Угор этот влечет меня и поныне, что он — моя судьба, что, может быть, именно на нем суждено мне сложить и бранные свои кости.

Тянет в простор полей  
С каждой весной упорней.  
Все-таки на селе  
Все мои корни...

— Поддержим! Правильное это дело, — сказали мне в райкоме партии и в райисполкоме. — И Берсенев поддержит...

1964 г.

Под крутизной Бобришного Угора Юг-река под прямым углом поворачивает на запад. В темной этой излучине постоянно ходят воронки, глубина кажется непостижимой, дно черным и страшным. Да и есть ли оно здесь? Где же и водиться чертям, как не в таком омуте?

Все мои воспоминания о раннем детстве связаны с Бобришным Угором. В омуте, конечно, никто никогда не купался, а мы, ребятня, даже близко к нему подходить не решались, но сам Угор был излюбленным местом наших сборищ.

Если смотреть на Бобришный Угор со стороны реки, видна на нем среди кустов и сосен почти отвесная песчаная полоса желто-красного цвета. Здесь мы съезжали с Угора вниз, продирая штаны, у кого они были, а то до крови царапая собственное то самое место. Съезжали смело, с разбегу, вместе с потоками сухого песка и гальки. Мы драли штаны, а дома матери драли нас, но на любви нашей к Бобришному Угору это никак не сказывалось.

Если же стоять на Бобришном Угоре лицом на юг и смотреть с него вниз и вдаль, то перед глазами, прямо на вас, как бы к вам под ноги, течет река откуда-то издалека, из таинствен-

ных лугов и лесов на горизонте, и вправо, на запад, уходит, к Бобришным пожням, к Куданге, к Пёреволокам и Баданихам (это все названия сенокосов). А слева было озеро Старица — во всю извилистую длину старого русла реки.

Ранней весной, когда речные ивняки и леса еще не густели от зелени, даль просматривалась необозримая — и озеро, и русло реки со всеми его поворотами видно было на многие километры, и даже заречные луга были как на ладони, и до деревни Липово, казалось, рукой подать. То же самое — осенью, когда опадала листва и лес так же свертывался, редел, словно его сквозняки продували.

А летом река пряталась в густых прибрежных зарослях, да и мелела к тому же, словно в землю уходила, и лес раздавался во все стороны — густой, непроходимый.

1965 г.

...Когда вставили косяки в проемы окон, показалось, будто картины по избе развесили. Семь окон — семь картин. И все разные. Можно сказать, все направления в живописи были представлены. В этой раме, конечно, реализм чистой воды, Левитан. Изгиб реки, берега, заросшие ивняком, тонкие рябинки чуть поодаль от сверкающей на солнце воды, небо — близкое и теплое. Хочется взять удочку и спуститься к заводи, попытать счастья.

Левее — Шишкин. Сосны в глубине леса, за изгородью, могучие вершины, освещенные сверху и с боков. Там где-то рябчики летают. Медведей вообразить трудно, места здесь не такие глухие. А можно и по-другому все увидеть: каждая сосна — вроде высокой кирпичной трубы с зелеными клубами дыма над ней. Впервые так увидел сосновый лес поэт Александр Романов, и я уже не могу избавиться от этого образа, повторяю его и жалею только, что присвоить не могу, что сам я такого не разглядел...

В следующем окне что-то есть от живописи Ван Гога. Густые мазки зелени и синевы, листьев и неба, земли и воздуха. И все это переливается, подрагивает, течет... Хорошо!

А в этой раме, если хотите, настоящий абстракционизм, только не мертвый, не бесталаный, а тоже рожденный природой, вызванный к жизни самой жизнью и нашим пытливым воображением. Переплетение голых сухих сучьев, тонких прямых и ломаных линий, соединение геометрии с современной архитектурой, в геометрические очертания ветвей вставлены всевозможные цветные материалы дня: белый пластик, плитки глазури, врубелевское стекло. Высота

и пространство. И все это рядом с окном, во всю его ширину. Всмотривайся и создавай для себя любые картины, любые видения, мечтай, рисуй!..

1966 г.

Не был всерьез уверен, что останусь ночевать в избе на Бобришном Угоре, пока не пришел туда и не увидел, как удивительно теперь на реке. Разлив сильнейший... Редкое волнение испытал я... Раньше, когда был помоложе, я, наверно, кричал бы от восторга...

Разложил свои тетрадки и гляжу в окно, наглядеться не могу. Здесь ли не писать мне! А я записываю изредка отдельные стихотворные строчки да бледные мысли — и все. Должно быть, иссякла моя творческая энергия. А скорей всего, я все еще не оправился от страшной травмы. Сын не выходит из головы. К тому же курить бросил, нечем возбуждать себя...

Во второй половине дня пошел сильный дождь, почти ливень, и над землей, особенно там, где еще снег, поднялся пар. «Горит снег!» — повторяют мать и сестра. Значит, вода еще пойдет вверх. А я уже и такого половодья, кажется, не видал ни разу. Под Бобришным Угором вся площадка, на которой когда-то костер раскладывали, вплоть до крутого подъема — все в воде. Даже елочку у тропки, по которой я спускаюсь вниз вдоль изгороди, — затопило.

Мать и сестра ушли домой. Я остался и рад. Удивительное чувство покоя. Пожалуй, сейчас я понимаю отшельников, их жажду одиночества. Это не от религиозности, а скорей от усталости, от пережитых душевных ран и, может быть, от возраста. Желание уйти от обидной шелухи и жалкой рабской суеты жизни, внутренне сосредоточиться — это, конечно, легче понимается как поиски бога. Мне здесь так хорошо, что, пожалуй, и я святым окажусь...

Ночь провел спокойно. В лыжном костюме, — одеяльце тонкое, вата вся сбилась... Встал в 3 часа. Земли нет, лесу нет, неба нет — всё в белом. И в этой белой мути где-то внизу на невидимой реке невидимо постукивают плывущие бревна. Их невидимо много...

Я пошел искать ток. Оказалось, что высокий берег на Бобрихах уже почти непроходим — вода со страшной силой переходит в озеро. Я шел берегом к «воротам» Чистого бора и вдруг понял, что вода может окружить меня, как заяц, а деда Мазая поблизости не окажется. На этом берегу тока не было. Обратно шел Чистым бором...

Самое примечательное в охоте на весенних тетеревиных токах то, что птицы эти, в другое

время почти недоступные человеку, осторожные, неуловимые, становятся до жалости беспомощными, неосторожными, почти сами в руки лезут, только бей. Хитрая bestия — человек. Он всегда находит время и случай, чтобы использовать слабости других существ в своих целях: рыбу губит во время нереста, когда она сама напролом идет в сети, птиц — на перелетах, на токах, рябчиков берет на манок, уток — на подсадных, на чучела, зверей — в месяцы спячки и так далее...

Все-таки Бобришный Угор — место редкой красоты. Из-за одной сегодняшней ночи (сейчас 22 часа, я один с «летучей мышью», с пивом и топящейся печью, да еще «Спидола» на столе), из-за одной этой лунной, тихой, еще холодной ночи стоило строить мою избу. Внизу сияет вода, как море, глубины ее кажутся неизведанными, дали бесконечны, за рекой бобочет заяц, с вечера токовали тетерева в стороне Летовища, где мой шалашик. На небе вокруг луны небольшие спокойные облака, как оформление ее. Всё — почти роскошная театральная декорация: настолько хорошо, что кажется ненастоящим.

1967 г.

В начале сентября я снова приехал на Бобришный Угор.

Бобришным Угором я сейчас называю не только облюбванное с детства место в лесу над рекой, где теперь стоит мой охотничий дом, но уже и деревню Блудново, в которой я родился, и район, и город Никольск, где началась моя сознательная жизнь, и вообще Родину. Вся родина моя — Бобришный Угор. Поэзия — тоже он. Завершение моей жизни на Бобришном Угоре.

Приехал я по истошному зову родных, по письму матери: «Шура, опять опоздаешь, грибов в этом году невпроворот, прямо ступить некуда. Обабки да беленицы никто и не берет — не до сушеников, когда грузди пошли, хоть с колен не вставай. Такого давно не видывали. Смотри, будешь волосы на себе рвать, коли опоздаешь...»

Едва добравшись с аэродрома до деревни, наспех вышив чаю с городским водителем, я схватил корзину и на том же газике покотил в свою обитель. Да, грибов было столько, что по моей лесной дороге к Бобришному Угору было как-то неловко, стыдно, страшно ехать. Грибы росли прямо посреди дороги, в колеях, зарастающих травой, под каждым кустом, у каждого пня. Мы их давили, мяли, колеса скользили на них, почти буксовали. Наконец я не выдержал, взмолился: больше не могу, остановите машину, лучше пойдем пешком...

Ты, дороженька, дороженька,  
Куда меня ведешь,  
Из какого горя выведешь,  
В какое приведешь?

Белки бегают у моего дома, и заяц был около моего дома. Значит, и медведь придет, потому что дом стоит в лесу.

Трудно носить воду к моему дому: надо спускаться, скользко. Еще труднее подниматься. Зато половодье не пугает, потому что дом стоит на горе.

Удивительное, окрыляющее душу чувство любви к родной земле, страстное желание ей добра, силы, изобилия, славы порой захватывает меня всего. Хочу всем и каждому из нас счастья, успехов в работе, долгих лет жизни. И еще хочу, чтобы ощущение радости и какого-то полета души было доступно каждому человеку, чтобы каждый хоть раз в своей жизни испытал это благородное слияние всего себя с Родиной нашей и уже никогда больше не забывал бы этого животворящего очистительного святого чувства.

## *Дмитрий Ковалев* 1915—1977

Время еще не отодвинуло от нас минуту прощания столь далеко, чтоб можно было писать о нем с ученым спокойствием литературоведа.

Жил среди нас. Работал вместе с нами. И никогда его присутствие не было броским. Иной мог бы не заметить его среди других: в первые ряды не рвется, модным галстуком не «вспыхивает» и на особое от всех внимание не претендует. Зато сам весь внимание к окружающему и к тому, что происходит в самом себе.

У него был тихий голос. Но я видел, как этот голос стихами мог усмирять беспокойный говор тысяч людей на кремлевской площади Тобольска или на зеленой поляне лермонтовских Тархан. Его стихи были сильнее его собственного здоровья. Они были единственным для него способом той жизни, какой он хотел жить. Так есть и будет о каждом настоящим поэтом.

Никогда он не отводил глаз в сторону, смотрел прямо — взгляд во взгляд — всему, что перед ним было. С мальчишеских лет смотрел в лицо жизни доверчиво и чутко, выверяя через тоскующую о чем-то и покоющую душу ее радости и жестокости. Глазами солдата смотрел в лицо войны и смерти. Смотрел в лицо поэзии — далекий от всяких окололитературных завихрений и воронок. Он умно понимал все ее истинные ценности, совестливый и чистый перед ней. Он глубоко знал и уважал поэзию и свое слово привносил в нее не с разбегу, а ответственно и бережно к памяти тех, кто создавал и крепил ее многовековой авторитет.

Он ни разу не декламировал стихов и не декламировал себя. В стихах и в жизни он говорил с тысячами людей доверительно, как говорят с родными и близкими, потому что для него понятие «народ» представляло не в облике безликого множества, а в каждом сидящем перед ним человеке-труженике.

Он не оглядывался по сторонам и назад с суетным беспокойством — идут ли за ним почести и слава. Некогда было. Он долго и мужественно боролся с болезнью. Долго. Жизнь неохотно отпускала его от себя. Не слишком ласковая к нему, она понимала, что с его уходом уходит из наших рядов большой поэт, человек богатой, доброй души...

*Владимир Туркин*

\* \* \*

Все как есть, как было и как будет:  
Так же кровь волнует, чувства будит  
Над родной землей грачиный грай.  
Так же молодеет отчий край,  
И волнует все, что после будет.  
Те же почки, та ж в саду скворечня.  
То же все, но только все — не прежде...

Человеческое в людях вечно,  
Как тот путь, что проступает млечно...  
Будто жду не птиц я, провожая зиму,—  
Будто молодости жду прилет...  
Что-то в этом так невыразимо,  
Что душа и плачет, и поет.

## ПАМЯТЬ О МАТЕРИ

Поют соловушки.  
Вода играет,  
Высокая,  
Ознобно-заревая.  
Сады цветут...  
А мама — умирает,  
Об этом смутно лишь подозревая.

Скрывает  
И меня пытается взглядом,  
Насторожась,  
Просительно сурово,  
Уж не таю ли что...  
И, с нами рядом,  
Всех уверяет,  
Что совсем здорова.

Но кашель —  
Я тревожно слышу в полночь —  
Подушкой глушит...  
Слышу на рассвете:  
Как маленькая,  
Мать свою зовет на помощь,  
Хоть матери давно уж нет на свете.

И в замиранье соловьино-звонком —  
Больнее боль, родимая роднее...  
И сам, не молодой уже, ребенком  
Я чувствую себя пред нею.

\* \* \*

Неправда это, что тихи  
Мои негромкие стихи!  
И что, как боль, они пройдут,  
Как суета,  
Как острота:

Они мой неподенный труд,  
Они и память, и мечта,  
И ревность, и любовь моя,  
И кровь, и жажда бытия.

# Алексей Прасолов

## 1930–1972

Алексей Прасолов родился в селе Ивановка Воронежской области в крестьянской семье. Окончил Россошанское педучилище, работал учителем, позже — журналистом. Первый яркий росток поэтического таланта Алексея Прасолова был замечен в середине пятидесятых годов редактором россошанской районной газеты «Ленинская искра» Б. И. Стукалиным. Он продолжал печатать стихи А. Прасолова и будучи редактором областных воронежских газет (в «Молодом коммунаре», затем в «Коммуне»).

В 1964 году окрепшие, зрелые стихи Алексея Прасолова привлекли внимание А. Т. Твардовского. В том же году в восьмом номере «Нового мира» появилась большая подборка А. Прасолова «Десять стихотворений». О Прасолове заговорила критика. В. Гусев написал о нем статью «Высокий строй души» («Подъем», 1965, № 4). Он же редактировал первую книгу А. Прасолова «День и ночь» (Воронеж, 1966). Затем выходят другие книги поэта: «Лирика» (М., «Молодая гвардия», 1966), «Земля и зенит» (Воронеж, 1968), «Во имя твое» (Воронеж, 1971). О творчестве А. Прасолова пишут критики А. Абрамов, В. Акаткин, Н. Банк, О. Ласунский, Вал. Семенов, В. Скобелев...

В 1976 году в Воронеже вышла посмертная книга Алексея Прасолова «Осенний свет», составленная вдовой поэта Райсой Андреевой. Ею же предоставлены редколлегии «Дня поэзии» публикуемые ниже стихотворения.

\* \* \*

И вот настал он, час мой вещей:  
Пополнив ряд одной судьбой,  
В неслышном шествии сквозь вечный  
Граниту вверенный покой  
Схожу под своды Мавзолея.

Как долго очередь текла!  
Я встал давно — едва умея  
Сложить на краешке стола  
Из букв разрозненных то имя,  
Что вижу в камне над собой...

...А очередь к нему текла,  
В день скорби взяв свое начало,  
И в отсветах добра и зла  
Неразделимое несла  
И судьбы новые включала.

И в самый страшный час — гляди —  
Народный ход бедой не прерван,  
Лишь выбывают впереди  
Застигнутые сорок первым.

В какие сроки мы смогли  
Подвинуть праведное дело!  
За нами встало полземли,  
Пока одна душа созрела.

И вот настал ее черед:  
Она, открытая, у входа,  
Где время вещее ведет  
Поверку дум и сил народа.

Где с обликом первоначальным  
Свободы, Правды и Добра  
Мы, искушенные, сличаем  
Свое сегодня и вчера.

1968

\* \* \*

О первая библиотека,  
Весомость тома на руке!  
России два различных века  
Лежат в домашнем сундуке.

И прошлый век в сознание раннем  
Звенел мне бронзою литой:  
Там Пушкин встал у основанья,  
У изголовья — Лев Толстой.

А этот век — за взрывом взрыв,—  
В крови страница за страницей,  
И от огня не отстраниться,—  
Одних бессмертно озарив,  
Других под бурей отвеял  
Не без мучительных потерь.  
Но стало тише, и теперь  
Звук словно сам в себя поверил  
И, донося значение слов,  
Гремит, исторгнутый эпохой,  
Нисходит до глухого вздоха  
И все к чему-то не готов.

1971

\* \* \*

Ты отгремела много лет назад,  
Не дав отсрочку тысячам смертей,  
Еще листаешь календарь утрат,  
В котором числа скрыты от людей.

Убавят раны счет живым годам,  
Сомкнется кругом скромная семья,

И жертва запоздалая твоя  
Уходит к тем, кто без отсрочки — там.

И может быть, поймут еще не все  
У обелиска, где суглинок свеж,  
Как он глубоко — в мирной полосе,  
Твой самый тихий гибельный рубеж.

1965



## ПУСТЫРЬ

На пустыре обмякла яма,  
Наполненная тишиной,  
И мне не слышно слово — мама,—  
Произнесенное не мной.

Тяжелую я вижу крышу,  
Которой нет уже теперь.  
И сквозь бомбежку резко слышу,  
Как вновь отскакивает дверь.

1971

\* \* \*

И скручен плащ, и длинный кнут пастуший  
С плеча свисает, пылью волочась,  
И сытый пес увянувшие уши  
Не поднимает в этот жаркий час.

Пастух, пастух, тебе ли не понятна  
Жарю угнетенная трава,  
Солончаков разбросанные пятна,  
Вода в пруду, что кажется мертва.

Ты зачерпни ладонью влаги теплой —  
Она дрожит, она в горсти жива,  
А в черной туче дремлет не потоп ли,  
Не от него ли меркнет синева?

До никлых трав торжественно свисая,  
Играет в небе многоструйный дождь,  
И в луже пляшет девочка босая,  
Твоя, пастух, смеющаяся дочь.

1970

\* \* \*

Увидишь внезапно среди разных примет  
Открывшейся осени:  
У листьев капустных — цинковый цвет,  
И пугало с вишни сбросили.

Лежит оно навзничь, в подобье людском  
Действительно страшное:  
Вылинял старый пиджак на нем,  
Раскинуло руки косым крестом,  
Простясь с высотой вчерашнею.

1968

\* \* \*

Ничего, что этот лед — без звона,  
Что камыш не свищет.  
В немоте прозрачной и бездонной  
Нас никто не сыщет.

Мы опять с тобою отлетели,  
И не дивно даже,  
Что внизу остались только тени,  
Да и те не наши.

Сквозь кристаллы воздуха увидим  
То, что нас томило,  
Но не будем счет вести обидам,  
Пролетая мимо.

Впереди — неузнанные дали,  
Как душа хотела.  
Словно нам другое сердце дали  
И другое тело.

1969

\* \* \*

Белый храм Двенадцати апостолов,  
Вьюга — по крестам.  
А внизу скользят ладони по столу —  
Медь считают там.

Вот рука моя с незвонкой лептою,  
Сердце, оглядись:  
В этом храме — не великолепие  
Освещенных риз.

Что за кровь в иконописце-пращуре,  
Что за кровь текла,

Говорят глаза — глаза, сквозящие  
Из того угла.

Суждено нам суетное творчество,  
Но приходит час —  
Что-то вдруг под чьим-то взглядом  
скорчится,  
Выгорая в нас.

Но мечта живая не поругана,  
Хоть и был пожар,  
И зовет, чтоб я ночью вьюгою  
Подышал.

[1969—1970]

### ОТРЫВОК

Я не молюсь перед поэмой,  
Великих в помощь не зову,  
Давно я болен, но не темой,  
Я болен тем, чем я живу.

Как жизнь и гибель — в каждом слове  
Есть суд незримый и немой,  
И сердце — втайне — наготове,  
Хоть не великих суд, а мой.

И если мне потребна помощь,  
Так об одном прошу я их:  
Вы взяли сердце, день и полночь  
И все вложили в этот стих,

Так дайте мне теперь не душу —  
Свой труд пред вами отстоять —  
Мою законную — коль сдюжу, —  
Мою единственную пядь.

1970—1971

## Владимир Гусев

### ТАЛАНТ ВСЕГДА ПРОБЬЕТСЯ

Прасолов был всегда каким-то больным местом моей совести и всего вообще моего понимания мира. Именно при мысли о нем я вынужден был на принятые слова: «Талант всегда пробьется» — сочинить угрюмый афоризм: «Мы не знаем тех, которые не пробьлись».

Мы-то, в Воронеже, знали его давно.

Воронежские литераторы не дадут соврать, все

мы лет пять гонялись за Прасоловым, чтобы заставить его издать его собственные стихи. И это при том, что редакции, конечно, были завалены различными стихами. И не то чтобы он *не хотел*, принципиально противился публикации: такое бывает, и это по-своему понятно; да нет, он вроде бы и хотел, он говорил: «Конечно, пора мне выйти»; он вообще был чужд всяких решений, претендующих на линию и на харак-

тер; т. е. под настроение он принимал и такие решения, но не выполнял их...

Не было в нем этого некоего бытового стержня жизни, без которого ныне не обойтись; принести, под влиянием минуты, новые стихи в газету, журнал — это еще он мог; но *складывать* книгу, ходить по кабинетам, «работать» с редактором... это было выше его сил.

Что же? У него не было никакого честолюбия, чувствга предназначения?

Были; я одно время знал его близко и знаю, что были; но никогда он не ставил бытовую заботу о себе, о своей стезе — во главу угла; до того не ставил, что — как бы вообще не заботился: все ныне требует *длительного усилия*, а Прасолов...

А Прасолов тратил эти усилия только на сами стихи — да еще на дела, не имеющие даже и малейшего отношения к понятиям: «устройство судьбы», «карьеря».

Прасолов был поэт волей божией. Это было одно из тех счастливых и немногих дарований, которые ясны сразу всем — знатокам и несведущим, тем и этим; было в его стихах то *возвышенное* начало, которое эдак на миг вдруг объединяет всех людей — будь то Твардовский или моя мать, редактор или дедок с фермы, с которыми Прасолов наговорился, кочуя по штатным заданиям своих неизменных районных (не выше) редакций.

Он был человек умный, судил резко и ясно; но ему не хватало духовной и всякой культуры, не хватало и просто времени, концентрации сил — бытовая жизнь не способствовала его поэтическому труду; это сказало на его стихах, и может быть, и на их пути в жизнь. Если сравнить А. Прасолова с Н. Рубцовым (а это, конечно, напрашивается), то можно сразу видеть, что Рубцов, хотя судьбы их сходны, более строг, спокоен и — все-таки более ровен как поэт и как стихотворец; а Прасолов более возвышен, стихийен, в нем более напора и пафоса — но он и более неровен, «неряшлив», у него заметны промахи вкуса; в свое время, когда мы с ним «делали» (все-таки!) его первую книгу, я не считал возможным его «править» — все предоставил ему самому; он был благодарен за это; книгу мы не «сделали», а просто сложили; не знаю уж — может, что-то мы и потеряли па этом; но если бы я сотворил из Прасолова обструганную сосну, думаю, потеря была бы очевидней... Править или не править стиль — дело самого поэта, особенно такого поэта, как Прасолов, — предельно интуитивного и стихийного; быть может, его «промахи» некогда будут оценены как находки; недаром мы, сидя однажды в ночной траве за Реньевской (воронежцы знают), толковали о знаменитом «из пламя и света» Лермонтова — наравне с Блоком и некоторыми иными любимого поэта Прасолова.

Дело его собственного духовного развития и состояния было — «выровнять» или не выровнять стих; смерть «решила иначе»...

Многое из того, чем занята ныне поэзия, я вижу в стихах Прасолова, которые мы, воронежские (да и не только воронежские!), знали так давно; да что там? даже и *писали* об этом.

Это единение возвышенности стиля и норыва в

«темную» глубину жизни, что теперь открывают критики у новых поэтов — Ю. Кузнецова и др.; это и музыка, «классика» слова, помноженная на патетику века; это и социальность, не ограниченная поверхностной публицистикой, а идущая от философских основ.

Странно сказать, но Прасолов предусмотрел даже и, например, такое:

Вознесенье железного духа  
В двух моторах, вздымающих нас.  
Крепко всажена в кресло старуха,  
Словно ей в небеса не на час.  
И мелькнуло такое значение,  
Как себя страховала крестом,  
Будто разом просила прощенья  
У всего, что пошло под винтом...  
Напрягает старуха внимание,  
Как праматерь, глядит из окна.  
Затерялись в дыму и в тумане  
Те, кого народила она.  
И хотела ль того, не хотела —  
Их дела перед ней на виду.  
И подвержено все без раздела  
Одобренью ее и суду.

Это написано до споров о деревенской прозе, да и до самой этой прозы.

Ограничусь общими словами; здесь не место для стилевых разборов.

И вот — Прасолов; судьба его была передо мной.

Так что же, думал я, если человек просто лишь (лишь!) «поэт волей божией»; если он весь — в самих стихах, и не позаботился о своей житейской планиде; если он не умел ужиться со своим же бытом, — так что же?

«Туда ему и дорога»?

Неужели быть высоким поэтом — этого еще мало для жизни?

И где же мы-то?

Где я-то?

Я писал о нем, я редактировал его книгу, — отвечал я себе; но это было самоутешением. Посильное участие в судьбе поэта принимали так или иначе многие воронежцы (В. Песков, В. Гордейчев, К. Локотков, Ф. Волохов, А. Жигулин, И. Толстой и др.). Но оказалось, нужен был кто-то, кто посвятил бы Прасолову — *поэту* — всю жизнь, всю *свою* судьбу; такого человека не было.

Все мы, так или иначе, заняты и *своими* делами; посвятить себя *целиком другому* — выше наших пределов.

Так; так что же?..

И вот теперь, я вижу, начался некий интерес к Прасолову; это еще не реальное что-то; это еще только некое «легкое дуновение души народной», как сказал бы его любимый поэт; но вдруг — там, сям — Прасолов, Прасолов; что? откуда? но есть.

Я надеюсь, что любовь к нему будет расти; он *поэт* не только по стихам, но и по судьбе; правда, мы, как уже водится, поздно вспоминаем об этом — «ему уже все равно»; но не все равно — нам.

Может, оно и верно: талант *всегда* пробьется.

Матвей Грубиан  
1909–1972

БАРЕНЦЕВО МОРЕ

Накати волной, Баренцево море,  
Распатай сильней под собою сушу!  
Ты, совсем как я, в вихре ненасытно,  
Свет излучая.

Нагони меня, ветреное море,  
Захлестни своим ратоборным гневом  
И веди скорей к разъяренной битве  
Горы и тундры.

Из твоих валов, режущих со стоном,  
Выкую себе нож для этой битвы  
Против темноты, что и днем и ночью  
Здесь пребывает.

Дуй смелей на мой парусный кораблик,  
Раскачай сильней и швыряй в пучины.  
Бури не страшась, гложущий от ветра,  
Встречусь с судьбою.

У твоей воды я свой дом отстрою,  
Окна застеклю сизыми волнами,  
Ветры настелю на кривую крышу,  
Весь твой он будет.

Помоги же мне, Баренцево море,  
Ослепи меня молодостью лютой.  
Я, как ты, ничем не бывал доволеп.  
Благо лишь в буре.

СКОЛЬЗКИЙ ДЕНЬ

Еще мне скользко на земле,  
И я порой боюсь,  
Что, жизнь, как зеркальце, неся,  
Внезапно оступлюсь.

Я брошу горсть шершавых звезд,  
Как под ноги песок.  
Ведь ты всеилен, человек,  
И их приблизить смог.

Держу я зеркальце в руке,  
А в нем отражены —  
Не та луна, что я ловлю,  
А сразу две луны.

Дышали ветры мне в лицо,  
Чтоб свет их затушить,  
Но под одной я до сих пор  
Не научился жить!

Не нужен мне далеких звезд  
Бесчисленный песок.  
Мне стелет русский снег постель.  
Лишь в нем покой глубок.

Его холодный чистый мир  
Целителен и тих.  
Он от ненастья сохранит  
Мой беззащитный стих.

*Перевод с еврейского  
Зои Велиховой*

# Николай Анциферов

## 1930–1964

Николая Анциферова всегда узнаешь по своеобразию письма: у него свой голос, своя походка и своя одежда — «шахтерка». Без ложного пафоса, деловито и выразительно рисует он нелегкий труд шахтеров Донбасса, их быт, их повседневную жизнь «на поверхности земли» — как они отдыхают, как встречают праздник, гуляют на свадьбах, — и все это с мягким юмором, с добродушной «подковыркой». А разве не окрашены доброй улыбкой и самые известные, афористичные его строки: «Я работаю, как вельможа, я работаю только лежа!» Так мог написать лишь человек, хорошо знающий тяжесть отбойного молотка.

Стихотворения, публикуемые в «Дне поэзии», взяты из архива поэта.

Валентин Кузнецов

### ТАБАКОТРУС

Хочешь — слушай рассказ,  
Хочешь — нет, дело вкуса...  
Есть на шахте у нас  
Должность табакотруса.  
Мы смеемся: под стать  
Этот чин полисмену:  
Должен дед обыскать  
Всех идущих на смену.

В шахте курево? Нет!  
Нет, как нет белой сажи.  
Но стоит все же дед  
Для блезиру на страже.  
Табачок у девчат  
Он особенно ищет.  
Аж девчата кричат:  
— Старый леший, потише!..

— Мне ль теперь до любви? —  
Скажет он с неохотой. —  
Ты с мое поживи,  
Ты с мое поработай —  
И узнаешь потом  
Цену фунта изюма.

Иногда он угрюмо  
Вспоминает о том,  
Как полвека назад  
(Даже больше, быть может!)  
Иностранец сказал:

— Здесь мы шахту заложим... —  
Ни двора ни кола:  
Степь да степь, как поется.  
Десять верст до села,  
Десять верст до колодца.  
Но ответил старик,  
В степь вонзивший лопату:  
— Я работать привык —  
В пользу нашему брату...

Это явь, а не сон,  
Не слова ради оды:  
Шахту выстроил он  
За немалые годы.  
Под землей много лет  
Жизнь за грош продавал.  
Сколько раз этот дед  
Попадал под обвал.  
Был он клят, был он мят,  
И за то — премирован:  
С головы и до пят  
Весь он татуирован.  
Не от туши, о нет! —  
Эти строчки и пятна.  
Я открою секрет,  
Если вам не понятно:  
Это — шрамы — следы  
В теле — уголь, порода.

Так на нем за труды  
Расписалась природа...

\* \* \*

Он сам поднялся на-гора,  
Он до костей промок, продрог.  
Ему ручищу жмет парторг  
И просят пульса доктора.  
С него дождем течет вода,  
И кажется: фигура эта  
Усердно выстирана где-то,  
Сушиться брошена сюда.  
— Ну, как?  
— Что как?

— Беда?  
— Беда. Была беда, и нет беды...  
— Да за такие, брат, труды  
Тебе Звезды Героя мало!  
— А мне сейчас не до Звезды,  
Поскольку в горле сохнуть стало... —  
Ложатся мокрые следы  
Зигзагом от его походки.  
И кто-то говорит: — Воды! —  
Врачи приказывают: — Водки!

## Дмитрий Голубков 1930–1972

Его стихи вызывали во мне все чувства — от разочарования до восхищения. Как литератор он имел сильный характер, что сказывалось не в «крепком» стихе, а в способности к неустанным пробам и ученичеству. Он мог вдруг онеметь, погрузиться в мир былин и вынести оттуда собственную старину об Алеше Поповиче, которую можно отдать филологам отнюдь не как стилизацию. Он мог заняться изучением итальянского языка, чтобы расслышать Батюшкова. Было бы закономерным обращение к древнегреческому, но он этого сделать не успел. Он учился и часто бывал в нежном состоянии побегов растущего сильного дерева. Он был впечатлителен и доверчив, не обижался на резкое слово, нравственная работа в нем совершалась открыто; с ним было легко и просто. Он радовался чужой удаче, легко влюблялся в то, что делал сию минуту, с радостью менял к лучшему свое мнение о людях — и как бы в противовес этому вечно был недоволен собой, брюзжал на «недуг» творчества: «да и страсть ли это? Вялая болячка: через пень-колоду вверх куда-то лезть». Книгу о Баратынском он назвал «Недуг бытия». *Не то, не так* — эти русские абсолюты сопутствовали деятельности его души, слишком, как оказалось, требовательной к себе. Он был рыцарь — это знают не только его близкие друзья, но и те люди — а их много, — которым он делал добро. И вооружен был неплохо — а защищен слабо. Нечто докихотское было в облике его.

Его свобода была горька; он достиг ее в последней книге «Окрестность» (стихи об Ильмень-озере, о Средней Азии), победив разностилье, плод творческой ненасытности, сделал его богатством. Но и тут оставил он читателю возможность сомнения и спора — залог движения.

Мне легко соглашаться с поэтом: я его люблю. В хорошие минуты жизни он со мной, со мной его зрение и слух, его радость от мира сего.

В. Леонович

### ПАМЯТЬ

...Друзей рукопожатья,  
Лес весенний,  
Аэродром,  
Слепящий серебром,  
Нагие, чуть шершавые колени  
И шепот, оглушающий как гром, —  
Исчезнет все.  
Ни окликать, ни править —  
Бледны чернила. Живопись черна...  
Но не померкнет,

Не изменит память —  
Навеки  
эта радость суждена.  
Пусть вечер будет нелюдимо темным,  
Кровь замолчит  
И отгорит листва —  
Мы обреченно,  
Мы бессмертно помним  
Рассвет весны,  
Былой любви слова.



## СОРОК ПЕРВЫЙ

Шла осень серая, сырая.  
Военный быт вступал в права.  
В холодном сумраке сарая  
я дотемна рубил дрова.

Заборы я рубил и мебель,  
столбы укрытий и опор.  
Карандашом я бревна метил,  
и лишь потом я брал топор.

А дождь хлестал как из ушата.  
Я ноги в дом едва волок.

И липла старая ушанка  
к вихрам растрепанных волос.

Я складывал на кухне чурки,  
вдувал в печурке сноп огня.  
Родители бывали чутки,  
не злили жалостью меня.

Устало и самодовольно  
в тепле я погружался в сон.  
И снилось мне, что муки, войны —  
всё в жизни мы перенесем.

\* \* \*

Я слушаю, как движутся летá,  
звучат благоразумия укоры.  
Проходит время. Шумные уборы  
меняют островерхие леса.

И все же эта ноша тяжела —  
так жить необязательно и бегло,  
по-детски расточительно и бедно  
и слушать, как тревожна тишина...

\* \* \*

Пускай к тебе вернется свет  
за то, что в трудную годину  
со мной в ненастье выходила,  
с крыльца рукой махала вслед.  
То, что горело, — отожгло.  
Зима сменила время зноя.  
И все минутное и злое  
куда-то вовсе отошло.  
И, твой благословляя смех,  
как этот чистый, робкий снег,  
хочу бессонными часами  
я знать, что ты день ото дня  
глядишь, как прежде, на меня  
большими, добрыми глазами...



## К БИОГРАФИИ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА

Восстанавливая биографию Сергея Есенина, исследователи встречаются со многими трудностями: недостаток достоверных сведений об отдельных периодах жизни поэта, неточности в его автобиографиях, отличающихся к тому же крайним лаконизмом.

Поэтому всякий подлинный документ, каких бы частных моментов он ни касался и как бы ни был на первый взгляд локален, поставленный в ряд с другими достоверно установленными фактами, расширяет наши представления о поэте, становится той необходимой деталью, которая помогает в конечном итоге воссозданию биографии С. Есенина.

### «...ПОДБОР СТИХОТВОРЕНИЙ В. ГЮГО»

В Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР хранится письмо сотрудника сытинских журналов «Мирок» и «Вокруг света» Хр. Попова, адресованное Сергею Есенину, в котором, в частности, говорится: «...сегодня одновременно с сим я отправляю Вам переводом 10 руб. 10 коп. (десять р. 10 к.), о получении коих прошу уведомить закрытым письмом. Это — пока. Должен же я Вам лично больше. Из посылаемых 10 р. 10 к. 2 р. 50 к. я брал у вас в Петрограде; 7 р. 50 к. будет в счет вознаграждения за подбор стих[отворений] В. Гюго и, наконец, 10 коп. уплатите почтальону за доставку перевода...»

Письмо, датированное 9 апреля 1915 года, написано на типографском бланке «Редакция журналов «Вокруг света» и «Мирок». Здесь же указан адрес и телефон журналов: «Москва, Пятницкая, д. т-ва И. Д. Сытина. Телефон № 3-62-58».

До сих пор было известно, что Есенин, выполняя в типографии И. Д. Сытина обязанности подчитчика, а затем корректора, печатался в журналах «Мирок» и «Проталинка». Прочитированные строки позволяют говорить, что юный Есенин выполнял и работу иного порядка, требующую большой начитанности и незаурядного литературного вкуса, — «подбор стихотворений В. Гюго».

Чтобы ответить на вопрос, какую подборку стихов В. Гюго и для какого издания готовил Есенин, надо знать, что журнал «Вокруг света», выпускавшийся издательством И. Д. Сытина, объявляя подписку на 1915 год, предложил своим подписчикам приложение из «36 книг полного собрания рассказов, повестей, драм В. Гюго». В рекламе об издании говорилось, что среди других произведений писателя подписчики получат «избранные стихотворения из сборников В. Гюго».

Упомянутое собрание сочинений В. Гюго вышло в 1915 году в двенадцати томах (тридцати шести книгах) как бесплатное приложение к журналу «Вокруг света». Последний 12-й том содержал «Избранные стихотворения». В подборке стихотворений для этого издания и участвовал Есенин, — факт, не отмеченный биографами поэта.

### «В БИБЛИОТЕКУ ИМ. ЛЕНИНА»

30 июня 1925 года С. Есенин подписал договор с Госиздатом на издание собрания стихотворений и вскоре принес в издательство первую партию стихотворений, затем другую, отложив окончательную работу

по составлению макета собрания «(до более благоприятного случая)».

25 июля С. Есенин вместе с С. А. Толстой уехал в Баку, куда их пригласил секретарь ЦК КП Азербайджана, редактор газеты «Бакинский рабочий» П. И. Чагин, большой друг поэта. В конце августа Есенин получил письмо из Госиздата о необходимости срочной подготовки рукописи собрания к сдаче ее в набор.

6 сентября С. Есенин вместе с С. А. Толстой вернулся в Москву и продолжил работу над собранием стихотворений. Рукопись нуждалась в пополнении. Есенин решил включить в собрание стихи, опубликованные в свое время в периодической печати.

10 октября 1925 года Есенин получил в Госиздате отношение следующего содержания:

«В библиотеку им. Ленина

Литературный отдел Госиздата просит разрешить С. А. Есенину работать в особом отделении б[иблиоте]ки им. Ленина для отбора им в периодических изданиях своих произведений, необходимых для «Собрания сочинений» С. Есенина, выходящих в Госиздате.

Зав. Литературным отделом...

Секретарь...»

Оригинал этого отношения Есенин получил на руки, в архиве издательства осталась копия, по которой мы и воспроизводим его текст.

15 октября Госиздат обратился к Есенину с просьбой сдать весь материал для собрания сочинений «в течение трех дней».

Необходимость срочной сдачи всего материала заставила Есенина отказаться от дальнейших поисков, и он прекратил занятия в библиотеке.

Благодаря публикуемым и названным материалам теперь можно с большей определенностью, чем это делалось раньше, назвать время завершения Есениным работы над рукописью собрания стихотворений. В конце декабря 1925 года Есенин, уезжая в Ленинград, просил редактора издания И. Евдокимова прислать ему корректуру стихов, намереваясь в них «кое-что исправить». «В течение дня Есенин несколько раз заглядывал в комнату, повторял о своем ленинградском адресе и уходил», — пишет И. Евдокимов. Есенину не довелось держать корректуру своего собрания сочинений.

### «ДАЕШЬ СЕРГЕЯ Е-СЕ-НИ-НА...»

Выступления С. Есенина с чтением стихов неизменно собирали многочисленную аудиторию, и далеко не всем желающим удавалось попасть на эти вечера. Поэта приглашали коллективы рабочих, служащих, студентов.

Первого ноября 1923 года завком типографии Транспечати Народного комиссариата связи обратился к Есенину со следующим письмом:

«Поэту Сергею Есенину.

Уважаемый товарищ.

Завком 3-й типографии Транспечати от имени рабочих этой типографии просит не отказать читать Ваши стихи на вечере в честь 6-й годовщины Октябрьской революции, устраиваемом рабочими 3-й типогра-

фин в доме Наркомпроса, Мясницкая, Юшков пер., 5-го ноября в 8 час. вечера.

О Вашем согласии просим нас известить.

Председатель завкома...

Секретарь завкома...»

Из воспоминаний современников известно, с каким воодушевлением встречали поэта и как бурно реагировали, когда по тем или иным причинам он не мог выступать. Вот письмо, которое передает атмосферу одного из вечеров поэзии, состоявшегося за месяц до трагической гибели поэта, — волнующее свидетельство необычайной популярности поэзии Сергея Есенина.

«Москва, 30/XI 1925

Есенин.

Когда я шла вчера на вечер поэзии наших дней, то мое решение пойти туда держалось на трех китах; и. пожалуй, самым большим из них было желание услышать и увидеть настоящего, живого поэта — Вас. Вы, как и А. Белый, Городецкий и К°, не пришли и этим сорвали весь вечер, т. к. публика чем дальше, тем требовательнее орала, при выступлении каждого нового поэта: «Не надо! Долой!! Дашь Сергея Есенина! Е-се-ни-на!!!»

Нас утешали тем, что Вы живы и невредимы сидите дома... По-моему, Вы, Есенин, поступили свински, так надув нас. Собственно говоря, я это только и хотела сказать.

Пишу Вам в первый и, вероятно, в последний раз, потому что, к сожалению, уверена, что дальше мусорной корзинки вашего секретаря письмо не попадет. Так ведь?

*Наталья Шмарина*».

Содержащаяся в письме обида на Есенина за то, что он не пришел на вечер поэзии, где было объявлено его выступление, — досадное недоразумение. Оповестив собравшуюся публику, что Есенин «жив и невредим сидит дома», устроители вечера вольно или невольно ввели аудиторию в заблуждение. Есенин за три дня до этого вечера, 26 ноября, лег в клинику, где находился до 21 декабря 1925 года. И, следовательно, участвовать в этом вечере не мог.

#### «ВАШИ МЫСЛИ... КРАЙНЕ НУЖНЫ»

Писательница Софья Виноградская вспоминает, что к Есенину приходило много молодых, начинающих поэтов «и в судьбе многих из них он принял немалое участие. Это было участие не только советом: он оказывал многим жизненную поддержку... Бездомные, без денег, они находили у него приют, ночлег, а ко многим он настолько привязывался, что втягивал их в свою жизнь».

Есенин получал много писем от начинающих авторов с просьбой высказать мнение об их стихах, помочь опубликовать. Он внимательно относился к такого рода просьбам, если видел в авторах произведений людей одаренных. По воспоминаниям редактора Госиздата И. Евдокимова, «Есенин часто хлопотал то об одном, то о другом поэте».

И. Грузинов передает разговор Есенина с одним из начинающих поэтов. Ссылаясь на советы, которые он в свое время получил от А. А. Блока, Есенин говорил:

«Лирическое стихотворение не должно быть чересчур длинным, — говорил мне Блок.

Идеальная мера лирического стихотворения 20 строк. Если стихотворение начинающего поэта будет очень длинным, длиннее 20 строк, оно безусловно потеряет лирическую напряженность, оно станет бледным и

водянистым. Учись быть кратким. В стихотворении, имеющем от 3 до 5 четверостиший, можно все сказать, что чувствуешь, можно выразить определенную настроенность, можно развить ту или иную мысль. Это на первых порах. Потом, через год, через два, когда окрепнешь, когда научишься писать стихотворения в 20 строк, тогда уж можешь испытать свои силы, можешь начинать писать более длинные лирические вещи.

Помни: идеальная мера лирического стихотворения 20 строк».

Порой к Есенину приезжали издалека, чтобы услышать оценку своих стихов. Об этом свидетельствует письмо крестьянина В. Торопова.

«Уважаемый тов. С. Есенин!

Приехал я из далекого Закавказья Муганской степи из деревни в Москву, почти исключительно, чтобы видеть Вас и иметь совет по поводу моих стихов, которые при этом прилагаю. Очень сожалею, что не имею возможности Вас видеть и получить Ваши указания на мои стихи, в которых я сомневаюсь.

Прошу просмотреть их и написать, куда с ними обратиться для помещения в печать, если они, конечно, выдерживают какую-либо критику, отметив, которые из них могут пройти и вообще, какие заметите недостатки. А также просьба, если возможно, окажите свое содействие в помещении их, за что буду до гроба благодарен.

Адрес мой: гостиница Моссовета «Люкс», № 17.

В Москве еще буду неделю.

С глубоким уважением крестьянин В. Торопов».

Сохранилось письмо, посланное из Конотопа 18 сентября 1925 года, на конверте которого значится:

«Москва, Ильинка, Богоявленский пер., 4. Литературно-издательский отдел Государственного издательства. Для Сергея Александровича Есенина».

«Дорогой Сергей Александрович!

Разрешите выслать Вам для просмотра рукопись книги, о которой я в нынешнем моем состоянии не могу сделать заключения. Да хоть и смог бы — все равно: Ваши мысли о ней крайне нужны, и не для одного меня.

Просьба моя, видимо, стереотипна с десятками других просьб, обращенных к Вам. И все же я решаюсь настаивать на ней... Если не Вы — кто ж еще?

Ваш Павел Коломиец.

Конотоп, Шевченковская ул., 61...»

Известен ответ Есенина на письмо начинающего поэта из города Николаева, комсомольца Я. Цейтлина, приславшего свои стихи на отзыв. Отметив «безусловное дарование» юного поэта, Есенин советовал ему избегать «шатких, зыблемых слов», строго следить за расстановкой слов в поэтической строке и не пользоваться «избитыми выражениями». «Их можно брать, — писал Есенин, — исключительно после большой школы, тогда в умелой рамке, в руках умелого мастера они выглядят по-другому».

«Письмо он послал, — вспоминает С. Виноградская, — за две недели до смерти. Восторженное, полное дикой радости ученика ответное письмо комсомольца, где он писал, что комсомольцы-поэты города Николаева знают своего учителя Есенина, пришло уже после смерти».

#### «НАС ИНТЕРЕСУЕТ ДЕТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВАШИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ»

Читатели всех возрастов находили в стихах Есенина близкое для себя и старались как можно больше узнать о жизни и творчестве поэта. Об этом, в част-

ности, говорит письмо учащихся одной из школ города Нижнего Новгорода (ныне Горький), присланное «В редакцию журнала «Красная нива» с просьбой «передать поэту С. Есенину».

«Уважаемый тов. Есенин!

Мы, учащиеся школы II ступени им. А. И. Герцена, на уроках литературы решили заняться изучением вашей поэзии. Имеющийся материал в критических и автобиографических статьях нас не удовлетворяет ввиду того, что нас интересует более детальное изучение ваших произведений. Нам в высшей степени интересно было бы получить от Вас более подробные сведения как о Вашей биографии, так и о тех причинах, которые способствовали развитию вашего литературного таланта. Нам интересно было бы от Вас узнать, к какому литературному течению Вы себя причисляете, какие мотивы преобладают в Вашей поэзии и какой оттенок носит эта поэзия. Если можете, то пришлите

## В. Г. Базанов

член-корреспондент  
Академии наук СССР

### ОЛОНЕЦКИЙ КРЕСТЬЯНИН

И. Н. Розанов рассказывает, как в начале 1916 года в Москву приехал Клюев и вечером 21 января вместе с Есениным выступал с чтением стихов в «Обществе свободной эстетики». «И вот между пиджаками, визитками, дамскими декольте твердо и уверенно пробирается Николай Клюев. У него прямые светлые волосы; прямые, широкие, спадающие «моржовые» усы. Он в коричневой поддевке и высоких сапогах». За Клюевым следовал «какой-то парень странного вида. На нем была голубая шелковая рубашка, черная бархатная безрукавка и нарядные сапожки». Это был Есенин. Далее Розанов говорит, что Клюев и Есенин своим внешним видом возбуждали «отрицательно-ироническое отношение». «Костюмы их, — пишет Розанов, — мне показались маскарадными, и я определил их для себя: «переточные пейзажи» и «прямичные мужички». Тогда-то и вспомнился мне римский кинематограф и русские революционеры в кучерских кафтанах, обстриженных в кружок»<sup>1</sup>.

Неожиданная ассоциация: и «переточные пейзажи», и «русские революционеры в кучерских кафтанах». История русского общественного движения знает разного рода ряженых, но Клюеву незачем было переодеваться, он приезжал в Москву и Петербург в привычном для него костюме: в поддевке и в сапогах. Родился Клюев в 1884 году в далекой деревне Андома, заброшенной в глухие леса Олонецкой губернии (ныне Вологодская область). Клюевская семья — целая школа народной мудрости и фольклорной культуры. Дед, отец и особенно мать, Прасковья Дмитриевна, сыграли огромную роль в формировании нравственных убеждений будущего поэта и его художественных наклонностей. О своей матери Клюев писал: «Грамоте, песенному складу и всякой словесной мудрости обучен своей покойной матерью, память которой чту слезно, даже до смерти». Клюев прекрасно знал нравы и обычаи олонецкой

письмо с ответом на наши вопросы и как можно больше материала, касающегося Вас и вашей литературной деятельности.

Мы уверены в том, что Вы пойдете навстречу этой молодой литературной инициативе. Мы уверены в том, что Вы поддержите литературную активность!

С коммунистическим приветом:

Литколлектив 4/III 1925 г.

Р. С. Пишите по адресу: Н-Новгород, Варварская ул., дом № 8, школа им. А. И. Герцена, передать тов. А. Поварову».

Мы не знаем, откликнулся ли Сергей Есенин на просьбу учащихся. Письма, адресованные поэту, — доподлинное свидетельство широкого признания поэзии Есенина его современниками, признания тем более показательного, что оно шло из разных уголков страны, от людей разных профессий, разного уровня культуры, разного возраста.

деревни, историю и этнографию местного края. Надолго он никогда не покидал родные места, то скитался по деревням, то жил в Вытегре, небольшом уездном городе, постоянно путешествовал, собирал и изучал фольклор, «толкался» среди народа, прислушивался к крестьянским толкам и слухам.

В годы первой русской революции, находясь в Вытегре и в Мокачевской волости, Клюев принимал непосредственное участие в революционной пропаганде среди крестьян. За «хождение в народ», устные беседы с крестьянами, распространение прокламаций и пение революционных песен («Встань, подымись, русский народ...») он был арестован, в 1906 году четыре месяца провел в вытегорской тюрьме, затем еще два месяца — в петрозаводской. Вытегорский исправник доносил, что Клюев внушал своим землякам: «50 000 крестьян Олонецкой губернии всем недовольны и готовы к возмущению»<sup>1</sup>. При обыске в январе 1906 года у Клюева были обнаружены его собственные сочинения «взмутительного характера» и «Капитал» Маркса. После освобождения из-под ареста Клюев не прекратил своей революционной деятельности, он вместе с членами Петрозаводского комитета РСДРП участвует в сходке рабочих Александровского завода, снова ораторствует и в списках распространяет свои сочинения. В ряде стихотворений Клюева, вошедших в сборник «Сосен перезвон» (1912), постоянно присутствуют

<sup>1</sup> И. Н. Розанов. Есенин и его спутники. Сб. «Есенин. Жизнь. Личность. Творчество». М., изд-во «Работник просвещения», 1926, стр. 74—77.

<sup>1</sup> В Петрозаводском архиве, среди бумаг жандармского управления, сохранилось дело о производстве дознания «по обвинению крестьянина Николая Клюева» в революционной пропаганде, начатое 29 января 1906 года и законченное 11 июля того же года. См.: А. Н. Г р у н т о в. Материалы к биографии Н. А. Клюева. «Русская литература», 1973, № 1, стр. 118—126; В а л. Р у н о в. Новое о Николае Клюеве. «На рубеже», 1964, № 4, стр. 111—112; К. М. А з а д о в с к и й. Раннее творчество Н. А. Клюева. «Русская литература», 1975, № 3, стр. 192—193.

тюремные мотивы, раздаётся звук цепей. Даже в лирику природы, в тихий «сосновый храм» врываются напоминания о наступившей реакции, о начавшихся гонениях и преследованиях. Клюев оплакивает павших борцов и выражает веру в грядущие поколения, в революционное будущее.

Начинающий поэт, оторванный от большого литературного мира, отважился послать свои стихи Александру Блоку. Одно из стихотворений, отправленных в Петербург, смело характерное название — «Голос из народа». Так в 1907 году состоялось первое заочное знакомство Клюева с Александром Блоком. «Олонецкий крестьянин» писал петербургскому поэту: «Я, крестьянин Николай Клюев, обращаюсь к Вам с просьбой прочитать мои стихи, и если они годятся в печать, поместить их в каком-нибудь журнале...» Первые письма Клюева к Блоку, робкие и неуверенные, свидетельствуют, что именно поэзия Блока оказалась близкой крестьянскому поэту. «Мы, я и мои товарищи, — пишет Клюев Блоку, — читаем Ваши стихи... Нам они очень нравятся. Прямо-таки удивление. Читая, чувствуешь, как душа становится вольной, как океан, как волны, как звезды, как пенный след крылатых кораблей. И жаждется чуда прекрасного, как свобода, и грозного, как Страшный Суд... Я человек малоученый — так понимаю Вас, — и рад п счастьем возможности передать Вам мое сочувствие». Только в самых первых письмах Клюев такой «малоученый», в дальнейшем он и Блока будет поучать, осуждать за отрыв от простого народа. В одном из следующих посланий «олонецкий крестьянин» обрушивается на буржуазную интеллигенцию, достается и поэтам-декадентам.

В конце ноября 1908 года Блок сообщает матери: «Всего важнее для *меня* — то, что Клюев написал мне длинное письмо о «Земле в снегу», где упрекает меня в интеллигентской порнографии (не за всю книгу, конечно, но, например, за «Вольные мысли»). И я поверил ему в том, что *даже я*, ненавистник порнографии, попал под ее влияние будучи интеллигентом. Может быть, это и хорошо даже, но еще лучше, что указывает мне на это Клюев. Другому бы я не поверил так, как ему. Письмо его *сообщил* опять настолько важно, что я, кажется, опубликую его»<sup>1</sup>. Клюев действительно осуждал Блока за «Вольные мысли», которые показались крестьянскому поэту слишком замкнутыми в собственное «я», «самоулаждением собственным я»<sup>2</sup>.

В годы наступившей реакции Клюев не соединил свою судьбу с революционным подпольем, с рабочим движением, но и не пошел на поклон в петербургские литературные салоны, где было душно от застоявшейся декадентской рутин. В новой исторической обстановке «олонецкий крестьянин» оказался среди старообрядцев, он и Блока хотел увлечь в путешествие по скитам. Блоку Клюев сообщал, что «все древние и новые примеры крестьянского бегства в скиты, в леса-пустыни, есть показатель упорного желания отделаться от духовной зависимости, скрыться от дворянского вездесущия. Сознание, что «вы» везде, что «вы» «можете», а мы «должны», вот необратимая стена

несближения с нашей стороны...». На Блока письмо Клюева произвело сильное впечатление. Прочитав это письмо, Блок в статье «Литературные итоги 1907 года» признавался: «Что можно ответить и как оправдаться? Я думаю, что оправдаться нельзя, потому что вот так, как написано в этом письме, обстоит дело в России, которую мы видим из окна вагона железной дороги, из-за забора помещицкого сада да с пахучих клеверных полей, которые еще А. А. Фет любил обходить в прохладные вечера, «минуя деревню».

Клюев был религиозным человеком. Религиозным по-особенному, по-крестьянски. Крестьянин ходил молиться в «сосновый бор», населенный загадочными существами. Александр Бестужев в свое время удивительно метко заметил, что русский крестьянин «благодарил перед ризою, но не перед рясою», к официальной церкви он относился враждебно. В поэзии Клюева — крестьянский языческий пантеизм, обожествление самой природы.

Я борозду за бороздою  
Тяжелым плугом провожу  
И с полночною звездою  
В овраг молиться ужою.

В раззолоченной поэзии «олонецкого крестьянина» происходит омирщение древних мифов и народных религиозных преданий, их бытовое применение. В лирику природы, в картины, казалось бы, чисто пейзажного свойства упрятаны крестьянские заботы, хозяйственные дела. В поэтике Клюева сама метафора становится символом, утверждающим «крестьянское» отношение к окружающей действительности.

Октябрьскую революцию Клюев встретил восторженно, но «крестьянский уклон» в его поэзии постоянно давал о себе знать. Весной 1918 года Клюев, уже всеми признанный поэт, возвращается из Петрограда в Вытегру, в родные края. В «Известиях Олонецкого Губернского исполнительного комитета» (1918, № 77, 10 мая) сообщалось: «С чувством полного удовлетворения приветствуем возвращение в родную Олонецкую даровитого поэта Николая Клюева, пользующегося общероссийской известностью».

Василий Соколов рассказывает о том впечатлении, которое произвела на слушателей клюевская «Красная песня». Начал Клюев читать «с подкупающей искренностью, призывно:

Распахнитесь, орлиные крылья,  
Бей набат и гремите грома, —  
Оборвалися цепи насилья  
И разрушена жизни тюрьма.

Поблескивали волосы, отращенные до плеч. Искрометно сверкали зрачки глаз. В такт стиха вздрагивали кисти пояса, висевшего вровень с подолом синей в черных крестиках рубахи. Пламенные слова начала стихотворения, напоминавшего «Марсельезу», были встречены восторженно»<sup>1</sup>.

Волевые, энергичные стихи с повторяющимся из строки в строку рефреном «За Землю, за Волю, за Хлеб трудовой...» не могли не волновать, тем более что Клюев читал «деревенскую марсельезу» с огромным воодушевлением. Но в «Красной песне» содержались и архаические образы, явно не соответствующие бурной эпохе.

Поэт стремился в своих пронагадистских стихах

<sup>1</sup> В а с и л и й С о к о л о в. От Вытегры до Шучи. О творчестве Николая Клюева. Газ. «Красное знамя», 1971, № 87 (6125), 22 июля.

<sup>1</sup> А. Б л о к. Собрание сочинений, т. 8, 1963, стр. 594.

<sup>2</sup> Письма Н. Клюева к А. Блоку цит. по машинописным копиям, которые мне любезно предоставили Д. Е. Максимов и К. М. Азадовский. Автографы писем Клюева хранятся в Центральном гос. литературном архиве (Москва). Письма Блока к Клюеву безвозвратно утрачены, они сгорели во время пожара в деревне, где проживал «олонецкий крестьянин».

опереться на давние мечты крестьян, придать им особый вес, согласовать призывные лозунги с практическими крестьянскими ожиданиями, с идеалами самого фольклора. Это был не только пропагандистский прием, Клюев сам уверовал, что Октябрьская революция вместе с землей и волей принесет крестьянину то самое «золотое царство», которое изображали народные сказки и фантастические легенды о «пшеничном рае». Отсюда в его поэзии своеобразное уживанье двух поэтик, двух семантических рядов и стилистических приемов (от сказовых, фольклорно-архаических до самых патетических, революционно-гимнических).

Столь откровенные, нарочито подчеркнутые стихи о мужике Святогоре и «домашней краюхе», естественно, вызывали некоторое опасение, настораживали пролетарских поэтов. Уже в 1918 году журнал «Грядущее», орган Ассоциации пролетарских писателей (Пролеткульт), в статье «О поэзии крестьянской и пролетарской» поставил вопрос о том, какая поэзия должна главенствовать, ибо «дело не только в поэтических образах и литературных формах», но и в понимании исторических событий: какова должна быть Россия? «Должна ли она быть земледельчески-крестьянской, с идеалом мужицкого рая, или пролетарски-социалистической, с машинно-городским укладом?»<sup>1</sup>

Глубокая связь с историей и культурой древней Руси, с фольклором русского Севера предусматривала появление в поэзии Клюева целой группы образов и мотивов, уходящих в далекое прошлое, в древние легенды и предания, включая предания о Китеж-граде и об «Индеюшке богатой». В пестрой и неоднородной поэзии Клюева можно встретить столкновение разных, часто противоположных идейных устремлений и художественных композиций. Внеисторично не то, что Клюев обращался к мифам древней Руси. Внеисторична концепция автора, внеисторичны отношение поэта к крестьянской России XX века, его попытка создать модель социалистического будущего на основе древних княжеских и фольклорных преданий. Воспев трудящегося человека «с молотом в руках, в медвежьей дикой шкуре», Клюев непременно желает найти в современном обществе социально-нравственного антагониста. Гимн труду, простым труженикам тут же оборачивается реакционной утопией, прославлением уходящего прошлого. Поэт пытается снова открыть накрепко закрытую историей дверь в патриархальную старину. Вновь в поэзии Клюева возрождается легенда о «берестяном рае». Поэт впадает в сермяжные парадоксы, играет в мужичка-лапотника. Однако лучшие стихотворения Клюева вносят существенную поправку в распространенное мнение о нем как об исключительно деревенском и архаическом поэте. Стихи о Ленине, сложные по своему идейному и художественному составу, включающие этнографические образы и мотивы фольклора народов русского Севера, и особенно баллады «Богатырка» и «Ленинград» с полной очевидностью

свидетельствуют, что Клюев был поэтом, воспринимавшим Октябрьскую революцию и рождение советской власти как величайшую победу исторической справедливости.

Звукоцветная поэзия Клюева, богатая словесными красками, вещными символами, мозаическими сцеплениями и «метафорическими загадками», вырастает из «чернозема народной песни» и из народного орнаментального искусства. Его лучшие «избьяные песни» расписаны, как холщовые поневы или крыльца и ставни заонежских изб. Поэт смело наводит словесную резьбу, делает стих выпуклым, пластичным, осязаемым, декоративно живописным. Своеобразной поэтической декларацией является стихотворение «Рождество избы».

...Крепкогруд строитель-тайновидец,  
Перед ним щепа, как письма,  
Запоет резная пава с крылец,  
Брызнет ярь с налгчика окна.

И когда оческами кудели  
Над избой вздохматится дымок —  
Сказ пойдет о красном древоделе  
По лесам, на запад и восток.

В кладовой народного слова, в образной системе фольклора, в живом разговорном языке хранились ценнейшие пособия клюевской поэзии. Из поэтического наследия «олонецкого крестьянина» выжили лучшие его произведения, выросшие из народной почвы и отмеченные талантом художника-изографа.

Привязал гнедога к тыну;  
Будет лихо, али прок,—  
Пояс шелковый закину  
На точеный шеломок.

Скрипнет крашенная ставня...  
«Что, разлапушка,— не спишь?  
Неспроста повесу-парня  
Знают Кама и Иртыш!»

(«Привязал гнедога к тыну...»)

Можно было бы к этим стихам Клюева привести в параллель стихи Александра Прокофьева, Павла Васильева, Бориса Корнилова, а из наших современников — Николая Тряпкина, чтобы убедиться в схожести изобразительных приемов. При всем индивидуальном своеобразии каждого из этих поэтов, они учились у Клюева-художника словесной изобразительности, красочному видению окружающего мира, чудотворному слову. Клюев одним из первых приметил Павла Васильева, сказав о нем: «Иртыш баюкает тигренка — Васильева в полынном шелке!..»

До сих пор Клюев оказывает влияние на советскую поэзию своим проникновением в звуки и краски природы, в самовитую народную речь.

<sup>1</sup> П. Беззалько. О поэзии крестьянской и пролетарской. «Грядущее», 1918, № 7, стр. 13—14.

КОРАБЕЛЬЩИКИ

Мы корабельщики-поэты,  
В водовороты влюблены,  
Стремим на шквалы и кометы  
Неукротимые челны.

И у руля, презрев пучины,  
Мы атлантическим стихом  
Перед избушкой две рябины  
За вьюгою не воспоем.

Что романтические ямбы —  
Осиный гуд бумажных сот,  
Когда у крепкогрудой дамбы  
Орет к отплытью пароход!

Познав веселье парохода  
Баякать песни и тюки,  
Мы жаждем львиного приплода  
От поэтической строки.

Напевный лев (он в чревной хмаре)  
Взревет с пылающих страниц,  
О том, как русский пролетарий  
Взнуздал багряных кобылиц.

Как убаяюкал на ладони  
Грозовый Ленин боль земли,  
Чтоб ослепительные кони  
Луга беззимние нашли.

Там, как стихи, павлиноцветы,  
Гремучий лютик, звездный зев...  
Мы — китобойцы и поэты —  
Взбурлили парусом напев.

И вея кедром, росным пухом,  
На скрип словесного руля  
Поводит мамонтовым ухом  
Недоуменная земля.

1926—1927

БОГАТЫРКА

Моя родная богатырка —  
Сестра в досуге и в борьбе,  
Недаром огненная стирка  
Прошла булатом по тебе!

Стирал тебя Колчак в Сибири  
Братоубийственным штыком

И голод на поволжской шири  
Костлявым гладил утюгом.

Старуха мурманская вьюга,  
Ворча, крахмалила испод,  
Чтоб от Алтая и до Буга  
Взыграл железный ледоход.

Ты мой чумазый осьмилеток,  
Пропахший потом боевым,  
Тебе венок из лучших веток  
Плетет Вайгач и теплый Крым.

Мне двадцать пять, крут подбородок,  
И бровь моздокских ямщиков,  
Гнездится красный зимородок  
Под карим бархатом усов.

В лихом бою, над зыбкой в хате,  
За яровую бороздой,  
Я помню о суконном брате  
С неодолимою звездой.

## ЛЕНИНГРАД

В излуче Балтийского моря,  
Где невские волны шумят,  
С косматыми тучами спора  
Стоит богатырь — Ленинград.

Зимой на нем снежные латы,  
Метель голубая в усах,  
Запутался месяц щербатый  
В карельских густых волосах.

Румянит мороз ему щеки,  
И ладожский ветер поет  
О том, что апрель светлоокий  
Ломает по заводам лед,

Что скоро сирень на бульваре  
Оденет лиловую шаль  
И сладко в матросской гитаре  
Занает горячий «Трансваль».

Когда же заря молодая  
Багряное вздует горно —  
Великое Первое мая  
В рабочее стукнет окно.

Взвалив себе на спину трубы,  
На площади выйдет завод,  
За ним Комсомол краснозубый —  
Республики пламенный мед.

И Армии Красной колонны,  
Наш флот — океану собрат —  
Пучиной стальной, непреклонной  
На Марсово поле спешат.

В груди, в виске ли будет дырка —  
Ее напевом не заткнешь...  
Моя родная богатырка,  
С тобой и в смерти я пригож!

Лишь станут пасмурнее брови,  
Суровее твоя звезда...  
У богатырских изголовий  
Шумит степная лебеда.

И улыбаются курганы  
Из-под отеческих усов  
На ослепительные раны  
Прекрасных внуков и сынов.

1925

Там дремлют в суровом покое  
Товарищей подвиг и труд,  
И с яркой гвоздикой левкой  
Из ран благородных растут.

Плющом Володарского речи  
Обвили могильный гранит...  
Печаль об умершем далече,  
Как шум придорожных раки.

Люблю Ленинград в богатырке  
На каменном тяжком коне;  
Пускай у луны-поводырки  
Миллионы сестер в вышине,—

Звезда Октября величавей  
Стожаров и гордых комет...  
Шлет Ладога смуглой Мораве  
С гусиной станицей привет.

И слушает Рим семихолмный,  
Египет в пустынной пыли,  
Как плавят рабочие домны  
Упорную печень земли,

Как, с волчьей метелицей спора,  
По-лоцмански зорко лобат,  
У лысины Хмурого моря  
Стоит богатырь Ленинград.

Гудят ему волны о крае,  
Где юность и мая краса,  
И ветер лапландский вздувает  
В гранитных зрачках паруса.

1926

\* \* \*

Певучей думой обуян,  
Дремлю под жесткою дерюгой.  
Я — королевич Еруслан  
В пути за пленницей-подругой.

Мой конь под алым чепраком,  
На мне серебряные латы...  
А мать жужжит веретеном  
В луче осеннего заката.

Смежают сумерки глаза,  
На лихо жалуются прялка...  
Дымится омут, спит лоза,  
В осоке девушка-русалка.

Она поет, манит на дно  
От неги ярого избытка...  
Замри, судьбы веретено,  
Порвись, тоскующая нитка!

*1912*

\* \* \*

Зима изгрызла бок у стога,  
Вспорола скирды, но вдомек  
Буренке пегая дорога  
И грай нахохленных сорок.

Сороки хохлятся — к капели,  
Дорога пегая — быть теплу,  
Как лещ наживку, ловят ели  
Луча янтарную иглу.

И луч бежит в переполохе,  
Нырнет в хвой, в зыбь ветвей...  
По вечерам коровьи вздохи  
Снотворней бабкиных речей:

«К весне пошло, на речке глыбко,  
Буренка чует водополь...»  
Изба дремлива, словно зыбка,  
Где смолкли горести и боль.

Лишь в поставце, как скряга злато,  
Теленье числя и удой,  
Подойник с крынкою щербатой  
Тревожат сумрак избяной.

*1916*



АХМАТОВА

(Несколько страниц воспоминаний)

Большая часть появляющихся сейчас воспоминаний об Анне Андреевне Ахматовой относится к позднему периоду ее жизни. Немногие уже могли бы сейчас рассказать об Ахматовой поры «Четок», «Белой стаи». Мои первые воспоминания об Анне Андреевне восходят к периоду сравнительно раннему. Зимой 1926—1927 года я познакомилась с ней в доме Гуковских. Ахматова посещала их часто — Наталья Викторовна Рыкова, жена Григория Александровича Гуковского, в двадцатых годах была одним из близких ее друзей.

В 1926 году, под редакцией Эйхенбаума и Тынянова, вышла «Русская проза» — сборник статей их учеников. Там была напечатана моя первая статья — «Вяземский-литератор». Оттиск этой статьи я, волнуясь, вручила Наталье Викторовне для передачи Ахматовой. Вскоре мы встретились у Гуковских. Наталья Викторовна представила меня: «Вот та, статью которой...»

— Очень хорошая статья, — сказала Анна Андреевна.

Это была первая фраза — я очень ею гордилась, — услышанная мною от Анны Андреевны.

С тех пор мы встречались в течение сорока лет, до самого конца. Часто — в тридцатых годах и после войны, во второй половине сороковых; реже — в пятидесятых и шестидесятых, когда Анна Андреевна подолгу гостила в Москве. Вот почему в моей памяти особенно отчетлив облик Ахматовой тридцатых — сороковых годов и даже конца двадцатых, когда ей было лет 37—38.

Я помню Ахматову еще молодую, худую, как на портрете Альтмана, удивительно красивую, блистательно остроумную, величественную.

Движения, интонации Ахматовой были упорядочены, целенаправлены. Она в высшей степени обладала *системой жестов*, — вообще говоря, несвойственной людям нашего неритуального времени. У других это казалось бы аффектированным, театральным; у Ахматовой в сочетании со всем ее обликом это было гармонично.

Меня всегда занимал вопрос о сходстве или несходстве поэта со своими стихами. Образцом *сходства*, конечно, был Маяковский — с его речевой манерой, голосом, ростом.

Иначе у Ахматовой. В ее стихах десятых — двадцатых годов не отразились ее историко-литературные интересы или ее остроумие — блестящее, иногда беспощадное. В быту Анна Андреевна не была похожа на своих героинь. Но Ахматова, с ее трезвым, наблюдающим, несколько рационалистическим умом, была как-то похожа на свой поэтический метод. Соотношение осуществлялось.

Ахматова создала лирическую систему — одну из замечательнейших в истории поэзии, но лирику она никогда не мыслила как спонтанное излияние души. Ей нужна была поэтическая дисциплина, самопринуждение, самоограничение творческого. Дисциплина и труд. Пушкин любил называть дело поэта — трудом поэта. И для Ахматовой — это одна из ее пушкинских традиций. Для нее это был в своем роде даже физический труд.

Один из почитателей Анны Андреевны как-то зашел к ней, когда она болела, жаловалась на слабость, сказала, что пролежала несколько дней одна, в тишине.

— В эти дни вы, должно быть, писали, Анна Андреевна...

— Нет, что вы! Разве можно в таком состоянии писать стихи? Это ведь напряжение всех физических сил...

Труд и самопроверка. В разговоре с Анной Андреевной я как-то упомянула о тех, кто пишет «нутром».

— Нутром долго ничего нельзя делать, — сказала Анна Андреевна, — это можно иногда, на очень короткое время.

— А как Пастернак? В нем все же много иррационального.

— У него это как-то иначе...

Лирика для Ахматовой не душевное сырье, но глубочайшее преобразование внутреннего опыта. Перевод его в другой ключ, в царство *другого слова*, где нет стыда и тайны принадлежит всем. В лирическом стихотворении читатель хочет узнать не столько поэта, сколько себя. Отсюда парадокс лирики: самый субъективный род литературы, она, как никакой другой, тяготеет к всеобщему.

В этом именно смысле Анна Андреевна говорила: «Стихи должны быть бесстыдными». Это означало: по законам поэтического преобразования поэт смеет говорить о самом личном — из личного оно уже стало общим.

Ахматовой было присуще необычно интенсивное переживание культуры. Лирика и культура — это важная тема. Здесь не место в нее углубляться; скажу только, что культура дает лирике столь нужные ей широту и богатство ассоциаций.

В творчестве Ахматовой культура присутствовала всегда, но по-разному. В поздних ее стихах культура проступает наружу. В ранних она скрыта, но дает о себе знать литературной традицией, тонкими, спрятанными напоминаниями о работе предшественников.

О первом (1910—1930-е годы) и втором (1940—1960-е) периодах творчества Ахматовой говорю здесь условно, не вдаваясь в подлинную сложность ее эволюции. Во всяком случае, решающие изменения в поэтическом методе Ахматовой очевидны. Для первого периода характерны предметность, слово, не перестроенное метафорой, но резко преобразованное контекстом. Вещь в стихе остается вещью, конкретностью, но получает обобщенный, расширенный смысл. В поэзии Ахматовой это своеобразное преломление великих открытий позднего Пушкина.

Но ни на что не променяем пышный  
Гранитный город славы и беды,  
Широких рек сияющие льды,  
Бессолнечные, мрачные сады  
И голос музыки еле слышный.

Об этом стихотворении хорошо говорил когда-то Григорий Александрович Гуковский:

— В стихах о Петербурге всегда упоминалась река — Нева. А вот Ахматова увидела в Петербурге

реки, дельту. И написала: «Широких рек сияющие льды...»

Это стихотворение 1915 года. В поздних стихах Ахматовой господствуют переносные значения, слово в них становится подчеркнуто символическим. Для некоторых старых читателей Ахматовой (для меня в том числе), чей вкус воспитывался на ее первых книгах, книги эти остались особенно близкими. В них им впервые раскрылось неповторимое ахматовское видение мира, с его всеобъемлющей точностью — предметной, психологической, даже точностью отвлеченных понятий.

Бывает глаз по-разному остер,  
По-разному бывает образ точен...

Писал об этом Пастернак в стихотворении «Анне Ахматовой» (1928).

Все это отнюдь не попытка сравнительной исторической оценки периодов творчества Ахматовой. Речь идет только о том субъективном восприятии поэта, на которое каждый читатель имеет право.

Анна Андреевна угадывала предпочтения своих читателей, даже если они молчали, — и давала им это понять, вспоминая слова Маяковского:

— А помните, что сказал Маяковский: говорите о моих стихах все, что хотите; только не говорите, что последнее лучше последнего.

Символическому слову поздних стихов Ахматовой соответствует новая функция культуры. Историческими или литературными ассоциациями культура открыто вступает теперь в текст. Особенно в «Поэме без героя», с ее масками, реминисценциями, ветвящимися эпиграфами.

Функции культуры менялись в поэзии Ахматовой, но ее погруженность в культуру оставалась неизменной. И она обладала особым даром *чтения*.

В детстве, в ранней юности мы читаем бескорыстно. Мы перечитываем, перебираем прочитанное и твердим его про себя. Постепенно это юношеское чтение вытесняется профессиональным, вообще целеустремленным чтением, ориентированным на разные соображения и интересы. Анна Андреевна навсегда сохранила способность читать бескорыстно. Поэтому она знала свои любимые книги как никто.

Готовя комментарий к различным изданиям, приходилось нередко сталкиваться с нераскрытой цитатой из Данте, Шекспира, Байрона. По телефону звоню специалистам. Специалисты цитату не находят. Это вовсе не упрек — по опыту знаю, как трудно в обширном наследии писателя найти именно ту строку, которая вдруг кому-то понадобилась.

Остается позвонить Анне Андреевне. Анна Андреевна любила такие вопросы (их задавала ей не я одна) — она называла это своим справочным бюро. Иногда она определяла цитату сразу, не вешая телефонную трубку. Иногда говорила, что для ответа требуется некоторый срок. Не помню случая, чтобы цитата осталась нераскрытой.

Данте, Шекспир, Пушкин — это был постоянный фон ее чтения. Но охватывало оно очень многое, в том числе злободневное. В середине тридцатых годов Анна Андреевна показала мне как-то небольшую книжку со словами:

— Прочитайте непременно. Очень интересно.

Это было «Процай, оружие!» еще неизвестного нам Хемингуэя. Роман тогда у нас только что перевели.

В культурном мире Ахматовой существовало явление ни с чем не сравнимое — Пушкин. У русских писателей вообще особое восприятие Пушкина. Других классиков можно любить или не любить — это вопрос литературной позиции. Иначе с Пушкиным. Все понимали, что это стержень, который держит прошлое и будущее русской литературы. Без стержня распадается связь.

У Анны Андреевны было до странного личное отношение к Пушкину и к людям, которые его окружали. Она их судила, оценивала, любила, ненавидела, как если бы они были участниками событий, которые все еще продолжают совершаться. Она испытывала своего рода ревность к Наталии Николаевне, вообще к пушкинским женщинам. Отсюда суждения о них, иногда пристрастные, незаслуженно жесткие — за это Ахматову сейчас упрекают.

Анна Андреевна свойственно было личное, пристрастное отношение даже к литературным персонажам. Однажды я застала ее за чтением Шекспира.

— Знаете, — сказала Анна Андреевна, — Дездемона очаровательна. Офелия же истеричка с бумажными цветами и похожа на NN...

Анна Андреевна назвала имя женщины, о которой она говорила.

— Если вы, разговаривая с ней, подыметесь на воздух и перелетите через комнату, она несколько не удивится. Она скажет: «Как вы хорошо летаете!». Это оттого, что она как во сне; во сне все возможно — невозможно только удивление.

Здесь характерна интимность, домашность культурных ассоциаций. В разговорах Анны Андреевны они свободно переплетались с реалиями быта, с оценкой окружающих, с конкретностью жизненных наблюдений.

Вспоминая Ахматову, непрерывно встречаешься с темой культуры, традиции наследия. В тех же категориях воспринимается ее творчество. О воздействии русской классики на поэзию Ахматовой много уже говорили и писали. В этом ряду — Пушкин и поэты пушкинского времени, русский психологический роман, Некрасов. Еще предстоит исследовать значение для Ахматовой любовной лирики Некрасова. Ей близка эта лирика — нервная, с ее городскими конфликтами, с разговорной интеллигентской речью.

Но все эти соотношения совсем не прямолинейны. «Классичность» некоторых поэтов XX века, вплоть до поэтов наших дней, критика понимает порой как повторение, слепок. Но русская поэзия, сложившаяся после символистов, в борьбе с символистами не могла все же забыть то, что они открыли, — напряженную ассоциативность поэтического слова, его новую многозначность, многослойность.

Ахматова — поэт XX века. У классиков она училась, и в стихах ее можно встретить те же слова, но *отношение между словами* — другое.

Поэзия Ахматовой — сочетание предметности слова с резко преобразующим поэтическим контекстом, с динамикой иеназванного и напряженностью смысловых столкновений. Это большая поэзия, современная и переработавшая опыт двух веков русского стиха.

В личном общении мы с чрезвычайной ясностью ощущали эту стихию наследственной культуры — и девятнадцатого, и двадцатого века. И притом никакой архаики, никакого разговора на разных языках. Анна Андреевна всегда умела говорить на языке тех культурных поколений, с которыми время сводило ее на протяжении ее долгой жизни.

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>I</b>		
<b>Н. ТИХОНОВ</b>		
«Я много жил...» . . . . .	7	
«Поет нам утро не трубой старинной...» . . . . .	7	
<b>В. КАЗИН</b>		
Гудок . . . . .	8	
<b>С. ЩИПАЧЕВ</b>		
Земля поворачивалась . . . . .	10	
«Лил дождь осенний...» . . . . .	10	
Кавун . . . . .	11	
<b>З. АЛЕКСАНДРОВА</b>		
Девятнадцатый год . . . . .	11	
<b>А. БАЛИН</b>		
Контрабас . . . . .	12	
<b>С. БАРУЗДИН</b>		
«Город спит за окном больницы...» . . . . .	13	
«Июньская хнычет погода...» . . . . .	13	
«Не знал, не ведал никогда...» . . . . .	13	
«Ты просишь вспомнить о войне...» . . . . .	13	
<b>Я. БЕЛИНСКИЙ</b>		
Эрзя . . . . .	14	
<b>Д. БЛАГОЙ</b>		
1943-й год . . . . .	14	
Закон года . . . . .	14	
Муза странствий . . . . .	15	
<b>В. БОКОВ</b>		
Набережные Челны . . . . .	15	
«Я в рюкзак дорожный...» . . . . .	15	
<b>Н. БЯЛОСИНСКАЯ</b>		
Элегия . . . . .	16	
Ранний снег . . . . .	16	
<b>П. БОГДАНОВ</b>		
<b>БАМ</b> . . . . .	17	
<b>К. ВАНШЕНКИН</b>		
На встрече фронтовиков . . . . .	17	
«С облегчением вспомнил сквозь сон...» . . . . .	17	
Чтение стихов в фойе кинотеатра . . . . .	18	
«Петля туда и сюда...» . . . . .	18	
«С великой надеждой спасенья...» . . . . .	18	
<b>С. ВИКУЛОВ</b>		
Память о воде . . . . .	19	
Поэт . . . . .	19	
«Меня с годами все сильнее мучает...» . . . . .	20	
Перед новым делом . . . . .	20	
<b>И. ВОЛОБУЕВА</b>		
«Я, первая любовь, тебя благодарю...» . . . . .	20	
<b>Е. ВИНОКУРОВ</b>		
Танец пчел . . . . .	21	
Продавщица осьминогов . . . . .	21	
Джордано Бруно . . . . .	21	
«В могилке, а не в саркофаге...» . . . . .	21	
На краю света . . . . .	22	
<b>Н. ГЛАЗКОВ</b>		
Город зрелости . . . . .	22	
Южно-Сахалинск — Холмск . . . . .	22	
<b>Н. ГРИБАЧЕВ</b>		
Все так . . . . .	23	
Пределы . . . . .	23	
Зимний день . . . . .	23	
<b>Ю. ДРУНИНА</b>		
Сергей Муравьев-Апостол . . . . .	24	
Ялutorовск . . . . .	24	
<b>П. ЖЕЛЕЗНОВ</b>		
Солдат революции . . . . .	25	
<b>Р. ИВНЕВ</b>		
«Зеленые теплые листья...» . . . . .	25	
Утро . . . . .	25	
<b>Я. КОЗЛОВСКИЙ</b>		
Старая песня . . . . .	26	
<b>В. КАРПЕКО</b>		
Храм дружбы . . . . .	26	
<b>А. КОРЕНЕВ</b>		
Трава зверобой . . . . .	27	
<b>В. КОЧЕТКОВ</b>		
Над страницами истории . . . . .	27	
«Все жарче в железные игры играя...» . . . . .	28	
«В полночной мгле...» . . . . .	28	
<b>Г. ЛЕВИН</b>		
Суздаль . . . . .	28	
<b>И. ЛАШКОВ</b>		
«Мой дед заснят в буденовке...» . . . . .	29	
<b>М. ЛИСЯНСКИЙ</b>		
Мой город . . . . .	29	
<b>М. ЛЬВОВ</b>		
«А я еще живу...» . . . . .	30	
«О эта Жизнь! Этот Век!...» . . . . .	30	
<b>А. МАРКОВ</b>		
На родине . . . . .	31	
«Крутой февральский вечер...» . . . . .	31	
«Нет места на вершинах горных...» . . . . .	31	
<b>Л. МАРТЫНОВ</b>		
Октябрь . . . . .	32	
Боги металлургии . . . . .	32	
<b>А. МЕЖИРОВ</b>		
Две надписи на забытой книге . . . . .	33	
«Когда беда в твой дом войдет...» . . . . .	33	
«Кто мне она? Не друг и не жена...» . . . . .	33	
<b>С. НАРОВЧАТОВ</b>		
Болгарская поэзия . . . . .	34	
Вначале . . . . .	34	
<b>А. НИКОЛАЕВ</b>		
Хлеб мира . . . . .	35	

Н. НОВОСЕЛЬНОВА		Ф. ФОЛОМИН	
Подмосковье . . . . .	35	Отдых . . . . .	50
Л. ОЗЕРОВ		В. ШАЛАМОВ	
«Вас я видел еще молодыми...» . . . . .	36	Блок . . . . .	51
«Утро раннее, воздух и воля...» . . . . .	36	«Измерены звездные леты...» . . . . .	51
Б. ОКУДЖАВА		Е. ШЕВЕЛЕВА	
«Я вновь повстречался с надеждой...» . . . . .	37	В летнем парке . . . . .	51
В. ОСИНИН		Киноварь . . . . .	51
Родная хата . . . . .	37	В. ЯКОВЕНКО	
Земляк . . . . .	38	«Боясь легко сказать и торопливо...» . . . . .	52
Н. ПАНЧЕНКО		Полюс века . . . . .	52
«Мы мало с тобою гуляем...» . . . . .	38	II	
Д. САМОЙЛОВ		Б. АВСАРАГОВ	
«Город ночью прост и вечен...» . . . . .	39	Дорога на Самоглор . . . . .	55
«Ветры пятнадцатых этажей...» . . . . .	39	Е. АНТОШКИН	
На окраине . . . . .	39	Бумажный змей . . . . .	55
«В Пярну легкие снега...» . . . . .	39	Б. АХМАДУЛИНА	
«Когда-нибудь и мы расскажем...» . . . . .	40	«Теперь о тех, чьи детские портреты...» . . . . .	56
«Чет или нечет?...» . . . . .	40	М. БЕЛЯЕВ	
В. СЕМЕНОВ		«За леса и за болота...» . . . . .	56
Печные трубы . . . . .	40	А. БРАГИН	
Б. СЛУЦКИЙ		Русская печь . . . . .	57
Звуковая игра . . . . .	41	Возвращение из поездки . . . . .	57
Отцы и сыновья . . . . .	41	В. БРИТАНИШСКИЙ	
Жалею время, что оно прошло . . . . .	42	«В годы войны...» . . . . .	58
Неоконченные споры . . . . .	42	Баня Быстрицкого . . . . .	58
Черта меж датами . . . . .	42	А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ	
А. СМОЛЬНИКОВ		Скульптор свечей . . . . .	59
1 Мая 1919 года . . . . .	43	«Я год не виделся с тобою...» . . . . .	60
М. СОБОЛЬ		Грех . . . . .	60
Олегу Куваеву . . . . .	44	Сага . . . . .	60
Н. СТАРШИНОВ		Т. ГЛУШКОВА	
Борозда . . . . .	44	«Промотав столько лет...» . . . . .	61
Первый утренник . . . . .	45	«И вечерняя свежесть кунушки...» . . . . .	62
«Вдруг найдет — невесть откуда...» . . . . .	45	«Как на родине ярок рассвет!...» . . . . .	62
А. ТАРКОВСКИЙ		А. ГОВОРОВ	
Григорий Сковорода . . . . .	46	Интервью . . . . .	63
«Где целовали степь курганы...» . . . . .	46	А. ГОЛОВКОВ	
«Ночью медленно время идет...» . . . . .	46	«Ах, эта молодость моя...» . . . . .	63
Л. ТАТЬЯНИЧЕВА		«Вот и сбылось — лицом к рассвету...» . . . . .	64
«Как стремительно мчатся года!...» . . . . .	47	И. ГРУДЕВ	
Земли очарование . . . . .	47	Возвращение . . . . .	64
«Электроток толкает грузы...» . . . . .	47	А. ДЕМЕНТЬЕВ	
«Опять причудливая память...» . . . . .	47	Ироническое признание . . . . .	64
М. ТАНИЧ		«Твой старый дом снесли давно...» . . . . .	65
«Окно оттаивает к полдню...» . . . . .	48	О. ДМИТРИЕВ	
Д. ТЕРЕЩЕНКО		Фотографии на вкладке . . . . .	65
«Садовая шумела как всегда...» . . . . .	48	«Осень. Улочка пустая...» . . . . .	66
Н. ТРЯПКИН		Кони в кино . . . . .	66
«Я помню детство у окошка...» . . . . .	49	Е. ЕЛИСЕЕВ	
Владимир Даль . . . . .	49	«Врать не хочу, а правда такова...» . . . . .	67
Песня . . . . .	49	«Полдень. Речка и песок...» . . . . .	68
В. ТУРКИН			
Музыка . . . . .	50		
Суеверие . . . . .	50		

Е. ЕВТУШЕНКО		А. КОНДРАТЬЕВ	
Утренние люди . . . . .	68	Мир за окном . . . . .	83
Г. ЕРЕМЕЕВ		Н. КОРОЛЕВА	
«Роняют осины листву по утрам...» . . . . .	69	Запах сена . . . . .	84
И. ЖДАНОВ		В. КОСТРОВ	
«По бортам голубое кружево...» . . . . .	70	«Мост, речка, сопка и туннель...» . . . . .	84
А. ЖИГУЛИН		«От последней любви...» . . . . .	85
Отвлекающий десант . . . . .	70	С. КРАСИКОВ	
Медали . . . . .	71	«Над нечесаным туманом...» . . . . .	85
«Жизнь! Нечаянная радость!.. . . . .	71	В. КУЗНЕЦОВ	
Стихи Ирине . . . . .	71	Цветы . . . . .	86
Т. ЖИРМУНСКАЯ		«Вот опять болит душа...» . . . . .	86
Нрав . . . . .	72	ВАЛ. КУЗНЕЦОВ	
«В октябре запотели веранды...» . . . . .	72	Воздух России . . . . .	87
А ля фуршет . . . . .	73	Ю. КУЗНЕЦОВ	
Л. ЗАВАЛЬНЮК		Двойник . . . . .	87
Февраль 1943 года . . . . .	73	С. КУЗНЕЦОВА	
Высокий конь . . . . .	74	Брату . . . . .	88
А. ЗАЯЦ		«А воля сегодня зазря...» . . . . .	88
«О, свет поры...» . . . . .	74	«Завтра ждет меня стезя иная...» . . . . .	88
«Взрасти на родине цветов...» . . . . .	74	«Что мне снится в дому?...» . . . . .	89
А. ЗЕМЛЯНСКИЙ		Т. КУЗОВЛЕВА	
«Дорог военных километры...» . . . . .	75	«Я вбираю в себя этот день...» . . . . .	89
Н. ЗЛОТНИКОВ		«Прости, что краду у тебя одиночество...» . . . . .	89
«Старинный ветхий дом в Рязани...» . . . . .	75	С. КУНЯЕВ	
А. ИВАНОВ		«Увядают ягоды черники...» . . . . .	90
Пародии . . . . .	76	«По северным звездам угадывать путь...» . . . . .	90
После сладкого сна . . . . .	76	«Не вчера ль я глядел в синеву...» . . . . .	90
Посвящение Ларисе Васильевой . . . . .	76	Озеро Безымянное . . . . .	90
Р. КАЗАКОВА		Л. ЛАВЛИНСКИЙ	
«Это выдумка — избыток...» . . . . .	77	Товарищу . . . . .	91
«Пока вы живы, старшие мои...» . . . . .	77	Старый базар . . . . .	91
«Я знаю, что дарю...» . . . . .	78	Объяснение . . . . .	92
«Я четко поняла теперь...» . . . . .	78	Вихри . . . . .	92
В. КАЗАНЦЕВ		Апрель . . . . .	92
«По весне холодящей и влажной...» . . . . .	79	В. ЛАЗАРЕВ	
«Звенит оса, а сердцу снится...» . . . . .	79	Раздумья у могилы Кюхельбекера в Тобольске . . . . .	93
«Где вдаль бежит дорогой старой...» . . . . .	79	Коренные жители . . . . .	93
«И гремит, и протяжно взывает...» . . . . .	79	«Березы не только в отечестве нашем...» . . . . .	94
«Шел я вдоль почерневшего тракта...» . . . . .	80	«И все сначала. Шум идет...» . . . . .	94
«Дохнет земля просторным маем...» . . . . .	80	М. ЛУГОВСКАЯ	
«Не внемля строгому запрету...» . . . . .	80	«Синь рассвета, синь земная...» . . . . .	94
«Над озерной ряской...» . . . . .	80	В. ЛЕОНОВИЧ	
А. КАНЫКИН		Комаринный звон топорика . . . . .	95
«Люблю смотреть...» . . . . .	81	«Живет огонь в печи...» . . . . .	95
А. КАФАНОВ		«Сквозь дождь и дерево нагое...» . . . . .	95
Кинохроника . . . . .	81	«Я знаю без искусства...» . . . . .	96
И. КАШЕЖЕВА		И. ЛЫСЦОВ	
«В доброте кабардинца...» . . . . .	82	...И вызволим красавицу из плена! . . . . .	96
А. КОВАЛЬ-ВОЛКОВ		Н. МАТВЕЕВА	
Мои березы . . . . .	82	«Ночь. Отовсюду раскрылись душистые темные веера...» . . . . .	96
И. КОБЗЕВ		Бегство деревьев . . . . .	97
Разговор с лесником . . . . .	83	Ю. МОРИЦ	
К. КОВАЛЬДЖИ		«Черемуха, дай надышаться...» . . . . .	97
«Белое снежное поле...» . . . . .	83		

<b>А. МОСКВИТИН</b>		<b>В. СОРОКИН</b>	
Березовый огонь . . . . .	98	«Вновь в сосновом бору златокором...» . . . . .	113
«Запах отволглой стерни...» . . . . .	98	Судьба поэта . . . . .	113
«На исходе неяркого дня...» . . . . .	98	Пути свидания . . . . .	114
<b>Л. МУХИНА</b>		Мать зовет . . . . .	114
Приглашение . . . . .	99	<b>А. СТРОЙЛО</b>	
«Как бы за руки держась...» . . . . .	99	Старая рана . . . . .	115
<b>Е. НИКОЛАЕВСКАЯ</b>		<b>Д. УШАКОВ</b>	
Новгород . . . . .	99	«Я плачу о юношах русских...» . . . . .	115
<b>Л. НАППЕЛЬБАУМ</b>		<b>В. ФЕДОТОВ</b>	
«Да, пахари дают полям заданья...» . . . . .	100	Масштабы . . . . .	115
<b>И. ОЗЕРОВА</b>		<b>Г. ФЛОРОВ</b>	
«Как примириться с мыслью странной...» . . . . .	100	Ребята с ЛЭП-500 . . . . .	116
<b>В. ПАВЛИНОВ</b>		<b>Е. ХРАМОВ</b>	
«Ну, март! Уснуть бы — не по силам...» . . . . .	101	«Дед меня учил растапливать печь...» . . . . .	116
Смерть Полежаева . . . . .	101	<b>В. ЦЫБИН</b>	
<b>Ю. ПАНКРАТОВ</b>		Оклик . . . . .	117
Сон . . . . .	102	Воспоминания . . . . .	117
<b>Д. ПАТТЕРСОН</b>		«Льется мир в глаза мои и уши...» . . . . .	118
«Среди холмов и русских перелесков...» . . . . .	102	<b>Ф. ЧУЕВ</b>	
<b>А. ПРЕЛОВСКИЙ</b>		Владимирский Успенский собор . . . . .	118
Сибирский город . . . . .	103	<b>О. ЧУХОНЦЕВ</b>	
<b>В. ПРОТАЛИН</b>		«Как табак доставал, да кальян набивал...» . . . . .	119
Славянские ключи . . . . .	104	<b>Ю. ШАВЫРИН</b>	
<b>Б. ПРИМЕРОВ</b>		«Билась в окнах вагона звезда...» . . . . .	119
«За совесть, за первооснову...» . . . . .	105	<b>Н. ШУМАКОВ</b>	
«Снег за окном стоит, как дом...» . . . . .	105	Село Шумаково . . . . .	120
<b>А. ПЬЯНОВ</b>		Полоса . . . . .	120
Кукушка . . . . .	105	<b>И. ШКЛЯРЕВСКИЙ</b>	
«Явление весны, ее приметы...» . . . . .	105	«Утро летнего дня в небольшом городке...» . . . . .	120
<b>Ю. РЯШЕНЦЕВ</b>		Могилевская земля . . . . .	121
«Подыдемся наверх...» . . . . .	106	«Свет одинокий в поле...» . . . . .	121
<b>В. СИДОРОВ</b>		На кургане . . . . .	121
«Столь знакомая сердцу аллея...» . . . . .	106	Белый старик . . . . .	122
«Решенье это самое простое...» . . . . .	106	<b>Л. ЩИПАХИНА</b>	
<b>В. САВЕЛЬЕВ</b>		Славянский праздник . . . . .	122
Баллада о времени . . . . .	107	<b>III</b>	
<b>В. СИКОРСКИЙ</b>		<b>Э. БАЛАШОВ</b>	
Художник . . . . .	108	Баллада . . . . .	125
<b>В. СЕМАКИН</b>		Бессонница . . . . .	125
Разговор с отцом . . . . .	109	«Друзья, пируйте! Жизнь одна...» . . . . .	125
Лешева дудка . . . . .	109	<b>Т. БЕК</b>	
«Августовская сушь...» . . . . .	110	Ткач . . . . .	126
<b>Ю. СМИРНОВ</b>		«Я люблю тебя, разлука...» . . . . .	126
«Над Святою горою курится туман...» . . . . .	110	Дерево на крыше . . . . .	126
«Вулкана зубчаты края...» . . . . .	110	<b>А. БОБРОВ</b>	
<b>В. СОКОЛОВ</b>		Воспоминанье . . . . .	127
«И позабыть о мутном небе...» . . . . .	111	Чистое поле . . . . .	127
«Мне не может никто и не должен помочь...» . . . . .	111	<b>А. БОГДАНОВИЧ</b>	
«Ты говоришь, что все дела...» . . . . .	111	Пшеница . . . . .	128
«В первые годы мои...» . . . . .	112	Земля . . . . .	128
«Когда мы были незнакомы...» . . . . .	112	На Пискаревском кладбище . . . . .	128
«Все выпадает снег и тает, тает, тает...» . . . . .	112		

Л. БОЛЕСЛАВСКИЙ		И. ЛЯПИН	
Слова . . . . .	129	«Ельник, рошица, речка, поле...» . . . . .	143
А. БУЛАВИН		«А помнишь? Вспомни!..» . . . . .	143
«Идешь из сумрачного бора...» . . . . .	129	А. МЕДВЕДЕВ	
И. ВОЛГИН		Утренний полет . . . . .	144
«Поднимался ни свет ни заря...» . . . . .	129	Л. МИЛЛЕР	
В. ВИШНЕВСКИЙ		«Какое странное желанье...» . . . . .	144
Воспоминания о первой работе . . . . .	130	С. МНАЦАКАНЯН	
Н. ГОРОХОВ		«...И на свиданье под хмельком...» . . . . .	145
Красные всадники . . . . .	130	Ю. НИКОНЫЧЕВ	
Ж. ГРЕЧУХА		Жили-были... . . . . .	145
Белые крыла . . . . .	131	На сельском «пяточке» . . . . .	145
Л. ГРИГОРЬЕВА		Н. НОВИКОВ	
«Я помню ковер...» . . . . .	131	Отчего ты, площадь, Красная? . . . . .	146
Л. ДЫМОВА		А. ПАРПАРА	
Жил один художник . . . . .	132	Хлопок . . . . .	147
Ю. ДУДИН		И. ПОТЕХИНА	
О друге . . . . .	132	...И стало работою море . . . . .	147
О. ЕРМОЛАЕВА		В. РАБИНОВИЧ	
Воспоминание о дальневосточной станции Бира	133	«День покуда не погас...» . . . . .	148
«Отверху донизу, от глиняных ветров...» . . . . .	133	Г. РУСАКОВ	
«Над Вологдою северные ветры...» . . . . .	134	Рубка дров . . . . .	148
И. ЗАВРАЖИН		«Потемки, дальняя дорога...» . . . . .	149
«Не отменишь солдату...» . . . . .	134	А. РЕВЕНКО	
«Как будто вновь: в проем оконный...» . . . . .	135	Матушка . . . . .	149
Бандурист . . . . .	136	И. САВЕЛЬЕВ	
Песенка . . . . .	136	«Предсказываю долгие года...» . . . . .	149
С. ЗОЛОТЦЕВ		М. СИНЕЛЬНИКОВ	
Предзимье . . . . .	137	Археолог . . . . .	150
«Я так люблю московскую весну...» . . . . .	137	Н. СЛАТИНА	
П. КАЛИНА		«А где моя трава?..» . . . . .	151
В начале марта . . . . .	138	С. СОЛОЖЕНИКИНА	
Немая сцена . . . . .	138	«Синева полусырая...» . . . . .	151
Сопромат . . . . .	138	Л. ТАРАН	
В. КОВДА		Сибирь . . . . .	152
Уральский городок . . . . .	139	Л. ТЕРЕХИН	
«Свет полуденный, декабрьский...» . . . . .	139	«Голодными — узнаем цену хлеба...» . . . . .	152
«Кресло-качалка. Гамак...» . . . . .	139	«Молодо и зелено в июне...» . . . . .	152
Н. КОНДАКОВА		А. ЧЕРЕВЧЕНКО	
«Смеялась, как лесная птица...» . . . . .	140	Встреча с горностаем . . . . .	153
«В золотой копилке лета...» . . . . .	140	М. ШУТОВ	
А. КОРОЛЕВ		Золото . . . . .	153
Осень . . . . .	140	А. ЮДАХИН	
А. КРАВЦОВ		Директор школы . . . . .	154
«Над Магистральным вечереет...» . . . . .	141	«Что мне июльский ад...» . . . . .	154
Д. КОСТЮРИН		IV	
Завод «Серп и молот» . . . . .	141	И. ГРИНБЕРГ	
В. КУПРИЯНОВ		Счастливая участь стиха . . . . .	157
«Когда все тебя потеряют...» . . . . .	142	С. ЛЕСНЕВСКИЙ	
Ю. ЛОЩИЦ		В кольце разлук и встреч . . . . .	159
«Медленно погасли облака...» . . . . .	142		

Ю. БОЛДЫРЕВ		А. ЯШИН ( <i>Вступление З. Яшиной</i> )	
Спустя двадцать лет . . . . .	162	Бобринский Угор . . . . .	193
А. ЛАНЩИКОВ		Д. КОВАЛЕВ ( <i>Вступление В. Туркина</i> )	
«Все уходящее уходит в будущее...» . . . . .	164	«Все как есть, как было и как будет...» . . . . .	196
В. ЧАЛМАЕВ		Память о матери . . . . .	197
«Иная даль вступает в свой черед...» . . . . .	166	«Неправда это, что тихо...» . . . . .	197
В. ГУСЕВ		А. ПРАСОЛОВ	
Два лица века в одной поэзии . . . . .	169	«И вот настал он, час мой вещей...» . . . . .	198
О. МИХАЙЛОВ		«О первая библиотека...» . . . . .	199
«В соседстве травы и металла...» . . . . .	171	«Ты отгремела много лет назад...» . . . . .	199
В. КАЛУГИН		Пустырь . . . . .	200
Дар поэтического перевоплощения . . . . .	173	«И скручен плащ...» . . . . .	200
СТ. РАССАДИН		«Увидишь внезапно средь разных примет...» . . . . .	200
Имя . . . . .	174	«Ничего, что этот лед — без звона...» . . . . .	200
		«Белый храм Двенадцати апостолов...» . . . . .	201
		Отрывок . . . . .	201
		В. ГУСЕВ	
		Талант всегда пробьется . . . . .	201
		М. ГРУБИАН ( <i>Перевод З. Великовой</i> )	
		Баренцево море . . . . .	203
		Скользкий день . . . . .	203
<b>V</b>		Н. АНЦИФЕРОВ ( <i>Вступление В. Кузнецова</i> )	
А. ТВАРДОВСКИЙ ( <i>вступление М. Твардовской</i> )		Табакотрус . . . . .	204
Выезд . . . . .	179	«Он сам поднялся на-гора...» . . . . .	205
«Собачий лай стоял окрест...» . . . . .	180	Д. ГОЛУБКОВ ( <i>Вступление В. Леоновича</i> )	
«Отец большой лошади был...» . . . . .	180	Память . . . . .	205
«Посыпанные иголочками...» . . . . .	181	Порубежье . . . . .	206
Печник . . . . .	181	С. ДРОФЕНКО	
«В хороший золотой денек...» . . . . .	182	О войне . . . . .	206
«На взгорье селенье встало...» . . . . .	183	Сорок первый . . . . .	207
А. БАЗЛАКОВ		«Я слушаю, как движутся лета...» . . . . .	207
«На чудо не надейтесь...» . . . . .	185	«Пускай к тебе вернется свет...» . . . . .	207
Я. СМЕЛЯКОВ ( <i>Вступление Т. Стрешневой-Смеляковой</i> )		В. ВДОВИН	
«Любил я утром раньше всех...» . . . . .	187	К биографии Сергея Есенина . . . . .	208
<b>ПАМЯТИ МИХАИЛА ЛУКОНИНА</b>		В. БАЗАНОВ	
П. АНТОКОЛЬСКИЙ		Оловецкий крестьянин . . . . .	210
«Когда в августе прошлого года...» . . . . .	190	Н. КЛЮЕВ	
М. ЛЬВОВ		Корабельщики . . . . .	213
«И значит — все?...» . . . . .	191	Богатырка . . . . .	213
Р. КАЗАКОВА		Ленинград . . . . .	214
«Сказал неумолимо — как отрезал...» . . . . .	192	«Певучей думой обуян...» . . . . .	215
Я. КОЗЛОВСКИЙ		«Зима изгрызла бок у стога...» . . . . .	215
«Свидетельствуют верные приметы...» . . . . .	192	Л. ГИНЗБУРГ	
		Ахматова ( <i>Несколько страниц воспоминаний</i> ) . . . . .	216



**ДЕНЬ ПОЭЗИИ 1977**

М., «Советский писатель», 1977, 224 стр. План выпуска 1977 г., № 144.

Редактор *В. С. Фогельсон*  
Худож. редактор *Д. С. Мухин*  
Техн. редактор *И. М. Минская*  
Корректоры *И. Ф. Сологуб* и *Т. Ф. Юдичева*

ИБ № 642

Сдано в набор 17/VI 1977 г. Подписано к печати 18/VIII 1977 г. А02839.  
Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага тип. № 1. Печ. л. 14+вкл. 1,0. Усл. печ.  
л. 25,20. Уч.-изд. л. 20,23. Тираж 75 000 экз. Заказ № 1663. Цена 2 руб.  
Издательство «Советский писатель». Москва Г-69, ул. Воровского, 11

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени  
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова  
Союзполиграфпрома при Государственном комитете  
Совета Министров СССР по делам издательств,  
полиграфии и книжной торговли.  
Москва М-54, Валовая, 28

2 руб.

